СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

BIBLIOTHECA SLAVICA

П. П. ТОЛОЧКО



РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ И ЛЕТОПИСЦЫ X–XIII вв.

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА



BIBLIOTHECA SLAVICA



Редколлегия серии:

Член-корреспондент *Флоря Б. Н.* (председатель),
Абышко О. Л., *Савкин И. А.*, *Горина Л. В.*,
академик РАН *Литаврин Г. Г.*,
член-корреспондент РАН *Милов Л. В.*,
академик НАНУ *Толочко П. П.*,
Толстая С. М., *Турилов А. А.*

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

П. П. ТОЛОЧКО

РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ И ЛЕТОПИСЦЫ X–XIII вв.

Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
2003

УДК 947.02
ББК Т3(2)4,012
Т52

Толочко П. П.

Т52 Русские летописи и летописцы X–XIII вв. — СПб.: Алетейя, 2003. — 296 с. — (Серия «Славянская библиотека»).

ISBN 5-89329-557-9

В книге известного украинского археолога и историка П. П. Толочко рассказывается об исторической письменности Руси X–XIII вв. Это, по существу, первое специальное монографическое исследование, посвященное не одной какой-либо летописи или своду, а всему сохранившемуся до нашего времени наследию древнерусских хронистов. Автор имеет в этой области многочисленных предшественников, однако изучение русского летописания еще далеко не завершено. Оно содержит настолько большую и разнообразную историческую информацию, что долго еще будет источником творческих вдохновений и новых открытий. Основное внимание в книге уделено хронологии общерусского и поземельного летописаний, их взаимоотношению и взаимосвязям, содержанию и идеологической направленности отдельных сказаний, повестей и сводов, определению их авторства.

Книга предназначена для специалистов-летописеведов, преподавателей истории, аспирантов и студентов гуманитарных вузов, а также для всех, кто интересуется отечественной историей.

УДК 947.02
ББК Т3(2)4,012

В оформлении использована миниатюра из Радзивиловской летописи.
Автор слайда Константин Шматов

ISBN 5-89329-557-9



© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2003
© Толочко П. П., 2003

Введение

Летописи Киевской Руси представляют собой одно из наиболее примечательных явлений средневековья. В отличие от хроник большинства стран Европы, которые составлены на латыни, они написаны на родном языке, если и не целиком идентичном разговорному народному, то очень близком к нему. Этим обусловлена чрезвычайная популярность летописного жанра на Руси. Летописи были достоянием не только древнерусской книжной элиты, но и более широких кругов грамотных людей. Они читались и переписывались в течение многих столетий, благодаря чему дошли до нашего времени.

Академик XVIII в. Г. Миллер, пораженный широтой летописной информации и уровнем ее систематизации, писал, что летописец Нестор и его последователи создали систему русской истории, которая настолько полная, что ни одна другая нация не может похвалиться таким сокровищем. Б. А. Рыбаков сравнивал древнерусские летописи со светильником, который, будучи зажженным первыми неизвестными летописцами, освещал тысячи исторических деталей, сотни битв, походов, осад, строительство городов, борьбу с кочевниками, наводнения, пожары, интриги коварных царедворцев, церковные настроения, живой язык и переписку русских людей.[1]

Традиция летописания сложилась в Киеве в X в., но затем распространилась практически на все русские земли. Летописи писались в Новгороде, Переяславле, Чернигове, на Волыни, в Галиче, Ростове, Суздали, Владимире на Клязьме, в других удельных центрах. Их авторами были монахи, игумены, представители княжеской администрации и даже князья. Практически все летописи в своей основе имеют общий киевский летописный свод, известный под названием «Повести временных лет» с ее широким общерусским охватом исторических явлений и событий. Около середины XII в. наблюдается разветвление единого летописного ствола на целый ряд земельных хроник, главным содержанием которых стала местная история.

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963. С. 157.

И все же летописание удельных центров Руси эпохи феодальной раздробленности, несмотря на отличия в составе сообщений и конкретной идейной направленности, унаследовало от предшествующего периода общерусские традиции, характеризовавшие «Повесть временных лет». В областном летописании получила развитие, в частности, ее главная идея, которую Б. Д. Греков обозначил как гордость за свое прошлое, обеспокоенность будущим и призыв к защите целостности Отчизны.[1]

Постепенно отдельные хроникальные записи, повести, сказания, поучения объединялись в летописные своды — своеобразные исторические хрестоматии. Они имели разных авторов, разный стиль изложения и характер информации, но всегда хранили на себе печать их составителей. Последние не только редактировали своих предшественников, но и дополняли их сообщения новыми фактами, сокращали или изымали нежелательную информацию, осовременивали изложение согласно существующим политическим пристрастиям. Работа эта выполнялась, как правило, не по собственной инициативе летописцев, а по заказу княжеской власти. Об этом мы узнаем, в частности, из сообщений Никоновской летописи: «Первии наши властодержцы безъ гнѣва повелѣвающе вся добрая и не добрая прилучившаяся ... написывати». Заказчиками летописей были также митрополиты и епископы.

Исходя из сказанного, невозможно ожидать от древнерусских летописцев невозмутимой беспристрастности наподобие пушкинского Пимена. Их «правдивые сказания» нередко зависели от меры «гнева» сюзерена, деяния которого надлежало занести на скрижали истории, от собственных политических симпатий и желания повлиять на течение событий, от уровня гражданского самосознания авторов.

Источниковедческие возможности летописных материалов усложнены еще и тем, что они дошли к нам не в своем изначальном облике, а в составе позднейших сборников. Последние представляют собой переплетение разных эпох, политических позиций и тенденций, использование различных стилей летописания, летописей разных земель, которые передают одни и те же события с разных позиций. Необходимо также считаться и с неизбежными ошибками позднейших переписчиков.

Поиск летописных первоисточников и авторских канонических текстов начался от времен последнего летописца — первого историографа В. Н. Татищева и продолжается до наших дней. Заслугой многих поколений отечественных и зарубежных исследователей древнерусско-

[1] *Греков Б. Д.* Первый труд по истории России // Исторический журнал. 1943. №11–12. С. 66.

го летописания было то, что оно предстало перед нами не только как историческая хроника Руси IX–XIII вв., но и как одна из форм общественного сознания.

Было также установлено, что сохранившийся фонд летописей не исчерпывает собой всей полноты древнерусской исторической письменности. «Можно себе представить, — писал Н. И. Костомаров, — какое огромное количество летописей было у нас, если в каждом монастыре велась своя отдельная летопись».[1] Сказанное вынуждает историков со всей серьезностью относиться к тем сообщениям поздних летописных сводов, которые не находят параллелей в уже известном летописном фонде Руси. Источниковедческий анализ «Истории Российской» В. Н. Татищева, осуществленный М. Н. Тихомировым, Б. А. Рыбаковым, А. Г. Кузьминым и другими историками показали, что в ней использованы древние летописи, не дошедшие до нашего времени. Около 87 % всех дополнений XII в. позаимствованы из Раскольничьей летописи, которая представляла собой, по мнению Б. А. Рыбакова, киевскую летопись двух поколений Мстиславичей, еще не подвергшуюся сокращениям, остальные 13 % взяты из Еропкинской, Хрущовской и неизвестной Чернигово-Сиверской летописи.[2]

Аналогичное отношение должно иметь место к Никоновской, Воскресенской, новгородским и другим поздним летописям. Наличие в них известий, которые не имеют аналогий в уже известном круге древнерусских текстов, не может быть основанием для безоговорочного скептического отношения к ним. Разумеется, нужен критический подход к таким известиям и углубленное их источниковедческое исследование. Не выполнив эту многотрудную исследовательскую работу, мы можем лишь говорить, что не знаем, какие дополнительные источники были в руках позднейших летописцев, но не о том, что таковых у них вовсе не было.

Большим доверием исследователей пользуются Лаврентьевская, Ипатьевская и Радзивиловская летописи, в которых, как считается, летописание древнерусского времени сохранилось наиболее адекватно. Лаврентьевская летопись представлена единственным списком, изготовленным под руководством монаха Лаврентия в 1377 г. Ее изложение заканчивается статьей 1305 г., что, очевидно, связано с объемом

---

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории. Ч. 1. Источники русской истории. СПб. 1861. С. 23.

[2] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 184–276; *Рыбаков Б. А.* В. Н. Татищев и летописи XII в. // История СССР. 1971. № 1; *Кузьмин А. Г.* Об источниковедческой основе «Истории Российской» В. Н. Татищева // Вопросы истории. 1969. № 9. С. 214–218.

материала, который содержался в протографе, в так называемых «книгах ветшаных». На древнерусском пространстве летопись состоит из «Повести временных лет», трудов Владимира Мономаха, а также хроники событий в Северо-Восточной Руси.

Близкой к Лаврентьевской является Радзивиловская летопись, известная в двух списках XV в.: Радзивиловском (с миниатюрами) и Московско-Академическом. А. А. Шахматов, М. Д. Приселков и ряд других исследователей связывали Радзивиловскую летопись со сводами Переяславльским или Владимирским, однако тот факт, что она доведена не до 1212 или 1216 г., как они, а лишь до 1206 г., позволяет предполагать существование какого-то третьего древнего свода, возможно южнорусского происхождения.

Ипатьевская летопись, наиболее полно сохранившая южнорусское летописание X–XIII вв., известна в нескольких списках, из которых основными являются собственно Ипатьевский (около 1425 г.) и Хлебниковский (XVI в.). Текстологическое их сопоставление обнаруживает, что оба списаны с общего протографа, причем текст Хлебниковского списка производит впечатление в отдельных местах более полного. Как определил еще Я. И. Бередников, Ипатьевская летопись состоит из «Повести временных лет», ее продолжения до 1200 г. и Галицко-Волынского свода XIII в.[1] Позже В. Т. Пашуто выделил еще один летописный свод 1238 г. и его редакцию 1246 г., который был киевского происхождения, но вошел составной частью в летописание Данила Галицкого и его последующих редакций в Холме и Владимире.[2]

С первых шагов изучения летописей перед исследователями возникла проблема их хронологии. Было замечено, что разные летописи поразному датируют одни и те же события, причем разница в датах достигала иногда одного-двух лет. Попытки согласовать показания летописей и уточнить хронологию событий приводили историков к важным выводам по поводу разных систем летоисчисления на Руси.

Отдельные наблюдения В. Н. Татищева, М. Н. Карамзина, М. П. Погодина, М. С. Грушевского и других историков не потеряли своего значения и поныне, но наибольшая заслуга научно обоснованной системы хронологии древнерусского летописания принадлежит Н. Г. Бережкову. Он показал, что восточные славяне вместе с христианством приняли и византийскую эру летоисчисления (5508 г. от сотворения мира), но сохранили свое извечное начало года, которое приходилось не на

[1] *Полное собрание русских летописей* (далее *ПСРЛ*). Т. 2. (Ипатьевская летопись). СПб. 1843. С. VII–VIII.

[2] *Пашуто В. Т.* Образование Литовского государства. М., 1959. С. 13; *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 17.

сентябрь, как в Византии, а на март. Между сентябрьским и мартовским годами, согласно М. Т. Бережкову, было два возможных соотношения: мартовский год начинался на полгода позже сентябрьского или на полгода раньше его. Последний получил название ультрамартовского.

В зависимости от того, каким стилем пользовался тот или иной летописец, определялась и действительная дата событий. В начале XII в., как полагал Н. Г. Бережков, преимущество оставалось за мартовским стилем; в XII и XIII вв. значительное распространение приобрел ультрамартовский. Он также отметил, что нет ни одного летописного свода, в котором бы употреблялся лишь один стиль летоисчисления, хотя и не объяснил причину этого явления.[1]

Согласно исследованию Б. А. Рыбакова, в IX в. на Руси при определении точных дат пользовались не византийской, а александрийской эрой (5500 г. от сотворения мира). Этот счет применялся в это время в Болгарии, откуда, вероятно, и проник на Русь.[2]

Русским летописям посвящено огромное число книг и статей. Только простое их перечисление могло бы занять не один десяток страниц. Для их анализа нужна целая монография. По этой причине автор не предполагал предпосылать своему исследованию пространное историографическое введение. По мере необходимости историографические справки приводятся в главах при рассмотрении тех или иных тем древнерусского летописания. Здесь же хотелось бы лишь подчеркнуть, что большая исследовательская работа, осуществленная в области древнерусского летописного наследия в продолжении двух столетий, сделала его полноценным источником отечественной истории. Однако она еще далека от завершения. Древнерусские летописи содержат настолько большой и разнообразный объем информации, что долго еще будут предметом исследовательского интереса историков.

[1] *Бережков Н. Т.* Хронология русского летописания. М., 1963. С. 7–17.
[2] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 165.

1. Начало киевского летописания

Вопрос о том, с какого времени ведет отсчет киевское летописание, принадлежит к числу наиболее трудных и, по существу, окончательно не решенных до наших дней. При этом речь идет не столько о летописях как историко-хроникальных сочинениях, ведшихся на регулярной основе, сколько о первых исторических записях, которые затем вошли в начальный летописный свод.

Историографический интерес к этой проблеме на раннем этапе изучения русских летописей породил целый ряд интересных предположений, которые, однако, не были подкреплены системой убедительных доказательств. При всем разноречии выводов исследователей всех их объединяло убеждение, что истоки русского летописания следует искать уже в начальном периоде существования Киевского государства.

М. А. Оболенский считал возможным датировать первичную киевскую летопись серединой X в. и связывал ее с деятельностью духовника княгини Ольги пресвитера Григория.[1] О. М. Бодянский, а вслед за ним и И. И. Срезневский относили происхождение погодных записей к началу X в.[2] Еще более раннюю дату — 60-е годы IX в. — начала русского летописания предложил И. Е. Забелин. На эту мысль его натолкнули статьи 864–867 гг., находящиеся в Никоновской летописи. «Они заключают в себе столько достоверности, — писал он, — что нет и малейших оснований отвергать их глубокую древность».[3] Записи эти И. Е. Забелин считал киевскими, принадлежавшими грамотникам-христианам. Каким-то образом эти древнейшие летописные заметки оказались в руках составителя Никоновской летописи и были внесены в нее.

---

[1] *Оболенский М. А.* Несколько слов о первоначальной русской летописи; *Его же.* Исследования и заметки по русским и славянским древностям. СПб. 1875.

[2] *Бодянский О. М.* О времени происхождения славянских письмен. М., 1855. С. 125; *Срезневский И. И.* Чтения о древнерусских летописях. СПб. 1862. С. 31.

[3] *Забелин И. Е.* История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1. М., 1876. С. 475–476.

whazzub.ЖЖ.com

Смелое предположение И. Е. Забелина о том, что в руках позднейших составителей исторических трудов могли быть древнейшие летописные записи, не нашло поддержки у последующих исследователей и о нем со временем просто забыли.

Новую жизнь продуктивной мысли И. Е. Забелина дал в наше время Б. А. Рыбаков. Проанализировав господствовавшую концепцию отечественной истории в летописях XV–XVI вв., согласно которой основателем правящей династии на Руси считался варяг Рюрик, он отметил, что комплекс статей об Аскольде является, по существу, антитезой этой официальной точке зрения. Таким образом, никакой мотивации для сочинения подобных подробностей из киевской жизни IX в. у составителей Никоновской летописи не могло быть и вряд ли следует подозревать их в намеренном создании легенды. Как полагает Б. А. Рыбаков, появление этих древних записей имело более прозаический характер и может связываться с археологическими (археографическими) поисками московских историков XVI в. Ведь именно им историческая наука обязана выявлением «Жития Стефана Сурожского», «Жития Дмитрия Солунского», «Бесед патриарха Фотия».[1]

Источниковедческий анализ загадочных записей IX в. в Никоновской летописи, проведенный Б. А. Рыбаковым, показывает, что историческое их содержание не должно вызывать подозрения позднейшего фальсификата. В них рассказывается о киевских князьях Аскольде и Дире, походах русских дружин на Византию, на печенегов, о крещении Руси. Эти данные не представляют чего-то необычного, чего бы не знали другие источники. Из трех датированных походов русов на Византию один (860 г.), от которого начался отсчет русской истории, детально описан в греческих источниках. Рассказ о походе Аскольда на византийские владения в Эвксинопонте, датированный в Никоновской летописи 874 г., по мнению Б. А. Рыбакова, происходит от иностранного источника. Своеобразным подтверждением его историчности может быть свидетельство «Повести временных лет» о походе Руси на Константинополь, который состоялся «въ 14 лѣто Михаила цесаря». По Александрийской эре этот поход получит дату 874 г., то есть ту, которая обозначена в Никоновской летописи.

Эти и другие наблюдения дали основание Б. А. Рыбакову считать записи Никоновской летописи за 867–889 гг. «предположительно первой русской летописью князя Аскольда», начатой в год крещения Руси. Она писалась вскоре после изобретения славянских письмен и носит

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963. С. 160–161.

на себе заметное влияние Болгарии. У Аскольдового летописца, как полагает Б. А. Рыбаков, был своеобразный счет событий от русского похода на Царьград в 860 г. «при Михаиле цесаре» и забытый впоследствии на Руси александрийско-болгарский счет лет «от сотворения мира».[1]

Отнесение начала русского летописания к 60–80-м годам IX в. и реконструкция Б. А. Рыбаковым так называемой «Оскольдовой летописи» вызвали неоднозначную реакцию специалистов. Одни полагали, что этот ответственный вывод может быть принят, другие отнеслись к нему со значительным предостережением.

Особую позицию занял в этом вопросе М. Ю. Брайчевский. Выводы Б. А. Рыбакова показались ему слишком осторожными, а возможности реконструкции «летописи Аскольда» не до конца исчерпывающими. Принимая во внимание совершенно справедливые замечания исследователей об идейной тенденциозности летописцев и абсолютизировав его, М. Ю. Брайчевский неожиданно пришел к выводу, что вся начальная история Руси была сфальсифицирована публицистами XI–XII вв.

Причем речь идет не о возможности изъятия какой-то части информации, которая не согласовывалась с позднейшими представлениями, а о сознательном перенесении событий IX в. в X и приписывании всего сделанного Аскольдом князьям — варягам Олегу, Игорю и Владимиру. Следовательно, если все эти данные вернуть на свое «законное» место, то, по логике М. Ю. Брайчевского, мы получим полный текст «Аскольдовой летописи», а не сокращенный, как в Никоновском своде.[2]

Реконструкция «Аскольдовой летописи», предложенная М. Ю. Брайчевским, не имеет сколько-нибудь надежной системы документальных доказательств и не может рассматриваться даже как гипотеза. Для столь ответственного вывода одной авторской интуиции мало. Нужны аргументы, которых у М. Ю. Брайчевского нет. К тому же восстановление «Аскольдовой летописи» за счет известий всего X в., по существу, разрушает древнейший летописный источник. Этот незамысловатый метод реконструкции неизбежно требовал от его автора ответить на естественный вопрос: а где же летопись X в.? Ведь невозможно предположить, чтобы в IX в. в Киеве была создана полноценная хроника жизнедеятельности Аскольда, а правление князей X в. оказалось за пределами внимания летописцев.

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 172.

[2] *Брайчевский М. Ю.* О первых договорах Руси с греками. Советский ежегодник международного права за 1978 г. М., 1980. С. 264–284; *Брайчевский М. Ю.* Утверждение христианства на Руси. К., 1989. С. 47 и сл.

Сказанное не означает, что объем информации «Аскольдовой летописи», содержащейся в Никоновском своде, является полным. Потери здесь не исключены, однако без обнаружения дополнительных источников, на что надежд очень мало, попытки их компенсации за счет позднейших известий останутся за пределами научного поиска.

На основании анализа письменных свидетельств IX в., содержащихся как в Никоновской летописи, так и в «Повести временных лет», можно только придти к выводу, что в Киеве во времена Аскольда (или после него) могли быть сделаны какие-то одиночные записи, а вовсе не о наличии в это время устоявшейся летописной традиции. Об этом говорит и сам характер записей. Они лаконичны и не совсем хроникальны. Это как бы краткий пересказ двадцатилетних событий, вместившийся в семи статьях. Помещение рассказа о крещении Руси в статье 876 г., возможно, свидетельствует о том, что и пересказ этот не был хронологически последовательным. Крещение Руси относится ко времени первого похода Аскольда на Константинополь, а поэтому рассказ о нем должен был не венчать «Аскольдовую летопись», а начинать ее. Не кажется на месте и известие о смерти сына Аскольда: «Въ лѣто 6372. Убиенъ бысть отъ Болгаръ Оскольдовъ сынъ».[1] Запись бесспорно древняя, вряд ли в XVI в. кому-либо пришла бы в голову мысль придумать такую трагическую подробность из жизни Аскольда, но сделана она без логической увязки с событием (наверное, военным походом), приведшим к этой смерти.

Под 881 г. в Никоновской летописи находится небольшое сказание о гибели Аскольда (и его брата Дира). Имеет ли оно отношение к комплексу записей IX в., сказать сложно. Некоторые подробности рассказа, например указание на хитрость Олега, сказавшегося больным и по этой причине пригласившего к себе Аскольда и Дира, как будто позволяют так думать. Однако препятствием этому являются ссылки на более поздние историко-топографические ориентиры мест захоронения киевских князей: «И несша ихъ на гору, погребоша ю, еже ся нынѣ наричаеть Угорское, идѣже есть дворъ Олминъ; на той могилѣ постави Олма церковь святаго Николу, а Дирова могила за святою Ириною».[2] Не исключено, правда, что эта фраза могла быть внесена в статью и позже времени записи сказания, возможно при создании одного из сводов.

Вопрос о начале русского летописания имеет не только историографический интерес. Он важен прежде всего для выяснения исторической достоверности сообщений о древнейших временах Руси. При этом

[1] Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). Т. 9. Никоновская летопись. СПб. 1862. С. 9.

[2] ПСРЛ. Т. 9. С. 15.

необходимо иметь в виду, что летописные своды, на которых больше всего сосредотачивается исследовательское внимание, являлись не начальной стадией летописания, а заключительной, обусловленной необходимостью систематизации и обобщения отдельных сообщений, сказаний, повестей.

Наличие традиции исторической письменности в X в. уже ни у кого не вызывает сомнений. К идентичным записям или повестям X в. исследователи согласно относят сообщения о походах Олега и Игоря на Царьград и заключенных ими договорах с греками, об убийстве древлянами князя Игоря и мести им Ольгой, о крещении ее в Константинополе, о походах Святослава на Дунай и междоусобице его сыновей, о начальном периоде княжения в Киеве Владимира Святославича.

Что касается времени обобщения этих разрозненных, ведшихся от случая к случаю записей, то мнения исследователей летописей на этот счет разделились. А. А. Шахматов датировал древнейший летописный свод 1037–1039 гг. Л. В. Черепнин не согласился с таким выводом и полагал, что он мог быть составлен уже в 996 г. в Десятинной церкви.[1]

М. Н. Тихомиров в работе, посвященной началу русской историографии предложил свое видение начальных этапов летописных обобщений за X в. Проанализировав сообщения «Повести временных лет» и сличив их с известиями Новгородской первой летописи, «Памяти и похвале» Иоакова Мниха, и также поздней Устюжской летописи, М. Н. Тихомиров пришел к выводу, что известия о Руси IX–X вв. основаны на трех сказаниях: о начале Русской земли (от Кия до Олега), о призвании варяжских князей и о русских князьях X в. Последнее сказание М. Н. Тихомиров считал наиболее ранним, написанным в Киеве вскоре после крещения Руси. Два другие появились только в XI в.[2]

Таким образом, М. Н. Тихомиров вместо одного летописного свода 996 г. предложил фактически три и только один из них укладывается в рамки X в.

Гипотеза Л. В. Черепнина была поддержана и убедительно обоснована Б. А. Рыбаковым. Выясняя вопрос о времени и месте возникновения раннего летописного свода, исследователь обратил внимание на значительную цензуру в летописном изложении событий конца X – начала XI в. Она охватывает семнадцать лет княжения Владимира Святославича. Описание его героических деяний прерывается на 996–997 г. и возобновляется только в 1013 г. Причем перерыв этот имеет

---

[1] *Черепнин Л. В.* «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды // Исторические записки. 1948. № 25.

[2] *Тихомиров М. Н.* Начало русской историографии. В кн.: «Русское летописание». М., 1979. С. 46–66.

место не только в «Повести временных лет», но и в Новгородской первой летописи. Это, как справедливо считает Б. А. Рыбаков, можно объяснить только тем, что в руках позднейших летописцев действительно была отдельная повесть, завершавшаяся 996–997 гг.[1]

Непосредственным поводом для ее написания явилось событие огромной важности. В 996 г. было произведено торжественное освящение церкви святой Богородицы. «И створи праздникъ великъ ть день бояромъ и старцамъ градским, и убогим раздая имѣнье много», — с воодушевлением сообщает летописец. Он не жалеет добрых слов, чтобы оценить заслуги Владимира Святославича, который живет в страхе Божьем, любит дружину, заботится об устройстве земли и держит мир с окольными странами. Летописец как бы подводит итог не только определенному этапу княжения Владимира, но и всей предыдущей истории Руси.

К этому времени был накоплен значительный письменный материал. В княжеском архиве хранились копии договоров Руси с греками, различные повести и сказания о князьях, отдельные хроникальные записи. Конечно, говорить о летописании как историческом жанре до конца X в. вряд ли возможно. Письменная фиксация исторических событий, дружинных и народных преданий не была регулярной. В пользу этого свидетельствует большое число так называемых пустых лет за IX–X вв. Сводчик летописи конца X в. восполнял отсутствие сведений по отечественной истории отдельными свидетельствами, почерпнутыми из византийских и болгарских хроник. К таким относятся сообщение «Повести временных лет» 858 г. о походе византийского императора на болгар и их крещении, записи 868 г. о начале царствования императора Василия, 887 г. — о царствовании императоров-соправителей Льва и Александра, 902 г. — о найме императором Львом венгров для похода против болгар и ряд других аналогичных известий (за 920, 929 и 934 годы). С историей Руси они никак не связаны и трудно отрешиться от мысли, что сводчик летописи пытался хотя бы за счет чужих известий сократить количество пустых лет своей хроники.

Несовпадение хронологии летописи с реальной Б. А. Рыбаков объяснил тем, что первоначально эти краткие записи о событиях болгарской и византийской истории были сделаны в александрийском и византийском летоисчислении, а затем переводились (с ошибками) на русский счет.

Анализ летописных известий о Руси IX–X вв. начнем с так называемого сказания о начале Руси. В «Повести временных лет» ему предшествует библейский рассказ о разделении земли между сыновьями Ноя,

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 175.

продолженный легендой о посещении Андреем Первозванным Руси, преданием об основании Киева, о расселении восточных славян и их обычаях. В объеме «Повести временных лет» это сказание несомненно плод летописной и исследовательской работы ее автора. Однако какая-то часть этих исторических преданий была зафиксирована и до него.

М. Н. Тихомиров полагал, что древнейшая летопись имела свое введение, которое, видимо, начиналось словами, сохранившимися в Новгородской первой летописи: «В лѣто 6362. Начало земли Рускои».[1] Далее в статье идет пересказ легенды о трех братьях: Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбеди, которая, однако, значительно короче той, что находится в «Повести временных лет». Событие это относилось к древнему времени, которое летописцы не умели определить. Новгородская первая летопись, как показал М. Н. Тихомиров, отнесла его к царствованию императрицы Ирины, примерно к 780–802 гг.,[2] а автор «Повести» рассказал о Кие в недатированном введении. Дискуссия его с «несведущими», считавшими Кия перевозчиком через Днепр, свидетельствует о том, что в его руках была более ранняя летопись с таким сомнительным определением социального статуса основателя Киева. Наверное, это устное предание было внесено в летопись уже в конце X в., когда перед летописцами встал вопрос о начале Руси.

Повесть о начале Руси, как полагал М. Н. Тихомиров, включала в себя также известия о выплате полянами дани хазарам, об убиении Аскольда и Дира, о княжении и смерти Олега. Позже этот рассказ был осложнен вставной легендой о призвании князей, в силу чего Аскольд, Дир и Олег сделались дружинниками Рюрика.[3]

Что касается Аскольда и Дира, то подобное предположение вполне правдоподобно. Историческая традиция знает их не только как дружинников Рюрика, но и как славянских князей, прямых потомков Кия. Об этом говорится в хронике Длугоша: «После смерти Кия, Щека и Хорива, наследуя по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русских, пока наследование не перешло к двум родным братьям Аскольду и Диру».[4] Длугош не придумал эту историю, но, как считал Е. Перфецкий, списал ее из Летописца перемышльского происхождения.[5]

---

[1] *Новгородская первая летопись*. М.; Л., 1950. С. 104.

[2] *Тихомиров М. Н.* Начало русской историографии. С. 53.

[3] Там же. С. 55.

[4] Цитируется по изданию русских известий Длугоша в кн.: *Бестужев-Рюмин К.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 68 и сл.

[5] *Перфецький Є.* Перемишльський кодекс першої редакції в складі Хроніки Яна Длугоша. Записки наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 1934. Т. 151. С. 19–56.

Об Олеге нет совершенно никаких свидетельств, которые бы ставили под сомнение его северное происхождение, а поэтому относить рассказ о нем к сказанию о начале Руси надежных оснований нет. Может, только статью 882 г., рассказывающую об убийстве Олегом Аскольда и Дира, можно отнести к нему.

М. Н. Тихомиров связывал время составления повести о начале Русской земли с неудачным походом русских дружин на Царьград в 1043 г. Основанием для этого послужили ему две справочные ремарки повести. Первая уточняет место захоронения Дира церковью Ирины, а вторая говорит, что русские князья владеют хазарами «до днешнего дня».[1]

Первое уточнение не кажется убедительным свидетельством поздней даты повести о начале Руси. Оно могло быть сделано и позже, в том числе и при составлении «Повести временных лет». Второе и вовсе не имеет хронологического определения. «Днешний день» мог быть временем Мстислава Тмутараканского, как думал М. Н. Тихомиров, но мог быть также и временем Владимира Святославича или даже Олега Святославича (80-е годы XI в.). Не исключено, однако, что и это уточнение могло появиться в результате позднейшей редакции текста.

Интересно, что М. Н. Тихомиров, обосновав позднюю дату написания повести о начале Русской земли, в заключение пришел к выводу, что рассказ о Кие и его братьях мог быть записан и значительно раньше и только обработан в такое относительно позднее время.[2]

Вряд ли продуктивно считать, что толчком к созданию летописцем повести о начале Руси могло послужить столкновение Руси и Византии в 1043 г., если принять к тому же во внимание, что поход на Константинополь оказался неудачным. Другое дело время Владимира Святославича. Принятие христианства безусловно расценивалось на Руси как большая политическая победа молодого восточнославянского государства, вошедшего в православную семью стран византийского содружества. На фоне общественного подъема, достигшего своего апогея к 996 г., когда в Киеве был сооружен и освящен величественный храм святой Богородицы, появление исторического труда, открывавшегося повестью о начале Русской земли, представляется вполне реальным.

Сказание о русских князьях, как полагал М. Н. Тихомиров, охватывает время от 945 до 978 г. Сколько-нибудь убедительных обоснований такого хронологического охвата он не привел. Неизвестно, к какой группе следует относить летописные записи от 913 до 945 г., а также от 978

[1] *Тихомиров М. Н.* Начало русской историографии. С. 56–57.

[2] Там же. С. 57.

до 997 г. Не проясненным остался и главный вопрос: почему летописные известия о деятельности русских князей от Игоря до Ярополка следует объединять в единое сказание. Каких-либо данных, указывающих на то, что перед нами цельное, принадлежащее одному автору летописное произведение, нет. Наоборот, отрывочные известия о русских князьях указывают на то, что сводчик летописи имел дело с рядом отдельных сказаний, составлявшихся в течение всего X в.

Событийная полнота княжеских историй различна. Очень фрагментарно освещены годы княжений Олега, Игоря, Ярополка. Значительно лучше, но так же далеко не исчерпывающе представлена деятельность Ольги, Святослава, Владимира. Хронологическая нечеткость ряда известий указывает на то, что первоначально они не имели дат, а более позднее их определение неизбежно было сопряжено с ошибками.

Исследователи уже давно обратили внимание на характерную особенность ранних записей. Все они группируются почти исключительно за первым годом княжения того или иного князя. На этом основании Б. А. Рыбаков высказал предположение, что погодному изложению, возможно, соответствовала только запись о начале княжения, а далее без указания дат перечислялись важнейшие походы нового князя. Не исключено, что все даты были расставлены в конце X в. по припоминаниям, сказаниям и генеалогическим расчетам.[1]

Кроме кратких хроникальных записей, преимущественно о княжеских походах, в летописи имеются и более пространные, рассказывающие об их подвигах и приключениях. К таковым относятся рассказы о вещем Олеге, о драматической смерти Игоря, о необычных местях Ольги древлянам и ее посещении Константинополя, о подвигах князя-полководца Святослава, о мудром просветителе Руси Владимире.

Можно согласиться с Б. А. Рыбаковым, что и эти рассказы-сказания, несмотря на общие стилистические черты, обусловленные жанровыми особенностями, никак не принадлежат к творчеству одного лица.[2] Несомненно, они слагались в течение всего X в., наверное, вначале как устные предания, а затем уже и как литературные произведения.

В отдельных известиях за X в. ощущается авторское присутствие. Прежде всего это относится к рассказу о визите Ольги в Константинополь. Он содержит такое количество сведений и подробностей, что отнести их на счет позднейших воспоминаний совершенно невозможно. Прямые речи императора, патриарха и самой Ольги указывают на то, что передает их непосредственный свидетель и участник этих переговоров.

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 176–177.

[2] Там же. С. 177.

Наверное, мы можем назвать и его имя. Скорее всего, рассказ о визите Ольги в Константинополь принадлежит духовнику княгини попу Григорию. В пользу этого свидетельствует церковный характер изложения. Автор акцентирует внимание на крещении Ольги. Он явно восторгается этим событием, сравнивает Ольгу с царицей Эфиопской, которая приходила к Соломону, подчеркивает, что она «искаше доброѣ мудрости Божья».

Продолжение статьи 955 г., начинающееся словами — «Живяше же Ольга съ сыномъ своимъ Святославомъ», — также принадлежит этому автору. По существу, перед нами отдельное сказание о том, как Ольга пыталась обратить в свою веру Святослава. Много раз она обращалась к сыну со словами: "Азъ, сыну мой, Бога познахъ и радуюся; аще ты познаеши и радоватися почнешь"».[1] При этом она убеждена, что, если бы крестился Святослав, тогда за ним последовали бы и другие. «Она же рече ему: "Аще крестишися, вси имуть тоже створити"».[2] Старания Ольги не увенчались успехом, Святослав христианства не принял. Автор, рассказывающий об этом, как бы в назидание другим замечает: «Аще кто матере не послушаеть, в бѣду впадаеть». Продолжение этой мысли звучит еще жестче: «Аще кто отца ли матери не послушаеть, то смерть приметь».[3]

Ольга, скорее всего, таких страшных слов не произносила. Они принадлежат попу Григорию и для нас важны не своим мрачным пророчеством, а тем, что, по-видимому, указывают на дату составления этого сказания. Оно было записано сразу же после гибели Святослава, смерть которого для христианского проповедника казалась Божьим наказанием не столько за ослушание матери, сколько за пренебрежение к новой вере.

С позиции очевидца описывается в летописной статье 968 г. осада Киева печенегами. В этом рассказе много таких событийных фактов и подробностей, которые не могли быть придуманы позднейшими летописцами. Среди них свидетельство, что Ольга закрылась в городе с внуками Ярополком, Олегом и Владимиром, что юноша, вызвавшийся переплыть Днепр и сообщить воеводе Претичу об опасности, нависшей над Киевом, знал печенежский язык, что Претич при заключении мирного соглашения с печенегами дал их князю «бронь, щит и меч», а тот в ответ подарил ему коня, саблю и стрелы.

Подробное описание балканской кампании Святослава, содержащееся в статье 971 г. «Повести временных лет», указывает на то, что со-

[1] Повесть временных лет (далее ПВЛ). Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 46.
[2] Там же.
[3] Там же.

ставлено оно вскоре после этого драматического похода, к тому же не исключено, что одним из его участников. Автор не пересказывает событие давно минувших дней, а как бы живет в нем. Он свидетельствует, что в битве с болгарами чаша весов начала было склоняться в их сторону, но после обращения Святослава к своим воям с боевым призывом — «потягнемъ мужьски братья и дружино», — преимущество перешло к русским. Окончательно их победа определилась только к вечеру. Как опытный дипломат, автор участвует в переговорах Святослава с греками и скрупулезно описывает их течение. Он сообщает о хитрости византийцев, пытавшихся посредством обещания уплатить дань на каждого воина выведать численность русских сил, о смекалке русских, сообщивших грекам цифру 20 тыс., тогда как их было всего 10 тыс. После победы Святослава над превосходящими силами византийцев, те запросили мира. Переговоры были многораундовыми и описаны чуть ли не с протокольной подробностью. Вначале греческие послы принесли Святославу «злато и паволоки», но эти дорогие царские дары как будто не тронули его. И только когда в качестве царского подношения было предложено оружие, Святослав пошел на переговоры.

Особенно поражает в этом рассказе сюжет о приеме императором русских послов. Они поведали ему речь Святослава — «хочю имѣти любовь со царемъ гречьскимъ свершеную прочая вся лѣта», после чего он велел «писцю писати вся рѣчи Святославля на харатью. Нача глаголати солъ вся рѣчи, и нача писець писати».[1] Читая эту фразу, трудно отрешиться от мысли, что рассказывающий и есть тот самый посол, который «глаголах вся рѣчи».

По тексту этой героической дружинной повести есть две ремарки, которые на первый взгляд ставят под сомнение ее датировку временем, близким к самому событию. После сообщения о лести греков, пытавшихся так коварно выведать численность русских сил, следует сентенция: «Суть бо греци лстивы и до сего дни».[2] Известие о разорении Святославом греческих городов подытожено замечанием: «Яже стоять и до днешнего дне пусты».[3] Несмотря на кажущуюся органичность этих уточнений в тексте, у нас нет уверенности, что они принадлежали ему изначально. Это, конечно же, позднейшие вставки, причем появились они в разное время и сделаны разными летописцами. Об этом свидетельствует присутствие двух разных речевых стереотипов: «до сего дня» и «до днешнего дня».

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 51–52.
[2] Там же. С. 50.
[3] Там же.

Анализ летописных статей 968 и 971 гг., как и относительная полнота известий за 964–972 гг., позволяет предполагать наличие у Святослава своего летописца. Это, конечно, не поп Григорий. Светский характер текстов летописи Святослава не имеет ничего общего с церковной стилистикой летописи Ольги. Некоторые детали, о чем говорилось выше, позволяют думать, что Григорий пережил Святослава, но ему, очевидно, и в голову не приходило летописать жизнь безбожного язычника. Летописцем Святослава был кто-то из его ближайших соратников, уцелевших в страшном сражении русских с печенегами в 972 г.

Княжение Ярополка практически не отражено в «Повести временных лет». В двух ее статьях (975 и 977 гг.) освещен, по существу, только его конфликт с братом Олегом, закончившийся гибелью последнего. Некоторые данные, в частности известия Никоновской летописи о походах Ярополка на печенегов, приходе послов «от Греческого царя» и «из Рима от папы», помещенные под одним 978 г., а также рассказ об убиении Ярополка, содержащийся в Новгородской первой и Устюжской летописях, позволяют предполагать, что изначально летопись была более пространной. Ее сокращение, вероятно, произошло во время создания летописного свода 996 г.

Наверное, в этом был определенный умысел, принимая во внимание вражду Ярополка и Владимира. Но приходится признать, что выдержан он не до конца. Ярополковы добрые деяния изъяты, а Владимировы неблаговидные оставлены. Чего только стоит статья 980 г., в которой Владимир представлен с наихудшей стороны. Он убийца и насильник. Его жертвами стали полоцкий князь Рогволод, два его сына, а также родной брат Ярополк. Женолюбие его граничило с развратом. «И бѣ несытъ блуда, — подчеркивает летописец, — приводя к собѣ мужьски жены и дѣвицѣ растьляя».[1]

Впрочем, после принятия христианства Владимир обретет такие добродетели, которые с лихвой окупят его языческие пороки, а следовательно, летописцы и не думали их скрывать.

Записи за 980–996 гг. достаточно полны и информативны. Они состоят из хроникальных известий о походах Владимира на поляков, вятичей, ятвягов, болгар, на Корсунь, на хорватов, печенегов, а также из различных сказаний: о первых киевских христианах Федоре и Иоанне, о выборе веры, о взятии Корсуня, о Кожемяке и основании Переяславля, о постройке Десятинной церкви. Наверное, при последующих редакциях летописи эти известия претерпевали определенные изменения, однако основной объем их информации несомненно следует относить к X в.

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 57.

Конечно, многие из повестей и сказаний, помещенных в летописных статьях, освещающих первый период княжения Владимира, имеют не только реальную историческую информацию, но и сказочно-фольклорную. На этом основании иногда ставится под сомнение их датировка временем, близким к событиям. Многим кажется, что необходимо было определенное время, чтобы появилось такое фольклорное предание. Это заблуждение. Предание рождается сразу же за событием, а если этого не происходит, оно не рождается никогда. Что касается его записи, то она может быть сделана как в начальный период жизни предания, так и многие годы спустя.

Знакомство с летописью Владимира убеждает, что ее автором было лицо духовного звания. Это отчетливо видно уже в статье 980 г. Рассказав о водружении на холме языческого святилища и осквернении его требами и кровью, он замечает, что «Преблагий Богъ не хотя смерти гр'ѣшникомъ, на томъ холм'ѣ ныне церкви стоить, святаго Василия».[1] Ссылка на церковь Василия указывает на более позднее (чем 980 г.) написание этой статьи, однако ее не обязательно относить ко времени создания «Повести временных лет». Церковь Василия была построена Владимиром в 988 г., и, следовательно, выражение «ныне церква стоит» в такой же мере корректно для конца X в., как и для последующего периода.

Еще отчетливее христианская тема звучит в статье 983 г., повествующей об убиении язычниками варягов-христиан, отца и сына, дом которых находился там, «идеже есть церкви святая Богородица». Такое уточнение может указывать на обработку статьи позднейшим редактором. А может быть и ее органической частью, если учесть, что летопись Владимира окончательно сложилась к 996 г. В пользу второго предположения как будто свидетельствует и тот факт, что летописец, рассказав о зверствах язычников, убивших ни в чем не повинных отца и сына, пустился затем в пространное рассуждение о происках дьявола, который «тщашеся погубити родъ хрестьянский». Особый интерес представляет сюжет об апостолах, который указывает на относительно раннюю дату этой христианской проповеди. «Аще и т'ѣломъ Апостоли не суть сд'ѣ были, но ученья их аки трубы гласят по вселен'ѣй в церквахъ».[2]

Нечего и говорить, что такое признание церковного летописца резко диссонирует с преданием о посещении апостолом Андреем Киева и Руси, рассказанным автором «Повести временных лет». Как считают исследователи, эта легенда была написана в 70-е годы XI в. при дворе Всеволода Ярославича и фактически канонизирована Русской право-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 56.

[2] Там же. С. 59.

славной церковью.[1] Вряд ли после этого кто-либо осмелился бы подвергнуть ее сомнению.

Возникает закономерный вопрос, как летописцы конца XI — нач. XII в., будучи лицами духовного звания, грубо говоря, проморгали такой еретический пассаж их более раннего коллеги? Сколько-нибудь удовлетворительного ответа на него у нас нет. Разве что признать, что их редакторско-цензорская строгость не была абсолютной.

Начиная со статьи 986 г. и вплоть до статьи 996 г., главной темой летописца является христианизация Руси. Она звучит в сказаниях о выборе веры Владимиром, о походе его на Корсунь и крещении там, о принятии Русью христианства, о воздвижении величественного христианского храма — Десятинной церкви в Киеве. Это как бы единая большая повесть о приобщении Руси к христианской цивилизации, написанная одним автором, несомненно, современником этих кардинальных преобразований, а возможно, о чем скажем ниже, и их непосредственным участником.

Разумеется, эти древние тексты не сохранились в авторской чистоте. Впоследствии они подверглись редакторской обработке. Особенно заметно участие в подобной работе автора «Повести временных лет». Это ему принадлежат слова: «Се же не свѣдуще право, глаголють, яко крестилъся (Владимир. — *П. Т.*) есть в Киевѣ; инии же рѣша: в Василеве; друзии же инако скажють».[2] Упрек несведущим, не знающим, где принял крещение Владимир, очень напоминает аналогичный упрек тем, кто не хотел признавать княжеское звание Кия. Не исключено, что и пространные церковные проповеди, являющиеся своеобразным обобщением рассказов о реальных событиях крещения Владимира и Руси, также прибавлены им. Особенно это относится к воздаянию благодарности и прославлению Бога в летописной статье 988 г. Текст этот стилистически перекликается с «Житием Феодосия».

Поздней вставкой является также рассказ о 12 сыновьях Владимира. К 988 г. многие из них еще не родились, не говоря о том, чтобы могли быть посланы на княжеские столы. Конечно, для летописца конца X в. такой текст немыслим. Это взгляд из будущего, которое уже не очень помнило порядок старшинства Владимировых сыновей.

Придачей к своду 996 г. следует считать и статью 997 г., в которой рассказывается об осаде печенегами города Белгорода. Фольклорное

---

[1] *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913. С. 160–162; *Мюллер Л.* Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 53 и сл.

[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 77.

происхождение предания, повествующего о необычайной хитрости белгородцев с кисельными колодцами, позволяет предполагать его относительно позднее включение в летопись.

Б. А. Рыбаков, подводя итог изучению летописного свода 996 г., пришел к выводу, что его состав нам, вероятно, никогда не удастся установить. С этим можно согласиться. Однако это не значит, что такие попытки в будущем не могут привести хотя бы к локальным успехам. При этом, разумеется, неизбежным окажется столкновение с устоявшимися и обретшими силу непреложных истин историографическими традициями.

К таким относится вывод о сравнительно позднем, не ранее конца XI – нач. XII в., включении в летопись текстов русско-византийских договоров. Аргумент простой и на первый взгляд совершенно убедительный. «Повести временных лет», как считал А. А. Шахматов, предшествовал Новгородский летописный свод 1050 г., а поскольку в нем тексты договоров отсутствуют, следовательно, более позднее их введение в летопись не может вызывать сомнений. При этом, как само собой разумеющееся, имелось в виду, что автор «Повести временных лет» имел в своих руках новгородский свод.

Конечно, если бы этот свод был сугубо новгородским явлением, таким выводом можно было бы и пренебречь. Мало ли каких источников не оказалось в руках первых новгородских летописцев. Но в том-то и дело, что, как думали А. А. Шахматов, Б. А. Рыбаков и др., Новгородский свод 1050 г. базируется на ранней киевской летописи и логично предположить, что, если бы в ней уже были договоры, они непременно были бы и в нем. В дальнейшем многие исследователи определяли объем раннего киевского летописного фонда, полагаясь на своды А. А. Шахматова, будто они являлись не авторской реконструкцией, к тому же не бесспорной, а археографической реальностью.

М. Н. Тихомиров, выразивший сомнение в существовании Новгородского свода 1050 г., мотивировал его тем, что «Повесть временных лет» содержит не все новгородские известия XI в., но лишь ничтожное их количество.[1] Не был согласен с существованием раннего новгородского летописного свода и Д. С. Лихачев. Согласно ему, источниками новгородских известий в «Повести временных лет» были не письменные, а устные рассказы Вышаты и его сына Яна.[2]

Б. А. Рыбаков решительно поддержал и развил вывод А. А. Шахматова о существовании раннего новгородского свода, назвав его «Остро-

[1] *Тихомиров М. Н.* Источниковедения истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1. М., 1940. С. 55.

[2] *Лихачев Д. С.* «Устные летописи» в составе «Повести временных лет» // Исторические записки. 1945. № 17.

мировой летописью». Окончательная компоновка этой летописи, согласно ему, производилась в 1054–1060 гг., а ее изложение доведено до смерти Ярослава. Что касается утверждения М. Н. Тихомирова о неполном использовании автором «Повести временных лет» данного свода, то оно никак не может быть аргументом против существования свода 1050 г. в Новгороде. Киевский летописец, как считал Б. А. Рыбаков, мог вполне обдуманно «забыть» некоторые новгородские события.[1]

Конечно мог. Странно только, что ни Б. А. Рыбакову, ни другим исследователям не приходила аналогичная мысль по отношению к новгородскому летописцу. Ведь он тоже мог «обдуманно забыть» некоторые киевские события. И причина для этого у него была совсем серьезная. Как известно, в XI в. на Руси существовали и соперничали между собой две концепции ее начальной истории. Согласно первой — центром Руси и собирателем всех восточнославянских земель в едином государстве был Киев, по другой — первенство в этом процессе отводилось Новгороду. Именно такой тенденцией отличается Новгородская первая летопись.

Но ведь весь объем письменных свидетельств IX–X вв., в том числе и договоры Руси с Византией, зарубежные письменные источники неоспоримо указывали на старшинство Киева. Новгородские книжники, разумеется, знали это, однако местный патриотизм подвигал их на отстаивание идеи новгородоцентризма. В киевскую летопись, как считал А. А. Шахматов, они вставили легенду о призвании варяжских князей, а имя «Киев» в ряде мест заменили именем «Новгород».[2] Им принадлежит также утверждение, что основатель Киева Кий был не князем, а простым лодочником — перевозчиком через Днепр, и жил не в отдаленные времена, а в IX в. В Киев первые князья пришли из Новгорода.

Учитывая подобную тенденциозность новгородских летописцев, вряд ли следует удивляться, если бы оказалось, что они воспользовались Киевским летописным сводом 996 в. по своему усмотрению. В данном случае для нас особый интерес представляют русско-византийские договоры. Знали ли о них новгородцы и в какой мере отсутствие текстов договоров в Новгородской первой летописи может быть основанием для утверждения, что они не были включены и в Киевский летописный свод конца X в.?

Знакомство с известиями Новгородской первой летописи о походах князей Олега и Игоря на Византию приводит к мысли, что для новго-

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 194–198.

[2] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 297–298.

родского летописца эти сведения не представляли большого интереса. И вряд ли они буквально списаны с киевской летописи. В Киеве могли не знать точной хронологии походов, но то, что Олег княжил раньше Игоря и что именно он расправился над Аскольдом и Диром, здесь, конечно, знали. В равной мере это относится и к последовательности походов на греков.

Не случайно А. А. Шахматов в своей реконструкции Новгородского летописного свода 1050 г. исправляет Новгородскую первую летопись: сначала помещает рассказ о княжении в Киеве Олега и его походе на Царьград, а уже затем о княжении Игоря. Правда, неизвестно, на каком основании он полагает, что в Древнейшем киевском своде (1039 г.), которым пользовался новгородский летописец, известия о походе Игоря на греков вообще не было.[1]

Думается, при анализе ситуации с первыми походами русских князей на Царьград необходимо основываться не на реконструктивных авторских сводах, а на исторических летописях, в данном случае на НПЛ. За непоследовательностью и сбивчивостью ее рассказов о походах Игоря и Олега можно обнаружить характерную деталь: летописец знал больше, чем сказал.

Особенно это относится к походу Олега. Он изложен достаточно подробно, почти так же, как в «Повести временных лет», но без учета текста договора. В нем содержится фраза, которая явно извлечена из текста договора. «И заповѣда Олегъ дань дати на 100 корабль, по 12 гривьнѣ на человѣкъ, а въ кораблѣ по сороку мужь».[2] Разумеется, это извлечение мог сделать уже киевский летописец в конце X в., но, если это так, тогда приходится сомневаться в истинности утверждения А. А. Шахматова, Д. С. Лихачева и других исследователей, что русско-византийские договора стали известны летописцам только во времена Нестора.

Комментируя летописную статью 971 г., рассказывающую о походе на греков Святослава, Д. С. Лихачев высказал мысль, что первоначально в летописи содержалось лишь повествование о его военной кампании, а сообщение о заключении мира и текст договора были внесены в нее составителем «Повести временных лет».[3]

Безоговорочно принять этот вывод невозможно. Мешают этому два обстоятельства. Во-первых, вся статья 971 г. до слов «Равно и другаго свѣщания» производит впечатление тематически и стилистически единого повествования, а во-вторых, трудно предположить, чтобы летопи-

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 543–544, 612–613.
[2] НПЛ. М.; Л., 1950. С. 108.
[3] *Лихачев Д. С.* ПВЛ. Ч. 2. С. 318.

сец, почти современник Святослава, не знал (или утаил) факт заключения им мира с греками. Вряд ли продуктивно также считать, что договор Святослава с Цимисхием хранился в княжеском архиве вместе с рассказом о ходе переговоров. Отчего тогда не вместе и с повествованием о военном походе?

Думается, Новгородская первая летопись не может быть надежным источником для суждения о том, были или не были включены тексты русско-византийских договоров в летопись уже на этапе составления свода 996 г. Она не является его копией, в лучшем случае заимствованием из него некоторых сведений. Скорее всего, это оригинальное историческое произведение новгородских летописцев. А. А. Шахматов полагал, что реконструированный им свод 1050 г. является соединением местной летописи с текстом Древнейшего киевского свода. До времени Ярослава новгородский летописец якобы передал киевскую летопись полностью, лишь слегка дополнив ее новгородскими известиями, а затем он почти совсем забросил свой киевский источник.[1]

Кроме авторского ощущения, что, наверное, это произошло от того, что Новгородская летопись не содержала обильных данных для древнейшего времени, других аргументов у А. А. Шахматова не оказалось.

Его же утверждение, что составитель Новгородского свода 1050 г. «действовал не как компилятор, а как исследователь исторических данных и собиратель народных преданий», вообще лишает оснований вывод об адекватном отражении Древнейшего киевского свода в новгородском летописании.

Видимо, действительно причина «забывчивости» новгородских летописцев по отношению к некоторым важнейшим событиям ранней киевской истории кроется в их «творческом» восприятии фактов. В XII–XIII вв. они безусловно знали «Повесть временных лет», но тексты русско-византийских договоров в Новгородской первой летописи так и не появились.

После всего сказанного мысль о том, что эти договоры были отражены уже в Киевском своде 996 г., не кажется слишком еретической. Более подходящего времени для этого во всей древнерусской истории не найти. Русь только недавно стала христианской страной и вошла в византийское содружество народов. В связи с этим, несомненно, появилась необходимость осмыслить и как бы обобщить исторические события, приведшие молодое восточнославянское государство к такому впечатляющему финалу. Страной, от которой Русь получила новую веру, была Византия и, наверное, в конце X в. русское общественное

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 494.

мнение не имело более важной темы для обсуждения, чем русско-византийские отношения.

Летописный свод составлялся под присмотром Владимира Святославича, и, видимо, он предоставил в распоряжение летописца княжеский архив. Предположить, что это случилось именно теперь, когда летопись пишется чуть ли не на великокняжеском дворе, значительно больше оснований, чем утверждать, что тексты русско-византийских договоров были предоставлены в конце XI – нач. XII в. скромному монаху Печерского монастыря Нестору. Для этого в это время не было тех идеологических побудительных мотивов, какие имелись в конце X в.

И, наконец, еще один аргумент. В Киеве после принятия христианства оказалась значительная греческая община. Это прежде всего византийская принцесса Анна, ее многочисленное окружение, митрополит и его клир, корсунские попы, среди которых и Анастас Корсунянин, будущий настоятель Десятинной церкви. Столь мощный приток на Русь греческих интеллектуалов, безусловно, не мог не оказать влияния на создание исторического труда, в котором тема русско-византийских отношений должна быть представлена во всей возможной полноте.

Видимо, прав Б. А. Рыбаков, утверждавший, что в первом летописном своде уже были сказания о христианстве, повесть о крещении Ольги, «Речь философа», сказание о крещении Руси.[1] Без участия в их создании греческих церковных грамотеев, конечно же, не обошлось.

Пытаясь определить имя автора Киевского летописного свода конца X в., Б. А. Рыбаков высказал интересное предположение, что в его создании могли участвовать два самых близких митрополиту лица — настоятель столичного кафедрального собора и белгородский епископ Никита, бывший викарием митрополита.[2]

Участие последнего в раннем киевском летописании как будто выдают записи 991–997 гг. Белгород неоднократно упоминается на страницах летописи при описании событий рубежа X–XI вв. Под 991 г. в «Повести временных лет» сообщается о закладке города Белгорода, а также об особом к нему отношении Владимира: «Бе бо любя град сь». Летописная статья 992 г. Никоновской летописи содержит известие о поставлении в Белгород епископа Никиты. В 996 г. в этом киевском пригороде Владимиром была построена церковь Преображения Христова.

Б. А. Рыбаков полагает, что Белгород, находившийся на краю земли древлян, мог выполнять функции ее административно-церковного центра и быть не только резиденцией Святослава Владимировича, князя древлянского, но и одним из центров раннего летописания. В пользу

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 190.

[2] Там же. С. 191.

этого как будто свидетельствуют те статьи летописного свода 996 г., в которых рассказывается о драматических взаимоотношениях Киева с древлянами. Они имеют достаточно выраженную продревлянскую тенденцию.

Высказанное предположение не имеет надежной аргументации, хотя и оспорить его также трудно. При белгородской епископской кафедре могли вестись в 992–996 гг. отдельные хроникальные записи, автор которых, не исключено, питал какие-то симпатии к древлянам. И все же, думается, продревлянской тенденцией летописный свод 996 г. обязан не епископу Никите или его неизвестному хронисту. При желании эта тенденция могла быть легко устранена сводчиком летописи в 996 г., но кто-то позаботился, чтобы этого не случилось. Вряд ли это был и Анастас Корсунянин. Личного интереса в этом у него не было, а в тонкостях сложных междукняжеских и межплеменных отношений на Руси X в., учитывая его греческое происхождение, он, наверное, не слишком ориентировался.

Единственным лицом, который определенно симпатизировал древлянам, был Добрыня. Как показал А. А. Шахматов, происходил он из древлянского княжеского рода. Его отцом был князь Мал-Малко Любечанин, а сестрой ключница Ольги и мать Владимира Святославича — Малуша.[1] С юных лет Владимира дядя опекал племянника, исполняя при нем воеводские и канцлерские функции. В летописи он отрекомендован как муж «храбр и наряден». Добрыня участник и организатор практически всех Владимировых преобразований. Особенно заметной была его роль в крещении Руси. В статье 992 г. Никоновской летописи читаем: «Иде Михаил митрополит по Русской земле и до Ростова, с четырма епископы Фатея патриарха, и с Добрынею и со Анастасом».[2] Известно также народное предание о крещении Добрыней Новгорода: «А Добрыню посла (Владимир. — *П. Т.)* в Новгород и тамо повеле всех крестити».

Можно предположить, что Добрыня если и не участвовал непосредственно совместно с Анастасом Корсунянином в составлении первого летописного свода, как это имело место в деле крещения Руси, то определенно по поручению Владимира присматривал за этой работой.

Д. С. Лихачев полагал, что летописная история знаменитого ославянившегося рода Вышаты-Остромира, уходящего своими корнями до воеводы Игоря Свенельда, была записана в летописи на основании рассказов Вышаты и его сына Яна.[3] Если иметь в виду наследников Доб-

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 340–378.
[2] ПСРЛ. Т. 9. С. 18.
[3] ПВЛ. Ч. 2. С. 394.

рыни, то, видимо, так оно и было, что же касается предков, то история о них, несомненно, была включена в летопись уже при составлении свода 996 г. со слов Добрыни. Не забытой оказалась и его собственная история, в которой он изображен чуть ли не ровней с Владимиром Святославичем.

Б. А. Рыбаков считал вполне возможным допускать, что дядя и воспитатель Владимира Добрыня был причастен к созданию первой государственной летописи Киева.[1]

Таким образом, киевская историческая письменность, начало которой было положено еще во времена Аскольда, к концу X в. оказалась в состоянии обобщить и осмыслить почти полуторавековой опыт государственного строительства и предъявить общественности первый труд по истории Руси IX–X вв. По существу, он явился результатом социального заказа самого государства, оказавшегося на историческом перевале и желавшего удостовериться в своей древней и благородной родословной.

Исходя из объема и характера информации летописного свода 996 г., можно с уверенностью утверждать его исключительно киевское происхождение. При составлении свода были использованы материалы архива великокняжеского двора, одиночные записи важнейших событий, эпические сказания и народные предания, погодные записи, которые делались в церковных книгах при митрополичьей кафедре, а также церкви св. Ильи. Заметен также комплекс болгаро-византийских известий.

Сведение таких разных источников наложило свой отпечаток на общий характер свода. Исторический материал в нем неоднороден, информативная полнота погодных записей неравномерна, нередко противоречива. Это касается и хронологии событий. Как считает Б. А. Рыбаков, хронологическая путаница объясняется тем, что александрийское летоисчисление, которым пользовались в Болгарии в X в., переводилось русскими летописцами на византийское.

В целом же летописный свод 996 г. производит впечатление полноценной хроники, достаточно адекватно воспроизводящей начальную историю Руси.

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 191.

2. Киевское летописание XI в.

Киевское летописание XI в. если и не современно описываемым событиям, то более приближено к ним, чем летописание X в. Оно отмечено уже и авторским присутствием, оживлено именами писателей или составителей. Среди них митрополит Иларион (автор «Слова о законе и благодати»), монах Иаков (автор «Похвалы князю Владимиру»), Великий Никон Печерский, игумен Иоанн и др.

Казалось бы, это обстоятельство должно облегчить постижение процесса сложения киевской летописи XI в., но это не совсем так. Исторический материал в ней многообразный и сложный. Реальные исторические события нередко воспроизведены через народные предания. Многие из них обрели летописное оформление по истечении значительного времени, когда в памяти народной уже изгладились детали событий. Особенно это относится ко времени между 996 и 1015 гг. Пустые или полупустые годы, приходящиеся на заключительный период княжения Владимира Святославича, указывает на то, что летописная традиция в это время прервалась. Не исключено, что причиной этому послужил отъезд Добрыни в Новгород, а также уход из Киева в обозе Болеслава Хороброго Анастаса Корсунянина.

А. А. Шахматову русское летописание XI в. представлялось в виде четырех сводов: трех киевских (Древнейшего 1039 г., свода Никона 1073 г., так называемого начального 1095 г.) и одного новгородского 1050 г.[1]

Предложенная схема не нашла единодушной поддержки со стороны многих известных летописеведов. Особенно это касается Древнейшего свода 1039 г., который в конце концов был отвергнут большинством исследователей. Судя по критическим замечаниям М. К. Никольского, Д. С. Лихачева, М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова и других историков, возражение вызвала не столько сама идея существования софийского летописания, сколько его текстологическая реконструкция, предложен-

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. III–V, 398 и сл.; *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. — Пгр. 1916. С. XVI.

ная А. А. Шахматовым. Д. С. Лихачева сильно смущали отсутствие внутреннего стилистического единства текста свода, а также наличие в нем идейной разноголосицы.[1]

Другим представлялся состав Древнейшего свода и М. Д. Приселкову, хотя реальность софийского летописания он сомнению не подвергал. Согласно историку, свод 1037–1039 гг. представлял собой что-то вроде докладной записки, составленной киевской митрополией, находившейся в руках греков, для Константинополя.[2]

Сегодня, особенно после работ Л. В. Черепнина, Б. А. Рыбакова и ряда других историков, вывод А. А. Шахматова о датировке Древнейшего киевского свода 1039 г. не представляется продуктивным. Этот свод, о чем шла речь выше, был составлен уже в 996 г. при Десятинной церкви. На этом основании, разумеется, нельзя отвергать саму идею нового центра киевского летописания для первой половины XI в., каким стала митрополичья кафедра и София Киевская. В свете выводов о ранней дате ее сооружения и освящения (1037 или близкий к нему год) она кажется вполне реалистичной.[3]

Если говорить о характере софийского летописания, то оно производит впечатление не просто хроники, но своеобразного итога первого периода киевского княжения Ярослава. Это как бы небольшой свод за 998–1037 гг., состоящий из кратких погодных записей, а также подробных повестей и сказаний. Среди них обстоятельное летописное повествование о борьбе Ярослава за киевский стол со своими братьями Святополком и Мстиславом, сказание об убиении Святополком братьев Бориса, Глеба и Святослава, повесть о строительной и просветительской деятельности Ярослава.

Мы не знаем, кто писал эту летопись, но нет и наименьших сомнений, что он был убежденным сторонником Владимира и Ярослава и, возможно, принадлежал к ближайшему духовному окружению последнего. Первая пространная статья летописи (1015 г.) начинается с рассказа об обстоятельствах смерти и погребения Владимира Святославича, а также восторженного ему панегирика. Наверное, мы имеем здесь дело с двумя хронологическими пластами повествования. Первая его часть написана вскоре после смерти князя, а вторая по прошествии значительного времени. Летописец сетует на несправедливое отношение

---

[1] *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 62–77.

[2] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. С. 26–27.

[3] *Толочко П. П.* Історична топографія стародавнього Києва. К., 1970. С. 93–102.

к Владимиру потомков. «Дивно же есть се, колико добра створил Русьстѣй земли, крестив ю. Мы же, хрестьяне суще, не въздаемъ почестья противу оного възданью. Аще бо онъ не крестилъ бы насъ, то нынѣ были быхомъ в прельсти дьяволи, яко же и прародители наши погинуша».[1]

Далее летописец замечает, что если бы люди приносили Богу молитвы за Владимира в день его смерти, то Бог увидел бы их «тщание» и прославил его. Несколько несогласно с приведенными выше словами звучит заключительный абзац похвалы Владимиру, в котором отмечается, что русские люди все-таки чтут память Владимира и помнят святое крещение: «Сего бо память держать Русьстии людье, поминающие святое крещенье».[2]

Следует ли отнести эту фразу на счет позднейшего летописца или же она принадлежит тому же автору, не совсем справившемуся в начале рассказа со своими эмоциями, сказать трудно. Бесспорным является то, что сказанное принадлежит духовному лицу, вероятно младшему современнику князя Владимира. В пользу этого свидетельствует его неподдельная обида за недостаточное почитание русскими людьми Владимира, а также замечание: «Аще бо онъ не крестилъ бы насъ». Слово «нас» здесь, скорее всего, надо понимать не образно в значении «Русь» или «русский народ», а буквально — людей, непосредственно крещенных Владимиром, к которым принадлежал и летописец.

Тема заслуг Владимира продолжается и в статье 1037 г., где воздается хвала его сыну Ярославу за строительство города Киева, христианских храмов, распространение христианства и книжной мудрости. По мысли летописца, Ярослав продолжил дело, начатое Владимиром. «Отець бо сего Володимеръ землю взора и умягчи, рекше крещеньемь просвѣтивъ. Сь же насѣя книжными словесы вѣрныхълюдей».[3]

Сходен в обеих статьях и литературный стереотип обращения к притчам Соломона. Статья 1015 г.: «Якоже Соломонъ рече: "умершю мужю праведну, не погыбаеть упованье"». Статья 1037 г.: «Якоже и Соломонъ похваляя глаголаша: "Азъ, премудрость, вселихъ свѣтъ и разумъ, и смыслъ азъ призвах"».[4]

Наверное, софийское летописание включало в себя также сказание об убиении князей Бориса, Глеба и Святослава. В будущем оно, несомненно, обросло дополнительными деталями, но появилось, видимо, уже в Ярославово время. По существу, это сказание слилось с рассказом о бурных событиях, связанных с борьбой сыновей Владимира за отцов-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 89.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 102.
[4] Там же.

ское наследие. Главными действующими лицами этой драмы были Святополк и Ярослав. Летописец определенно симпатизирует Ярославу, считает его претензии на обладание киевским столом законными, а Святополка выставляет чуть ли не узурпатором. Разумеется, на пути к достижению цели Ярослав не совершил таких вопиющих злодеяний, как Святополк, но его права на Киев не были столь бесспорными, чтобы не вызвать у летописца и малейшего сомнения. Ведь не Ярослав, а Святополк был старшим сыном Владимира, и к нему по принципу старшинства должен был перейти отцовский стол. Между тем летописец представляет дело так, как будто именно Ярослав и является старшим.

Описание длительной борьбы за Киев, изобилующее многими подробностями, свидетельствует, что составлялось оно тогда, когда еще свежей была память об этой усобице. Не исключено, что в руках софийского летописца, итожившего первый период киевского княжения Ярослава в 1039 или близком к нему году, были и какие-то современные событиям записи. Сюжет об убиении Бориса летописец заканчивает следующей подробностью: «Суть же имена симъ законопреступникомъ: Путьша, и Талець, Еловить, Ляшько».[1] Названы по имени также и убийцы Глеба: это Святополков посланник Горясер и повар Глеба Торчин.

Очень обстоятелен рассказ летописи о драматических событиях в Новгороде, случившихся накануне получения Ярославом вести от сестры Предславы о смерти отца. Битва у Любеча описана так, будто сделал это один из ее участников. Летописцу известны такие подробности, которые, не будь они зафиксированы по горячим следам, определенно были бы утрачены. Речь идет о репликах Святополкового воеводы, обзывавшего новгородцев «плотниками», а Ярослава «хромцем», об уточнении времени битвы началом заморозков («Б҃ѣ бо уже в заморозъ»), о расположении киевских дружин между двух озер.

Не оставляет сомнения наличие у софийского летописца письменных записей о перипетиях борьбы Ярослава и Святополка или хотя бы устных свидетельств очевидца, рассказ о подготовке похода 1018 г. на Киев. Оказывается, прежде чем выступить против Святополка и Болеслава, новгородцы собрали «отъ мужа по 4 куны, а отъ старостъ по 10 гривен, а отъ бояръ по 18 гривенъ».[2]

При описании последней битвы Ярослава со Святополком, которая состоялась недалеко от Переяславля на Летском (Альтском) поле, летописец как бы между прочим замечает: «Б҃ѣ же пятокъ тогда». Битва началась, когда всходило солнце, а ее результат в пользу Ярослава оп-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 92.
[2] Там же. С. 97.

ределился только к вечеру: «К вечеру же одолѣ Ярославъ».[1] Конечно, подобные детали не могли быть сочинены впоследствии. Они явные приметы практической одновременности события и его письменной фиксации.

Видимо, то же самое можно сказать и о драматическом столкновении Ярослава с Мстиславом. Их битва, состоявшаяся у Листвена, описана так ярко и детально, как будто о ней рассказал один из ее участников. О союзнике Ярослава варяге Якуне говорится, что он был красив (сь лѣпъ) и одет в расшитый золотом плащ («луда бѣ у него золотомъ истъкана»). Сражение началось к вечеру и затем продолжалось ночью,* при этом шел дождь, сверкала молния и гремел гром. «И бысть сѣча силна, яко посвѣтяше молнья, блещащеться оружье, и бѣ гроза велика и сѣча силна и страшна».[2] Ярослав эту битву проиграл и ушел в Новгород. Якун, в спешке отступления, потерял на поле боя свой золотошитый плащ. Мстислав, осматривая наутро поле боя, с удовольствием отметил, что погибли большей частью варяги и северяне, а его дружина осталась целой.

Характерной для определения хронологии софийского летописания является статья 1026 г., рассказывающая о заключении мира между Ярославом и Мстиславом: «И раздѣлиста по Днѣпръ Руськую землю: Ярославъ прия сю сторону, а Мьстиславъ ону. И начаста жити мирно и в братолюбьствѣ, и уста усобица и мятежь. И бысть тишина велика в земли».[3] Статья явно написана до 1036 г. В этом году умер Мстислав и в подобной летописной сентенции о братолюбии и совместном владении Русью уже не было нужды. Наоборот, в статье 1036 г. подчеркнуто Ярославово единовластие. «Посемь (после смерти Мстислава. — *П. Т.*) же перея власть его всю Ярославъ и бысть самовластець Русьстѣй земли».[4]

Согласно А. А. Шахматову, статья 1037 г. была завершающей в Древнейшем (как он думал) летописном своде. Не разделяя его вывода о дате составления, нельзя не согласиться, что статья эта действительно является итоговой в софийском летописании. Завершение строительства и освещение величественного митрополичьего собора было достаточной мотивацией для воздания похвалы Ярославу Мудрому. Летописец

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 98.

* Ночное сражение маловероятно. Отличить своего от чужого в кромешной тьме невозможно. Наверное, битва состоялась все же днем, но в это время небо заволокли тучи, началась гроза и день превратился почти в ночь.

[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 100.

[3] Там же.

[4] Там же. С. 101.

не жалеет ярких красок, чтобы показать его как радетеля христианской веры, просветителя Руси, учредителя софийской библиотеки и книгописчей мастерской, в которую он собрал «писцѣ многы и перекладаше отъ грекъ на словѣньское письмо».[1] Летописца восторгает любовь Ярослава к церковным уставам, к попам и черноризцам, радует, что христианские храмы возводятся не только в Киеве, но и по всей Руси и все они, как когда-то при Владимире, обеспечиваются материально князем: «И дая имъ отъ имѣнья своего урок».[2] Возможно, это была та же десятина.

К комплексу статей Софийской летописи А. А. Шахматов склонен был относить также известие 1043 г. о походе Владимира Ярославича на Константинополь, написанное современником, дополнившим им текст Древнейшего свода.[3] Обстоятельность рассказа, записанного скорее всего со слов Вышаты, делает такое предположение вполне вероятным. Несколько смущает только летописная ремарка, свидетельствующая, что воевода Вышата был отцом Яня. Впрочем, она может принадлежать позднейшему сводчику и редактору летописи, например Нестору.

Последующий этап киевского летописания связывается с Печерским монастырем. Однако прежде чем мы перейдем к его исследованию, попытаемся ответить на вопрос о времени прекращения летописной традиции Софии Киевской. А. А. Шахматов полагал, что случилось это после 1043 г., когда в результате похода Владимира Ярославича на Царьград резко ухудшились отношения Руси с Византией.[4]

Вряд ли изменение внешнеполитической обстановки могло роковым образом сказаться на судьбе софийского летописания. Избрание на митрополичью кафедру в 1051 г. русина Илариона, известного проповедника и богослова, создавшего знаменитое церковное произведение «Слово о законе и благодати», могло скорее оживить софийскую летописную традицию, нежели прервать ее. Не было никаких причин отказываться от своего детища — софийской книгописчей мастерской и у Ярослава Мудрого. Невозможно представить, чтобы эти два великих просветителя земли Русской взяли и передали летописание в Печерский монастырь, только обретавший свое духовное лицо и еще не имевший собственного опыта исторической письменности.

Прекращение софийского летописания следует связывать со смертью Ярослава и уходом со своей кафедры митрополита Илариона. Для

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 102.
[2] Там же. С. 103.
[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 414.
[4] Там же. С. 419.

Софии и ее клира эти события не могли не иметь драматических последствий. Очень возможно, что какая-то часть софийских книжников, потеряв опеку и благорасположение, которой они были окружены во времена Ярослава, ушла в Печерский монастырь. Не исключено, что их число пополнил и сам Иларион, след которого теряется.

В свое время М. Д. Приселков высказал предположение, что Никон Печерский и митрополит Иларион — одно и то же лицо, что «Слово о законе и благодати» и летопись до 1073 г. проводят одни и те же патриотические и антигреческие идеи.[1] В последующем эта интересная мысль не была поддержана историками. Доказать ее, по существу, нечем, хотя, если полагать уход Илариона в Печерский монастырь вероятным, более подходящей кандидатуры для его исторической идентификации, чем Никон, не найти. По летописи, Никон наравне с Антонием является основателем монашеского пустынножительства. Аналогичной представлена и роль Илариона, о чем говорит фраза: «И приде (Антоний. — *П. Т.)* на холмъ, идѣже бѣ Ларионъ ископалъ печерку, и възлюби мѣсто се, и вселися в не».[2]

Не случайно, по-видимому, составители Киево-Печерского патерика «вселили» Антония не в Илариoнову пещеру, а в Варяжскую, чем отдали пальму первенства пещерного пустынножительства ему. Таким образом, если предположение об уходе Илариона после его смещения с митрополичьей кафедры в Печерский монастырь верно, то он, по существу, вернулся к привычной для него жизни монаха-пустынника.*

Как бы то ни было, но после смерти Ярослава в 1054 г. и ухода с кафедры Илариона в Софии Киевской летописание прерывается, а возобновляется уже в Печерском монастыре при участии Никона. А. А. Шахматов, выделивший летописный свод 1073 г. и связавший его с авторством Никона, полагал, что к летописанию он приступил не ранее 1069 г. На такой вывод его натолкнула статья 1018 г. «Повести временных лет», в которой уход Болеслава Храброго из Киева объясняется тем, что против его дружин, распущенных на покорм по селам, выступили киевляне.

---

[1] *Приселков М. Д.* Митрополит Иларион — в схиме Никон, как борец за независимую русскую церковь. (Эпизод из начальной истории Киево-Печерского монастыря). СПб. «Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели» СПб. 1911; *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб. 1913.

[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 105.

* Н. Н. Розов, руководствуясь свидетельством Киево-Печерского патерика, полагал, что Иларион наравне с Никоном и Нестором являлся основоположником русской историографии и нет нужды отождествлять его с Никоном. Чит.: *Розов Н. Н.* К вопросу об участии Илариона в начальном летописании // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 31–36.

Это летописное известие совершенно не согласуется с тем, что Болеслав, по свидетельству той же статьи, ушел из Киева с большим полоном, награбленным добром и сестрой Ярослава. Следовательно, делает заключение А. А. Шахматов, эта подробность была внесена в статью 1018 г. из статьи 1069 г., когда против Болеслава Смелого, оказывавшего помощь своему родственнику Изяславу Ярославичу, действительно поднялось восстание киевлян. А коль скоро это так, то кроме Никона, пережившего это событие, внести такую патриотическую подробность в статью 1018 г. было некому. Завершение труда приходится якобы на 1073 г., когда Никон, гонимый Святославом, ушел в Тмутаракань.[1]

Как видим, аргументы не очень убедительные. Статью 1018 г. Никон мог отредактировать и в 1069 г., но это вовсе не свидетельствует, что до этого он летописанием не занимался. Уход в Тмутаракань мог прервать его летописную деятельность, но ведь ушел он туда не навсегда. Через два года вернулся в Киев, в Печерский монастырь, прожил в нем до 1088 г. и не понятно, почему он не возобновил позже свое занятие исторической письменностью.

Не вполне выясненным остается и вопрос об объеме летописного свода Никона. А. А. Шахматову казалось, что он написал летописные статьи от 1037 по 1073 г. и принял участие в редактировании ряда текстов Древнейшего свода. Аналогичного мнения придерживались М. Д. Приселков, Д. С. Лихачев.[2] Более сдержанно подходил к творчеству Никона А. Н. Насонов. Он говорил о его печерских и тмутараканских записях, но ни разу не назвал его автором большого летописного свода.[3] А. Г. Кузьмин вообще не нашел в Печерском летописании второй половины XI в. следов Никоновых писаний. Все тексты он «отдал» ученику Феодосия, в котором видел Сильвестра.[4] Согласно Б. А. Рыбакову, Никону принадлежит основной текст 1037–1073 гг.[5]

Видимо, все же больше оснований связывать с летописной деятельностью Никона известия за третью четверть XI в. Очевидно, не в полном объеме, многие свидетельства были дополнены последующими летописцами, но исключать Никона совсем из числа возможных авторов

---

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 436, 439–441.

[2] *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 82–93.

[3] *Насонов А. Н.* Начальные этапы киевского летописания в связи с развитием древнерусского государства. Проблемы источниковедения. Вып. VII . М., 1959. С. 430–437.

[4] *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 155–220.

[5] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 209.

(или соавторов) киевской летописи за вторую половину XI в., видимо, нет оснований.

В свете отождествления Никона с Иларионом особый интерес представляет летописная статья 1051 г. Она, безусловно, испытала сильное не только редакторское, но и авторское вмешательство составителя «Повести временных лет», но сохранила и более раннюю основу. Она прочитывается в приурочивании рассказа об основании Печерского монастыря ко времени поставления русским митрополитом Илариона. Вначале идет бесстрастная констатация факта: «Постави Ярославъ Лариона митрополитомь русина въ свят'ѣй Софьи, собравъ епископы»,[1] а затем следует, казалось бы, не совсем логичный переход на тему основания монастыря. В действительности здесь все продумано, летописец при помощи такого литературного зачина выходит на того же Илариона, дает ему высокую аттестацию («Ларион мужъ благь, книженъ и постникъ»), по существу именно его считает отцом — основателем христианского пустынножительства. Будучи пресвитером церкви св. Апостолов в селе Берестове, Иларион уединялся на днепровских холмах и там молился Богу. Он же первым придумал молиться в пещере, которую сам и выкопал. «Ископаша печерку малу, двусажену. И приходя с Берестового, отпѣваше часы и моляшеся Богу втайне».[2]

Видимо, с Никоном следует связывать и статью 1054 г., содержащую рассказ о смерти Ярослава Мудрого и его ряде-завещании своим сыновьям. Можно с уверенностью утверждать, что она не принадлежит тому же летописцу, который поместил под 1037 г. роскошную похвалу Ярославу. Статья сухая, протокольно четкая, в ней не воздается благодарность за его добрые дела, но зато отчетливо звучит тема будущего Русской земли. Совершенно невозможно отнести эту статью и на счет составителя Начального свода (1095 г.). Содержание ее столь важно для будущего государственного распорядка, что не исключена письменная фиксация Ярославова завещания. В пользу близкого к событию времени написания статьи свидетельствует и точная дата смерти Ярослава: «Ярославу же приспѣ конець житья, и предасть душю свою Богу, в субботу первую поста святаго Федора».[3] Для современников сообщенных сведений вполне достаточно, чтобы они знали, когда преставился их князь. Если бы эта статья писалась много позже, летописец, наверное, позаботился определением числа, на которое приходилась первая суббота поста 1054 г.

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 104.
[2] Там же. С. 105.
[3] Там же. С. 108.

Весьма важным для определения авторства Печерской летописи третьей четверти XI в. является написание статей, повествующих о междоусобице сыновей Ярослава Мудрого 1068–1073 гг. В них вполне отчетливо ощущается авторская позиция летописца. В статье 1067 г. он констатирует, что старшие Ярославичи преступили крестное целование и обманом пленили мятежного Всеслава. Пространная статья 1068 г., вместившая в себя сведения о поражении Изяслава, Святослава и Всеволода от половцев на Альте, о киевском восстании и вынужденном бегстве из Киева Изяслава Ярославича, пространные рассуждения о междукняжеских распрях, как «соблазнениях» дьявола, выдают в ее авторе, во-первых, современника этих событий, а во-вторых, человека духовного звания и с вполне определенными политическими симпатиями.

Киевский мятеж 1068 г. в летописи описан так, будто летописец находился рядом с Изяславом и непосредственно наблюдал («из оконця зрящю») за происходящим. По этой статье можно восстановить историческую топографию центральной части Киева этого времени. Автор знает детали события. Восставшие поднялись с Подола на Гору, затем разделились на две группы, из которых одна направилась к погребу вызволять дружину и Всеслава, а другая двинулась по мосту на княжий двор. Полоцкий князь был освобожден из заключения 15 сентября и провозглашен киевским князем.

Летописец объяснил случившееся Божьим наказаньем Изяславу, поскольку тот раньше несправедливо обошелся с Всеславом. «Се же Богъ яви силу крестную, понеже Изяславъ ц҃ѣловавъ крестъ, и я и (его. — *П. Т.)*».[1] Дальше в статье изложена хвала кресту честному, сила которого так велика, что если кто преступит клятву на нем, то примет казнь на этой земле и «на придущемь в҃ѣць казнь в҃ѣчную».

М. Н. Тихомиров полагал, что повествование о киевском восстании 1068 г. возникло в среде горожан и только впоследствии прошло обработку чьей-то «клерикальной рукой».[2] По мнению Б. А. Рыбакова, «клерикальное» и «городское» в тексте настолько слито, настолько подкрепляет друг друга, что их нельзя противопоставлять. Деловая сторона событий изложена, несомненно, современником, очевидцем того, что происходило на княжьем дворе. Он знал не только то, как бушевала толпа киевлян, но и кто именно из бояр подавал советы князю. Дополнения, как думал Б. А. Рыбаков, сделаны знатоком исторической и цер-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 115.

[2] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI–XIII вв. М., 1955. С. 93–94.

ковной литературы. Они как бы разрывают ткань рассказа о восстании, но всегда безупречны с точки зрения литературного стиля.[1]

Анализ текста не позволяет согласиться ни с выводом М. Н. Тихомирова, ни принять компромиссную точку зрения Б. А. Рыбакова. Он, безусловно, написан одним автором. Рассказ цельный, содержательно сбалансированный. Пространные отступления логически подчинены теме братолюбия и верности клятве, данной на кресте. В тексте нигде не заметно искусственных швов. Автор постоянно держит в уме событийную его канву и после окончания своей проповеди возвращается к главной теме: «Мы же на предълежащее (паки) възвратимся».[2]

Говоря о деловой стороне событий, Б. А. Рыбаков предположил, что автор рассказа, быть может, находился поблизости от князя. Это очень похоже на правду, но в таком случае думать, что повествование возникло в среде горожан, совершенно не приходится.

Аналогичной информативностью отличается статья 1069 г., рассказывающая о возвращении в Киев Изяслава Ярославича с польской военной подмогой. Ее автор знает о тайном ночном побеге из-под Белгорода Всеслава, об угрозе неназванных киевлян зажечь город и уйти в греческую землю, о переговорах со Святославом и Всеволодом, об избиении русскими ляхов, о точной дате возвращения Изяслава на свой стол: «мѣсяца мая въ 2 день». Он не только фиксирует события, но и судит их участников. Он не скрывает своего отношения к неправедным действиям сына Изяслава Мстислава, вошедшего в Киев раньше отца и жестоко расправившегося над виновниками его изгнания. Пострадали при этом и совершенно невиновные. «И пришедъ Мьстиславъ, исѣче кияны, иже бѣша высѣкли Всеслава, числом 70 чади,* а другыя слѣпиша, другые же без вины погуби, не испытавъ».[3]

Определить точное время написания этих статей нам, очевидно, никогда не удастся. Можно только предполагать, что это случилось вскоре после описанных в них событий. Б. А. Рыбаков даже думает, что статьи 1065–1068 гг. в их полном виде были составлены во время короткого великого княжения Всеслава Брячиславича, то есть между 15 сентября 1068 г. и апрелем 1069 г.[4] А. А. Шахматов, о чем шла речь выше, полагал, что Никон только начал писать свой свод в 1069 г.

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 210.

[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 114.

* Под словом «чадь» здесь имеются в виду дружинники Изяслава, примкнувшие к восставшим в 1068 г.

[3] ПВЛ. Ч. 1. С. 116.

[4] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 213.

Усобица Ярославичей не закончилась в 1069 г., но достигла своей кульминации в 1073 г. Теперь уже не восставшие киевляне изгоняют из Киева Изяслава, а родные братья — Святослав и Всеволод. Летописец продолжает отслеживать эти события. Если в статьях 1068–1069 гг. он был сдержан в своих оценках, то теперь уже не скрывает своих чувств. Виноват в новой усобице Святослав. Это он преступил заповедь отцовскую и положил начало братоизгнанию. «Святославъ же и Всеволодъ внидоста в Кыевъ, м҃сяца марта 22, и с҃доста на стол҃ на Берестовомь, преступивша запов҃ѣдь отню. Святославъ же б҃ѣ начало выгнанью братню».[1]

Дальше летописец, как и в статье 1068 г., пускается в пространные рассуждения о великом грехе отказа от отцовской заповеди и еще раз обвиняет в этом Святослава. Однако в отличие от повествования 1068 г., этот рассказ не производит впечатления тематически и хронологически единого произведения. Статья написана как бы в два приема, причем второй приходится на время после смерти Святослава. В пользу этого свидетельствует сентенция о неотвратимости наказания за отступления от отцовского завещания. «Пакы преступи Исавъ запов҃ѣдь отца своего, и прия убийство».[2] В первой части статьи летописец пытается отвести Божий гнев от Всеволода, который не был инициатором братоизгнания, но обманом вовлечен в это неправое дело тем же Святославом. Не может ли это служить указанием на время составления статьи? Если это так, тогда следует признать, что Никон не прекратил свое летописное увлечение в 1073 г., а продолжал им заниматься еще и в годы княжения Всеволода.

Близкая мысль была высказана в свое время А. А. Шахматовым, полагавшим, что печерское летописание, прерванное при игуменстве Стефана, когда монастырь стал местом внутренних раздоров, возобновилось при игуменстве Никона. Правда, теперь его вел уже, видимо, другой летописец.[3]

Вывод об участии Никона в печерском летописании основан главным образом на том, что в летописи имеется комплекс известий за 70-е годы XI в., в которых содержатся сведения о Тмутаракани. Зная из Несторового «Жития Феодосия», что Никон подолгу проживал в этом далеком русском городе, логично предположить, что именно он и внес их в летопись.[4]

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 121.

[2] Там же. С. 122.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 438.

[4] Там же. С. 422.

Особенно это кажется естественным для известий статей 1064, 1065 и 1066 гг., содержащих рассказ о появлении в Тмутаракани князя Ростислава Владимировича, изгнавшего оттуда Глеба, сына черниговского князя Святослава Ярославича. Святослав, узнав об этом, выступил против Ростислава и вынудил его оставить Тмутаракань, куда вновь был посажен Глеб. Однако стоило только Святославу уйти в Чернигов, как Ростислав вторично изгнал Глеба из Тмутаракани. В статье 1066 г. описывается смерть Ростислава, отравленного корсунским наместником (котопаном) во время переговоров. Летописец знает, что за этот коварный поступок корсунцы побили котопана камнями. В заключение он дает высокую характеристику Ростиславу и сообщает, что умер он третьего февраля и «положен бысть въ церкви святыя Богородицы».[1]

Никон Печерский был живым свидетелем этих событий и кто, как не он, мог составить о них запись или проинформировать своего печерского коллегу. Это относится и к сообщению о мятеже корсунцев, о котором он узнал при посещении Корсуня еще во время своей первой поездки в Тмутаракань. В «Житии Феодосия» имеется на этот счет интересное свидетельство. Никон и монах монастыря св. Мины «пришьдъша надъ море, ту же и разлучистися отъ себе... Боляринъ же иды къ Константину граду... Великый же Никонъ отиде въ островъ Тьмутороканьскыи и ту обрѣтѣ мѣсто что близь града».[2]

Менее убедительно выглядит утверждение А. А. Шахматова о том, что Никону принадлежат вообще все известия о Тмутаракани, хазарах, косогах, Корсуни, и что именно он дополнил ими Древнейшую летопись. Первым в ряду Никоновых дополнений А. А. Шахматов называет рассказ о единоборстве Мстислава Тмутараканского с косожским князем Редедей. Наверное, такое предание Никон мог услышать в Тмутаракани в 70-е годы XI в., но ведь это вовсе не значит, что оно не бытовало в русской среде, учитывая, что главный его герой вернулся на Русь уже в 1022 г. и что его не знали, скажем, в Киеве или Чернигове ранние коллеги Никона. Кажется более естественным предполагать включение в летопись предания о тмутараканских подвигах Мстислава в годы, близкие к его драматическому соперничеству с Ярославом, а не спустя полстолетия, когда Русь сотрясали уже другие события. Окончание рассказа — «И пришедъ Тьмутараканю, заложи церковь святыя Богородица и созда ю, яже стоить и до сего дне Тьмутаракани»,[3] — указывает

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 111. А. А. Шахматов ошибочно уточнил, что церковь эта находилась в Корсуни.

[2] Памятники русской литературы XII и XIII веков. Изданные В. Яковлевым. СПб. 1872. С. 18.

[3] ПВЛ. Ч. 1. С. 99.

как будто на личное знакомство автора с этим городом, но ничего не дает для определения его времени. Эта вставка могла появиться и под пером автора «Повести временных лет».

Нечем доказать и отнесение насчет Никона вставки в рассказе о хазарской дани полян: «Яко же и бысть, волод'ѣють бо козары Русьскии князи и идо днешнего дне».[1] Скорее всего заключительный абзац пространной статьи повести о ранних взаимоотношениях хазар и полян, содержащий историческую параллель с Моисеем и египтянами, принадлежит летописцу Нестору. Впрочем, по смыслу он не кажется невероятным и в устах сводчика летописи конца X в.

А. А. Шахматов полагал, что определенно Никону принадлежит вставка в летописной статье «Повести временных лет» 988 г., рассказывающая о месте церкви св. Василия, а также палат Владимира и царицы Анны в Корсуни. «Крести же ся в церкви святаго Василья, и есть церкви та стоящи въ Корсун'ѣ град'ѣ, на месте посреди града, ид'ѣже торгъ д'ѣють корсуняне; палата же Володимеря съ края церкве стоить и до сего дне, а царицына палата за олтаремъ».[2] Топографические определения, как казалось А. А. Шахматову, доказывают знакомство сообщившего их лица с Корсунем.[3]

Наверное, это справедливо. Но можем ли мы предположить, что такие историко-топографические подробности были хуже ведомы Анастасу Корсунянину или Добрыне, являвшимся свидетелями Владимирового пребывания в Корсуни, чем Никону, оказавшемуся там через 80 лет. И можно ли утверждать, что цитированный выше текст отсутствовал в первоначальном рассказе о корсунском походе Владимира и его крещении? Разумеется, нет. По существу, кроме слов — «и до сего дне», — в нем ничего вставочного нет. Он логически продолжает сказание о крещении Владимира и его дружины в Корсуни.

Позднейшей вставкой, несомненно, является полемическое обращение к несогласным с изложенной выше историей. «Се же не св'ѣдуще, глаголють, яко крестилъся есть (Владимир. — *П. Т.)* в Киев'ѣ; инии же р'ѣша: в Василеве, друзии же инако скажють».[4] Отнести эти слова на счет Никона нет никакой возможности. Стилистически и по смыслу они созвучны с аналогичным замечанием «несведущим», сомневавшимся в княжеском звании Кия и принадлежат автору «Повести временных лет». Он же, по-видимому, вставил выше и свою любимую ремарку «и до сего дне».

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 17.

[2] Там же. С. 77.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 430.

[4] ПВЛ. Ч. 1. С. 77.

Согласно А. А. Шахматову, Никон Печерский, являвшийся чуть ли не единственным информатором и летописным фиксатором тмутараканских свидетельств, закончил свой труд в 1073 г. Казалось, после этого должны были прерваться в летописи известия о Тмутаракани, но этого не случилось. Летописная статья 1077 г. сообщает о неудачной попытке князя Бориса Вячеславича закрепиться в Чернигове и последовавшем за этим его бегстве в Тмутаракань. В 1078 г. в Тмутаракань бежит Олег Святославич. Под 1079 г. рассказывается об убийстве половцами князя тмутараканского Романа Святославича, а также о пленении хазарами Олега Святославича и его ссылке в Царьград. В Тмутаракань был посажен Всеволодом посадник Ротибор. В 1081 г. он был изгнан оттуда князьями Давидом Игоревичем и Володарем Ростиславичем, которые, в свою очередь, вынуждены были уступить Тмутаракань в 1083 г. вернувшемуся из византийской ссылки Олегу Святославичу.

Комплекс «тмутараканских» известий за 1077–1083 гг. ставит перед нами трудную проблему выбора. Мы должны или подвергнуть серьезному пересмотру вывод А. А. Шахматова и других исследователей о Никоновском летописном своде 1073 г., или же отказаться от мысли, что вся информация о Тмутаракани, Корсуни, хазарах и косогах внесена в летопись только благодаря Никону Печерскому.*

К творчеству Никона исследователи относят современные ему и некоторые более ранние новгородские известия. Каких-либо веских оснований для этого нет. Ведь нельзя же считать серьезным аргументом тот факт, что во время пребывания Никона в Тмутаракани туда прибыли Ростислав Владимирович, Порей, Вышата, а затем и Глеб Святославич, который некоторое время княжил в Новгороде. При тех постоянных контактах, которые имели место между Киевом и Новгородом, киевские летописцы вряд ли испытывали недостаток в информаторах. Б. А. Рыбаков полагает, что в руках Никона могла быть и так называемая «Остромирова летопись».[1]

Трудно согласиться с А. А. Шахматовым, предположившим участие Никона в написании статьи 1043 г., рассказывающей о трагическом походе Владимира Ярославича на Царьград. Ему принадлежат, в частности, вставки, сообщающие о воеводстве Вышаты, о его самоотверженном решении присоединиться к выброшенным на берег воинам, а

* А. А. Шахматов не был последователен в своем убеждении, что Никон закончил свою летописную деятельность в 1073 г. В ряде мест он говорит о втором продолжении к Древнейшему своду, относящемуся ко времени не ранее 1078 г., к составлению которого также будто бы имел отношение Никон (См.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 438).

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 209.

также сообщение об их судьбе. Остальной текст читался уже в Древнейшем своде.[1]

Что же смутило А. А. Шахматова в этом рассказе? Оказывается, сообщение о двух воеводах — Вышате и Иване Творимировиче. Он увидел в этом противоречие, которое возможно устранить лишь тем, что утверждение о воеводстве Вышаты является позднейшей вставкой. В действительности здесь нет никакого противоречия. Вышата был воеводой новгородской дружины и, следовательно, Владимира, а Иван Творимирович — киевской, поэтому и назван воеводой Ярослава. Текст статьи 1043 г. небольшой, и если вычесть из него «позднейшие» вставки, то, по существу, теряется и сам рассказ об этом трагическом походе.

Как нам представляется, ничего вычитать и не следует. Рассказ цельный, записан одним автором, в котором трудно признать Никона. Против этого свидетельствует то обстоятельство, что Никон был современником Вышаты, какое-то время проживал с ним в Тмутаракани и, разумеется, мог воспользоваться свидетельством очевидца. Этого не случилось, рассказ взят из вторых рук. Информатором о походе Владимира на Царьград, по-видимому, стал сын Вышаты Ян. Об этом свидетельствует уточнение, что Вышата являлся отцом Яна: «А воеводство поручи Вышат'ѣ, отцю Яневу». В зените своей славы Ян Вышатич пребывал между 1089 г., когда он занимал должность киевского тысяцкого, и 1106 г., когда был воеводой великого князя Святополка Изяславича. К этому времени, видимо, и следует отнести запись его рассказа о подвигах отца. Если это так, то летописцем, сделавшим эту запись, мог быть или автор летописного свода 1093–1095 гг., или же составитель «Повести временных лет» Нестор Печерский.

По мнению Б. А. Рыбакова, составителю свода 1093–1095 гг. принадлежит также летописная статья 1071 г. о восстании на Белоозере. Она написана по рассказам Яна Вышатича, отличается своей антиязыческой направленностью. Герой рассказа Ян Вышатич сам с топором в руках вступает в схватку с язычниками и побеждает их. Своим резким обличительным тоном и стилистикой статья отличается от повести о Всеславе и киевском восстании 1068 г. В ней звучит мысль о необходимости решительной расправы над восставшими, тогда как в рассказе 1068 г. тонко проведена идея всеобщего примирения.[2]

В заключение анализа летописания, приписываемого Никону Печерскому, еще раз остановимся на проблеме его авторства. Оно вероятно, но вовсе не безусловно. Известно, что Никон подолгу отлучался из своей Печерской обители. Первый раз почти на семь лет (1062–1067 гг.) и

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 443.

[2] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 214.

второй — на два года (1073–1074 гг.). Летописание в эти годы в Печерском монастыре не прерывалось. Значит, во время отсутствия Никона погодные записи делал какой-то другой летописец. Совершенно бесспорно также и то, что после завершения Никоном своего свода в 1073г., летописная печерская традиция не прервалась. Некоторые записи после 1073 г., о чем шла речь выше, содержательно как бы продолжают комплекс известий, характерных для «летописи Никона».

Аналогичные сомнения, что Никон не был единственным летописцем в Печерском монастыре в 60–70-е годы XI в., посещали также и А. А. Шахматова. Заявив в начале исследования уверенно о летописном своде Никона 1073 г., он затем, в процессе анализа конкретного летописного материала, снабдил свой вывод определенными оговорками. Конечно, Никон, как свидетельствует «Житие Феодосия», был человеком образованным и книжным, поучал братию из книг («ис кънигъ почитающе») и даже занимался переплетным делом. Действительно, трудно сомневаться, чтобы летописный труд, предпринятый святой обителью, как полагал А. А. Шахматов, «не стал под непосредственное заведование Никона», который «мог сделаться главным редактором летописи».[1]

Анализ летописной статьи 1065 г. привел его к мысли, что к вопросу об авторстве Никона при рассмотрении первого печерского монастырского свода приходится проявлять двойственное отношение. С одной стороны, А. А. Шахматов убежден, что Никон работал над этой летописью, с другой — видит и другого автора, поскольку событие, случившееся в Киеве в 1065 г., Никон наблюдать не мог, так как был в это время в Тмутаракани. Ниже мы остановимся на этом сюжете более подробно, здесь же согласимся с выводом А. А. Шахматова о том, что наряду с Никоном печерским летописанием занимался и неизвестный по имени его современник.

С именем печерского игумена Иоанна исследователи связывают комплекс статей 1074–1095 гг. А. А. Шахматов считал возможным говорить об отдельном своде конца XI в., который он назвал Начальным. У его составителя были Древнейший киевский свод, Новгородский владычный, «Житие Антония», а также ряд устных источников — народных преданий и духовных легенд.[2] В пользу нового этапа печерского летописания свидетельствует как будто статья 1093 г., которая является одновременно и своеобразным послесловием к летописи и эпилогом исторического развития Руси XI в.

---

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 424.

[2] Там же. С. 94.

В статье отчетливо звучат темы социального кризиса в стране, а также половецкой угрозы. Летописец принадлежит к духовному сословию. Он явно симпатизирует Всеволоду Ярославичу, сочиняет ему такой посмертный панегирик, которого не удостоился даже Ярослав Мудрый. Князь благоверный, с детства боголюбив, любящий правду, уважительный к епископам, пресвитерам и черноризцам. Он получил великокняжеский стол «пслѣ же всея братья», к тому же «с правдою, а не с насилием». Тяжелое внутриполитическое положение на Руси в последние годы княжения Всеволода летописец объясняет не его плохим руководством, а чрезмерными претензиями удельных князей, а также новыми советниками князя, который на старости лет «нача любити смыслъ уныхъ, свѣтъ творя с ними». Те, юные, как уверяет летописец, грабили людей, а князь ничего об этом не ведал «в бользнехъ своихъ».

Летописца очень тревожит половецкая угроза. Согласно образному выражению Б. А. Рыбакова, Иоанн писал свою летопись в условиях ужасного натиска объединенных сил половцев, когда Боняк стучал саблей в Золотые Ворота, когда пылали пригородные монастыри и половцы грабили келии.[1]

Обстоятельно описана им подготовка Святополка к отражению половцев, вторгшихся в пределы Киевской земли. Все его симпатии на стороне тех «смысленных», которые советовали князю собрать большие силы и не надеяться на легкую победу. Перед самым сражением у Треполя Владимир Мономах предлагает расположить русские дружины на киевской стороне Стугны и попытаться вынудить половцев пойти на мирные переговоры. Летописцу известно, что такого же мнения придерживались многие «смыслении мужи, Янь и прочии», но «кияне же не всхотѣша». Последнее замечание, наверное, относится к Святополку и его близким советникам.

Неправильно выбранная позиция для битвы на правом берегу Стугны, разлившейся весенним половодьем, роковым образом сказалась на ее исходе. Русские дружины были сбиты половцами со своих позиций и опрокинуты в Стугну. Во время переправы через нее утонул князь Ростислав Всеволодич, множество дружинников и бояр. Такая же участь едва не постигла Владимира Мономаха.

Вторая битва под Киевом, на Желяни, закончилась еще более жестоким поражением Святополка. Из его войска, как пишет летописец, спасся только каждый третий.

Битва бесспорно описана по горячим следам. Летописцу известны такие детали, которые по истечении даже и не очень продолжительно-

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 211.

го времени вряд ли бы сохранились в народной памяти. К ним можно отнести сообщения о распре между Святополком и Владимиром, возникшей у святого Михаила, о том, что половцы первым «взломиша полкъ» Святополка, что злая сеча у Киева состоялась 23 июля, а наутро 24 в Киеве «бысть плач великъ». Не может быть и малейшего сомнения в том, что всю эту информацию сообщил летописцу участник этих событий. Наверное, это был Ян Вышатич, на что указывает как бы вскользь брошенное замечание о его присутствии среди тех «смысленных», кто пытался давать совет Святополку: «Янь и прочии».

Последствия двух жестоких поражений оказались самыми драматическими для южной Руси. Половцы разграбили и сожгли много городков и сел, убили или увели в рабство большое число русских людей. Особенно пострадал Торческ, который после длительной осады был взят, разграблен и сожжен. «Половцы же, приимше градъ, запалиша и огнемъ, и люди раздѣлиша, и ведоша в вежѣ к сердоболем своимъ и сродникомъ своимъ».[1] Далее летописец выходит на обобщение и говорит о страданиях христианского русского рода. «Мъного роду хрестьяньска стражюще, печални, мучими, зимою оцѣпляеми, въ алчи и в жажи, и в бѣдѣ опустынѣвше лици, почернѣвше телесы; незнаемою страною, языкомъ испаленнымъ, нази ходяще и боси, ногы имуще сбодены терньемъ».[2]

Образ терзаемой и страждущей Руси летописец соединяет с поучением Феодосия «О кознях Божьих», основным содержанием которого является осуждение поганых «сынов Измаилевых», признание своих грехов перед Господом Богом и надежда на его милость.

Статья 1093 г., хотя и содержит хроникальные данные, по существу, выходит за пределы сухого летописного пересказа событий. Это яркое литературное произведение, изобилующее образами и историческими параллелями, а также четкой гражданской позицией ее автора. Вряд ли она сохранилась в летописи в своей первозданной чистоте и не была «облагорожена» последующими летописцами. Однако главная идейная канва в ней все же осталась. Летописец не симпатизирует новому великому князю Святополку, постоянно подчеркивает свое расположение к «смысленным», среди которых был и Ян Вышатич, дает понять читателю, что судьба Южной Руси могла быть и не столь печальной, если бы Святополк не окружил себя новыми и «несмысленными» советниками. Летописец не забыл обозначить и свое причастие к описываемым событиям, причислив себя к тем грешникам, которые накликали

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 147.
[2] Там же.

на Русь гнев Божий: «Се бо азъ гр'ѣшный и много и часто Бога прогн'ѣваю и часто согр'ѣшаю по вся дни».[1]

Как оказалось, игумен Иоанн прогневил не только Бога, но и Святополка. Его летопись, равно как и нескрываемое негативное отношение к великому князю дорого стоили Иоанну. Он подвергся преследованиям со стороны Святополка, а вскоре был сослан в Туров. Только заступничество Владимира Мономаха помогло возвращению Иоанна на игуменство.

Об объеме летописного свода Иоанна говорить затруднительно. Со времен А. А. Шахматова, который и выделил этот свод, исследователи относили к нему комплекс статей 1074–1093 гг. Исходили, по существу, из логики, а не из определения стилистических особенностей нового этапа летописания. Поскольку свод Никона заканчивался статьей 1073 г., то естественно было предположить, что последующие статьи принадлежат уже Иоанну.

В действительности не все так однозначно. Как говорилось выше, не исключено, что к ряду статей после 1073 г. мог иметь отношение Никон, а статьи 1074 и 1091 гг. определенно написаны летописцем Нестором. Более или менее уверенно с летописанием Иоанна можно связать статью 1089 г., повествующую об освящении Успенской церкви Печерского монастыря. В пользу этого свидетельствует настоящее время рассказа, упоминание все того же Яна Вышатича, который «воеводство держащю Кыевьскыя тысяча», а также скромное сообщение в самом конце, что «игуменьство держащю же Іоану».[2] В таком важном для Печерского монастыря церковном действе игумен, конечно же, не был последним в списке участников. Если бы освящение описывал кто-то другой, игумен Иоанн стоял бы в перечне духовных лиц сразу же после епископов, так как это имеет место в статье 1088 г., рассказывающей об освящении церкви св. Михаила Выдубицкого монастыря. Иоанн же из-за скромности, а может, и особого уважения к Яну Вышатичу, назвал себя только после него.

Наверное, Иоанну принадлежит также статья 1092 г., в которой содержится сообщение о большом море, унесшем жизни многих тысяч людей. От продающих гробы летописец узнал, что только «отъ Филипова дня до мясопуста» разошлось 7 тысяч гробов. Как и в статье 1093 г., летописец смотрит на это несчастье, как на Господнее наказание. «Се же бысть за гр'ѣхы наша, яко умножишася гр'ѣси наши и неправды. Се же наведе на ны Богъ, веля намъ им'ѣти покаянье и въстягнутися от гр'ѣха».[3]

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 147.

[2] Там же. С. 137.

[3] Там же. С. 141.

Как обосновал А. А. Шахматов, игумен Иоанн одновременно с заключением к своему своду, каким является статья 1093 г., написал и предисловие.[1] В нем, после торжественного начала и прославления Киева, который получил свое название, как Рим, Антиохия, Селевкия и Александрия от «цесарей», излагается политическая оценка положения Русской земли. Летописец идеализирует старые добрые времена и осуждает современные ему порядки — «несытьство» и «насилие» княжеско-боярской верхушки. В отличие от нынешних, князья прошлых времен «не собираху мънога именья, ни творимых вир, ни продажь въскладаху на люди», но «расплодили были землю Русьскую». Затем следует традиционное для Иоанна рассуждение о грехах и Господнем наказании за них. «За наше же несытьство навелъ Бог на ны поганыя, а и скоти наши, и села наша, и имѣния за тѣми суть».[2] Летописец призывает сильных мира сего одуматься, довольствоваться законным, не творить насилия, жить в страхе Божьем и в правоверии искать путь к вечной жизни: «Никому же насилие творяще, милостынею цвѣтуще, страннолюбиемъ въ страсѣ Божия и правоверии свое спасение съдевающе».[3]

Содержательно и стилистически «Предисловие» действительно очень близко к тексту летописной статьи 1093 г. Принадлежность их одному автору не вызывает сомнения. Иоанн не называет здесь по имени князей, к которым обращено его слово, но современникам было совершенно ясно, кто имеется в виду. Это уже почивший в Бозе Всеволод, а также пришедший ему на смену Святополк, известный своим сребролюбием. Есть основание полагать, что труд Иоанна стал известен великому князю, он узнал в нем себя и не случайно начал гонение на печерского игумена. Об этом со всей определенностью говорится в «Слове о Прохоре Лебеднике», содержащемся в «Печерском патерике». Игумен Иоанн преследовался Святополком за то, что «обличаше его (Святополка. — *П. Т.)* несытьства ради, богатъства и насилия ради».[4]

Впрочем, адресатами страстного обращения Иоанна были также и удельные властители, мало чем отличавшиеся от киевских в своем отношении к подданным.

А. А. Шахматов и другие исследователи полагали, что свой свод Иоанн закончил летописной статьей 1093 г. Об этом как будто свидетельствует ее содержание, а также указание В. Н. Татищева на то, что

---

[1] *Шахматов А. А.* Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись. Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 13. Кн. 1. СПб. 1909.

[2] ПСРЛ (Софийская первая летопись). Т. V. СПб., 1848. С. 87.

[3] Там же.

[4] *Абрамович Д. І.* Києво-печерський патерик. К., 1931. С. 154.

за этим пространным рассуждением в некоторых списках читалось слово «аминь». При этом все летописеведы единодушно относят завершение свода к 1095 г. Если это так, тогда не понятно, на каком основании из свода Иоанна исключаются статьи 1094 и 1095 гг. По содержанию и стилистике они не выпадают из предшествующего текста. Летописца продолжает волновать проблема половецкой угрозы. В статье 1094 г. он говорит о третьем привлечении на Русь половцев Олегом Святославичем и обращается к Богу за прощением его греха, из-за которого так много загублено христианских душ: «Се уже третьее наведе поганыя на землю Русьскую, его же гр҃ѣха дабы и Бог простилъ, занеже много хрестьянъ изгублено бысть, а друзии полонени и расточени по землям».[1] По существу, здесь продолжена тема страданий русского христианского рода от поганых половцев, так сильно прозвучавшая в статье 1093 г.

В статье присутствует хроникальное сообщение о том, что в этом году Святополк заключил мир с половцами и женился на дочери князя половецкого Тугорхана, но его, видимо, следует отнести уже на счет Нестора.

Пространная статья 1095 г. состоит из двух частей. В первой изложена далеко не рыцарская история убийства в Переяславле половецких ханов Кытана и Итларя, приглашенных Владимиром Мономахом на переговоры и коварно казненных. Рассказчик понимает всю низость поступка и, будучи сторонником переяславльского князя, пытается его оправдать. Он отмечает, что инициатива такого коварства исходила не от Владимира, а от Святополка. С ней от великого князя прискакал его посланник Славята. Первой реакцией Владимира на предложение убить половецких ханов был решительный отказ. «Как я могу это сделать, — воскликнул он, — когда пригласил их на мир!» В конце концов Славята и воевода Владимира склонили его к этому, заявив, что греха в том не будет, поскольку половцы сами постоянно изменяют договоренностям о мире и «губять землю Русьскую, и кровь хрестьнску проливають бесперестани».

Кому принадлежит эта печальная повесть? Только Иоанну. Для Нестора она неприемлема идейно. Он, будучи летописцем Святополка, не мог бросить на него тень подозрения такого злодейства. Если бы ее автором оказался редактор Владимира — Мстислава, работавший в 1118 г., он вряд ли бы знал абсолютно точную дату убийства Итларя. «И тако злѣ испроверже животъ свой Итларь, в недѣлю сыропустную, въ часъ 1 дне, мѣсяца февраля въ 24 день».[2] Конечно, все это описано современником события и со слов очевидца.

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 148.

[2] Там же. С. 149.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что у нас нет убедительных данных, позволяющих утверждать, как это делал А. А. Шахматов, что свод Иоанна является общерусским явлением, вобравшим в себя летописание новгородское, черниговское и других городов.[1] Небольшие хроникальные известия об убийстве Глеба Святославича в Заволочьи, о княжении Святополка в Новгороде, Владимира Мономаха в Смоленске или Чернигове, а также полоцкая история с рыщущими по улицам города бесами не обязательно должны быть переписаны из земельных летописей. Они вполне могли быть и без этого известны киевскому летописцу.

Видимо, больше оснований говорить не об общерусском своде Иоанна (Начальном, по терминологии А. А. Шахматова), а лишь о его летописи. Общерусский свод, который затем станет основой всех позднейших региональных летописей, сложится позже, им будет «Повесть временных лет».

По мнению ряда других исследователей, в Киеве во второй половине XI в., кроме летописания Печерского монастыря, имела место еще одна летописная традиция. Ее следы будто бы обнаруживаются в тех статьях, в которых говорится об Изяславе Ярославиче и его сыне Ярополке. Собственно, речь идет не о всех известиях об этих князьях, а лишь о тех, где содержатся записи об их смерти. И. П. Еремин был настолько поражен содержанием летописной статьи 1078 г. и изменением отношения летописи после 1073 г. к Изяславу, что высказал мнение о двух различных биографах великого князя. Приблизительно до 1073 г. о нем писал один летописец — не сторонник князя, потом другой, однозначно симпатизировавший ему.[2] Н. Н. Ильин объяснил двойственность в изображении Изяслава изменившимся к нему отношением печерских летописцев.[3] Согласно А. Г. Кузьмину, комплекс известий об Изяславе и его сыне Ярополке следует связывать, скорее всего, не с печерским летописанием, а с исторической письменностью Десятинной церкви. Ему кажется маловероятным положение, когда Печерский монастырь, едва возникнув, должен был монополизировать древнерусскую историографию, отстранив более древние религиозные и культурные центры.[4]

---

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 532.

[2] *Еремин И. П.* Литература Древней Руси. М.; Л., 1961. С. 85, 92.

[3] *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6523 года и ее источники. М., 1957. С. 174–175.

[4] *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 183–200.

Впервые мысль о летописании Десятинной церкви второй половины XI в. высказал А. Н. Насонов. На нее навела его летописная статья 1086 г., в которой повествуется об убийстве и погребении Ярополка Изяславича. Мало кто из удельных князей удостоился такой чести. Ярополка хоронили в Киеве, в церкви св. Петра Дмитриевского (Михайловско-Златоверхого) монастыря в присутствии великого князя Всеволода, его сыновей, а также митрополита Иоанна «с черноризцы и прествитеры и вси Кияне». Тело Ярополка положили «в рацѣ мраморянѣ».

Необычайная пышность погребального ритуала могла быть вызвана трагической смертью Ярополка, убитого «проклятым» Нерадьцем. История не знает, кем был подослан убийца Ярополка, однако исходя из того, что князь конфликтовал с Всеволодом Ярославичем и его сыном Владимиром, можно предположить их причастность к этой смерти. В таком случае всекиевский траур во время похорон Ярополка выглядит как искупление греха перед ним великого князя.

Если это так, то совершенно не обязательно искать летописца, составившего торжественный панегирик Ярополку, среди тех, кто симпатизировал Изяславу. Им мог быть и летописец Всеволода. И тем не менее А. Н. Насонов счел возможным связывать эту запись с Десятинной церковью.[1] Видимо, главным аргументом в пользу этого явилось сообщение летописца об особой любви Ярополка к Десятинной церкви, выразившейся в передаче ей десятины от всего своего имения. «Такъ бяше блаженный сь князь тихъ, кротъкъ, смѣренъ и братолюбивъ, десятину дая святѣй Богородици отъ всего своего имѣнья по вся лѣта».[2]

Наверное, благодеяния Ярополка Десятинной церкви были известны не только ее клиру. Воздать хвалу князю за это мог и печерский летописец. На такую связь, возможно, указывает то обстоятельство, что смерть Ярополка вызвала в памяти летописца ассоциацию смерти его святых сородичей Бориса и Глеба. Причем Ярополк будто бы всю жизнь мечтал, чтобы Господь послал ему такую смерть: «И моляше Бога всегда, глаголя: Господи Боже мой! Приими молитву мою, и дажь ми смерть, якоже двѣма братома моима, Борису и Глебу, отъ чюжею руку, да омыю грѣхы вся своею кровью, и избуду суетного сего свѣта и мятежа».[3]

Читая этот текст, трудно отрешиться от мысли, что статья написана летописцем Всеволода — Владимира, который очень искусно отво-

[1] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI – начала XVIII веков. М., 1969. С. 48, 49.

[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 136.

[3] Там же.

дит подозрение в возможной причастности к этой смерти своих сюзеренов. Он подчеркивает осознание Ярополком своего греха за мятежную жизнь и убеждает читателя, что именно такой конец и был его вожделенной мечтой. Но мы же знаем, что никакого такого особого греха у Ярополка не было. Это его несправедливо изгнали из Владимира, определенного ему отцом, Всеволод и Владимир. Повод для этого был более чем сомнителен. Ярополк будто бы замышлял поход на Всеволода, послушав «злыхъ совѣтникъ». Следовательно, был наказан не за действия, а за помыслы, причем очень жестоко. Во Владимире был посажен князь Давид Игоревич. Мать Ярополка, его жена и дружина были вывезены в Киев, а именья разграблены. Через год между Ярополком и Всеволодом состоялось примирение, он вернулся в свой Владимир, но тут его настигла коварная рука убийцы.

Облик связанного с Десятинной церковью летописца, как считает А. Г. Кузьмин, отчетливо выступает и в статье 1078 г.[1] Прежде чем высказать свое мнение на сей счет, обратимся к ее содержанию. В целом текст не производит единого и цельного повествования. Начинается он сухой хроникой междукняжеских отношений, завершающейся рассказом о наведении на Русь князьями Олегом Святославичем и Борисом Вячеславичем половцев и жестоком поражении от них дружин Всеволода. Летописец явно на стороне черниговского князя. Олег и Борис изображены как узурпаторы чужого стола, принесшие много зла Русской земле. «А землѣ Руськѣй много зло створше, проливше кровь хрестьяньску».[2] Подытоживая сказанное, летописец замечает, что названным князьям придется за все отвечать.

Далее в статье говорится о прибытии в Киев к Изяславу его брата Всеволода и состоявшихся между ними переговорах. По существу, перед нами исповедь черниговского князя, кающегося в своих прегрешениях перед старшим братом. Позиция Изяслава выглядит очень благородно. Он прощает брата за все, просит его не печалиться, обещает содействие в возвращении стола и, если это будет необходимо, готов сложить за него голову. «Аще будеть нама причастье в Русскѣй земли, то обѣма; аще лишина будевѣ, то оба; азъ сложю главу свою за тя».[3]

Летописец, конечно, уже знает, что Изяслав сложил-таки голову на Нежатиной ниве, и ему важно подчеркнуть, что жизнь свою он отдал, отстаивая законные права брата на черниговский стол. Эта мысль еще раз прозвучит из уст сына Изяслава Ярополка: «Отче, отче мой! Что еси пожилъ бес печали на свѣтѣ семь, многы напасти приимъ от людей

[1] *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 200.
[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 132.
[3] Там же. С. 132–133.

и от братья своея? Се же погыбе не от брата, но за брата своего положи главу свою».[1]

После сообщения о погребении Изяслава «в церкви святыя Богородица» летописец затем произнес в его честь хвалебный панегирик. В нем образ великого князя освобожден от пороков и недостатков. Правда, была кровавая расправа над киевлянами в 1069 г., но виноват в этом не он, а сын Мстислава. «Аще ли кто дѣеть вы: сѣчець исѣче, то не сь то створи, но сынъ его».[2] А если и есть на Изяславе какой-либо грех, то он искуплен его жертвенной смертью. Летописец, по существу, всю вторую часть панегирика посвящает воспеванию этого благородного поступка князя. «По истинѣ, аще что створилъ есть в свѣтѣ семь, етеро согрѣшенье, отдается ему, занеже положи главу свою за брата своего».[3]

Из сказанного явствует, что статью 1078 г. невозможно безоговорочно связывать не только с летописанием Десятинной церкви, но и с деятельностью летописца — сторонника Изяслава. Текст составлен так, что прославленным в нем оказался не только Изяслав, но и Всеволод. Не исключено, что писался он в начальные годы его великого княжения и служил моральным обоснованием прав на киевский стол. Автором его скорее всего был игумен Иоанн. Не исключено, что впоследствии эта статья испытала также редакторское вмешательство летописца Нестора.

Ничто не указывает на принадлежность к летописанию Десятинной церкви также статей 1079–1085 гг. Идеологически они, если можно так выразиться, индифферентны. Присутствие в них комплекса тмутараканских известий указывает если и не на непосредственную их связь с Никоном, то уж, во всяком случае, на связь с летописанием Печерского монастыря, имевшего тесные духовные контакты с Тмутараканью.

Теоретически мысль А. Г. Кузьмина о сохранении во второй половине XI в. летописной традиции Десятинной церкви, не может вызвать возражения. У нас действительно нет оснований полагать, что с развитием летописания в Печерском монастыре оно совершенно прекратилось в старых культурно-просветительских центрах — Десятинной церкви и Софии Киевской. К сожалению, убедительных свидетельств того, что его следы обнаруживаются в сохранившемся до наших дней фонде исторической письменности Руси за вторую пол. XI в., также нет. Анализ комплекса известий 1078–1086 гг. не позволяет относить их к творчеству неизвестного летописца Десятинной церкви.

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 133.

[2] Там же. С. 134.

[3] Там же.

3. «Повесть временных лет»

Ярким памятником древнерусского летописания конца XI – нач. XII в. является «Повесть временных лет». Она представляет собой летописный свод, вобравший не только весь предшествующий опыт исторических знаний Руси, но и достижения европейской исторической мысли, традиции византийской христианской культуры. Особенно сильное впечатление производит введение к «Повести временных лет», в котором отражена широкая картина мировой истории, предпринята попытка определить в ней место славян и Руси, утверждена прогрессивная философская идея взаимосвязи и взаимообусловленности истории всех народов.

Поражает широкая эрудиция составителя «Повести временных лет». Он постоянно обращается не только к Библии, которая была высшим авторитетом знаний в средневековье, но и к византийским историческим хроникам. Это прежде всего «Хроника» Георгия Амартола, от которой позаимствована и первая часть заглавия, «Хроника» Иоанна Малалы, «Летописец» константинопольского патриарха Никифора, жития греческих святых, притчи Соломона, «Откровения» Мефодия Патарского и др.[1]

Первоначально «Повесть временных лет» состояла из введения, летописных сводов 996, 1039, 1073, 1093–95 гг. и датированной хроники, доведенной до 1110 г. Позже, видимо в результате редакции 1118 г., в нее была внесена «Повесть об ослеплении Василька», а также погодная хроника до 1117 г.

Как полагали С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, Б. А. Рыбаков и другие исследователи летописей, собственно «Повестью временных лет», возможно, следует считать не весь свод, а только расширенное введение к нему. Впрочем, практически никто из летописеведов не пытался поставить под сомнение тот факт, что автор введения является и составителем всего свода.

---

[1] *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола. Т. 1. Пг., 1920. С. 9; ПВЛ. Ч. 2. С. 50; *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. С. 127.

Составитель этого неординарного труда, явившегося основой практически всех последующих летописных сводов, проявил себя не только как прилежный продолжатель дела своих предшественников — хронистов, но и как историк. Это хорошо видно из пространного заглавия «Повести временных лет», в котором поставлены две важные исследовательские проблемы: «Откуда есть пошла Русская земля» и «Кто въ Киевѣ нача первѣе княжити».[1] Характерно, что в отличие от многих своих современников он осознавал органическую взаимосвязь этих явлений, их обусловленность внутренним развитием восточнославянского общества.

Не случайно возникновение Киева летописец связывает с деятельностью первого славянского князя Кия, власть которого распространялась на Полянскую землю, а дипломатические связи простирались до Константинополя. Оппонентов (в том числе и своих более ранних коллег — хронистов), которые не верили в княжеское происхождение Кия и называли его обычным перевозчиком-лодочником через Днепр, летописец называет «не свѣдущими». При этом он приводит такие подробности из жизни Кия (визит в Царьград, прием византийским императором, попытка закрепиться на Дунае), которые никак невозможно отнести к разряду вымышленных. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что летописец, не зная императора, принимавшего киевского князя, не стал выдумывать его имя.

Введение к «Повести временных лет» не имеет дат, однако это вовсе не значит, что летописец не ориентировался в относительной хронологии изложенных им исторических событий. Рассказ о князе Кие находится в своеобразной хронологической рамке: ему предшествует легенда о посещении Руси апостолом Андреем, а за ним следует сообщение о проходе на Дунай болгар и белых угров. Последние, как уточняет сам летописец, пришли на славянские земли при императоре Ираклие («Си бо угри почаша быти при Ираклии цари»),[2] царствование которого приходится на 610–641 гг.

В логической связи с рассказом о княжеском звании Кия находится сообщение о княжениях у полян, древлян, словен, дреговичей, северян и других племен. «И по сихъ братьи держати почаша родъ ихъ княженье в поляхъ, а в деревляхъ свое, а дреговичи свое, а словѣни свое...».[3]

Концептуальной последовательностью характеризуется описание летописцем знаменитого пути «из Варяг в Греки». Такое название закрепилось за ним в исторической литературе, хотя принадлежит оно не

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 9.
[2] Там же. С. 14.
[3] Там же. С. 13.

составителю «Повести временных лет», а его позднейшим редакторам и толкователям. В действительности путь им описан не с севера на юг, а с юга на север. Отправным его пунктом выступает не Варяжская земля, а Греческая. Без более поздней редакторской вставки — «Б҃ѣ путь изъ Варягъ въ Греки» — начало описания пути выглядит логичным и последовательным: «Бе путь... изъ Грек по Дн҃ѣпру, и вв҃ѣрхъ Дн҃ѣпра...».[1]

После подробного описания пути «изъ Грекъ» летописец «проводит» по нему апостола Андрея, который от Новгорода «иде въ Варяги», а затем следует в Рим. Теми же ориентирами завершает летописец и рассказ о пути: «Из того озера внидеть устье в море Варяжьское. И по тому морю ити до Рима».[2]

Кроме недатированного введения, составителю «Повести временных лет», согласно историографической традиции, принадлежат летописные статьи от 1093(95) г. до 1110 г. Его авторское и редакторское участие отчетливо прослеживается также в целом ряде статей, повествующих о событиях X–XI вв. Разумеется, в таком случае он пользовался текстами, сохранившимися в княжеском и церковных архивах. Д. С. Лихачев полагал, что в руках автора «Повести временных лет» были тексты договоров русских с греками, а также переводные греческие источники.[3] Согласно А. А. Шахматову, обнаружившему в первой Новгородской летописи отрывки, как ему казалось, более древней летописи, чем «Повесть временных лет», рассказ о четвертой мести Ольги появился, по-видимому, только из-под пера летописца конца XI – нач. XII в. К числу бесспорно относящихся к творчеству автора «Повести временных лет», что хорошо показал Д. С. Лихачев, является статья 1091 г., рассказывающая об обретении и перенесении мощей Феодосия Печерского.[4]

Ниже мы неоднократно будем обращаться к проблеме оригинальности текстов «Повести временных лет», поскольку вопрос этот тесно связан с определением того, кто был ее автором. Несмотря на устоявшуюся историографическую традицию, согласно которой «Повесть временных лет» связывается с именем летописца Нестора, исследователей не оставляют и сомнения в непреложной истинности такого вывода. В литературе неоднократно высказывалась мысль, что ее автором следует считать игумена Михайловского Выдубицкого монастыря Сильвестра.[5]

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 11.

[2] Там же.

[3] ПВЛ. Ч. 2. С. 49–50.

[4] Там же. С. 416.

[5] *Казанский П. С.* Еще вопрос о Несторе. «Временник общества истории и древностей Российских». Кн. 1. М., 1849, отд. 1. С. 23–30; *Костомаров Н. И.*

Противоречивые выводы об авторстве «Повести временных лет» обусловлены разноголосицей свидетельств летописных сводов. В Хлебниковском списке Ипатьевского свода в заглавии «Повести временных лет» говорится, что летопись написана монахом Печерского монастыря Нестором. Летописца Нестора знает и Киево-Печерский патерик. Его несколько раз упоминает монах Поликарп как автора «Летописца»: «Иже написа летописец». Три списка с именем Нестора, как уверял В. Н. Татищев, были в его руках, когда он писал «Историю Российскую». Это уже названный Хлебниковский, а также Раскольничий и Галицинский. В последнем сохранилось имя не только Нестора, но и Сильвестра. В Лаврентьевской летописи имени Нестора нет, но зато в окончании статьи 1110 г. говорится, что эта летопись написана Сильвестром. «Игуменъ Сильвестръ святаго Михаила написах книгы си Лѣтописець».[1] Сильвестр, как автор начального летописания, упоминается в некоторых сводах XV ст. северо-восточной традиции. Вообще летописание Северо-Восточной Руси, которое явилось продолжением переяславского, знало только Сильвестра, в то время как летописная традиция Киево-Печерского монастыря считала автором «Повести временных лет» Нестора.

Историки со времен В. Н. Татищева трудную проблему выбора решали так: Нестор был автором «Повести временных лет», а Сильвестр ее продолжателем и редактором. Именно к такому выводу склонялся Н. И. Костомаров, полагавший, что «Сильвестру могут принадлежать только ближайшие к его времени известия и распределение по числам других с некоторыми дополнениями. Делом Сильвестра есть сводка отдельных сказаний. Этот Сильвестр внес в свой труд Несторовую летопись Киево-Печерского монастыря, которая составляла только незначительную часть всей летописи».[2]

Если бы приписка с именем Сильвестра находилась в статье 1116 г., высказанное выше предположение не требовало бы каких-либо дополнительных обоснований. Нестор закончил летопись 1110-м годом, а Сильвестр продолжил ее до 1116-го. Но приписка почему-то находится в статье 1110 г. и это порождает ряд сомнений, которые не находят удовлетворительного объяснения. Если Сильвестр был не чужд летописанию, трудно предположить, чтобы он, переписав в 1116 г. летопись

Лекции по русской истории. Ч. 1. СПб. 1861. С. 26–38; *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 133–155; *Толочко О. П.* Нестор-літописець біля джерел однієї історіографічної традиції // Київська старовина. № 4–5. 1996. С. 11–35.

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 188.

[2] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории. Ч. 1. СПб., 1861. С. 30.

Печерского монастыря, доведенную до 1110 г., не продолжил ее своими текстами. Если же, как полагал С. А. Бугославский, Сильвестр не был летописцем, а только простым переписчиком, тогда вообще отпадает вопрос об его редакции «Повести временных лет». Еще более усугубляет ситуацию с авторским вмешательством Сильвестра в труд предшественника и то обстоятельство, что приписка эта сделана не по окончании списывания летописи, а спустя какое-то время после: «А мнѣ в то время игуменящю у святаго Михаила въ 6624».[1] В 1118 г. Сильвестр был уже переяславльским епископом и, видимо, только в Переяславле ему пришла мысль связать свое имя с переписанной в стенах Выдубицкого монастыря (наверное, под его присмотром) летописью. Нет и малейшего сомнения в том, что с момента завершения переписывания и до 1118 г. «Повесть временных лет» не была дополнена записями за 1111–1118 гг. Для хрониста это вещь невероятная. Сильвестр напоминает в этом плане монаха Лаврентия, который переписал (с сотоварищи) в 1377 г. оказавшуюся в его руках летопись («книгы ветшаны»), заканчивавшуюся записью 1305 г., и не дополнил ее ни одной своей статьей.

Сказанное выше не позволяет считать Сильвестра соавтором «Повести временных лет», а тем более единственным ее создателем, как это предложил в свое время А. Г. Кузьмин.[2] Скорее всего, он вообще не имел прямого отношения к летописному творчеству и вряд ли продуктивно пытаться определять его авторское участие в составлении или редактировании «Повести временных лет» только на основании наличествующих в ней симпатий к «дому Всеволода».

Ситуация с авторством Нестора выглядит значительно лучше. Ведь о нем имеются и дополнительные данные: ему принадлежат «Житие Феодосия» и «Чтение о Борисе и Глебе». Однако именно это обстоятельство послужило источником новых сомнений по поводу авторства Нестора «Повести временных лет».

Исследователи, пытавшиеся оспорить участие автора житийных сказаний монаха Печерского монастыря Нестора в составлении русской летописи, аргументируют это совершенно разной стилистической манерой изложения, наличием разночтений в «Повести временных лет» (статьи 1051, 1065, 1074 и 1091 гг.) и «Житии», а также тем, что его участие в летописании засвидетельствовано только в Патерике.[3] Что

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 188.

[2] *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 155–183.

[3] *Кузьмин А. Г.* Там же. С. 133–155.; *Толочко О. П.* Нестор-літописець: біля джерел однієї історіографічної традиції... С. 11–35.

касается приемов творчества, то они диктовались жанром произведений. «Житие» писалось по одним канонам, а летопись по другим. Не знай литературоведы, что «История Пугачева» написана А. С. Пушкиным, наверное, сбились бы с ног в поисках ее автора. Более существенным кажется вопрос о разночтениях. А. Г. Кузьмин насчитал десять таких расхождений между «Житием Феодосия» и летописью. Конечно, это серьезно, но, если бы он попытался выполнить ту же работу на творчестве кого-либо из летописеведов, таких разночтений было бы гораздо больше.*

Нет сомнения, что «Житие Феодосия» писалось как литературное произведение и это не обязывало его автора к протокольно-точным записям и формулировкам. К тому же у нас не может быть уверенности в том, что все эти разночтения не появились в результате позднейшей редакции летописи. Ведь знаем же, что «Повесть временных лет», независимо от того, кто был ее автором, не сохранила свою первозданную оригинальность.

Существенным расхождением между «Житием Феодосия» и летописной статьей 1051 г., которое ставит под сомнение их принадлежность одному автору, является сообщение о времени его прихода в монастырь. В статье он утверждает, что пришел в 17 лет к Феодосию, а в «Житии» — что это было при игумене Стефане. «Приатъ же быхъ въ нь (монастырь. — *П. Т.)* преподобнымъ игуменомъ Стефаномъ, и кого же отъ того постриженъ быхъ, и мнишескиа одѣжда сподобленъ, пакы иже на диаконский санъ возведенъ сый от него».[1]

Здесь необходимо внести ясность в два историографических стереотипа, кочующих из работы в работу. Во-первых, вопреки утверждению историков автор летописной статьи 1051 г. не говорит о своем пострижении в монастырь преподобным Феодосием. Приход в монастырь и пострижение в нем события не единовременные. Об этом свидетельствует сам Нестор в «Житии Феодосия». Согласно ему, человек, пришедший в монастырь, какое-то время привыкал к монастырским порядкам и ходил в своих одеждах. Затем его одевали в монашеское платье и испытывали трудными церковными службами. Только после всех этих испытаний осуществлялся обряд пострижения в монастырь и облачения в монашескую мантию.[2] Во-вторых, автор «Жития Феодосия» нигде не утверждает, что он не видел Феодосия, он только говорит, что его принял и постриг в монастырь Стефан.

---

* Мнимость некоторых расхождений между летописной статьей 1051 г. и «Житием Феодосия» убедительно показал Д. С. Лихачев. Чит. ПВЛ. Ч. 2. С. 386–387.

[1] Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911. С. 57–58.

[2] Там же. С. 28.

Не исключено, что в этом пространном житийном сообщении содержится ключ к разгадке расхождения между летописью и «Житием». В монастырь Нестор пришел еще при Феодосие, возможно уже перед самой его кончиной, но был препоручен Стефану, который и произвел над ним через какое-то время обряд пострижения. Еще позже, когда Стефан был игуменом, он высвятил Нестора на диакона. Разумеется, у нас нет полной уверенности, что так все и было на самом деле, но думаем, что так могло быть. Если бы преподобный Феодосий сам описал свой приход в Печерский монастырь и пострижение в нем, то он бы отметил, что принял его Антоний, а обряд пострижения совершил Никон. И если бы это сообщение оказалось разорванным в составе двух разных текстов, наверное, последующие историографы столкнулись бы с аналогичными затруднениями в определении их авторства.

Вряд ли есть достаточно оснований относить определение Несторового авторства «Повести временных лет» только на счет патриотизма позднейших печерских книжников. Какой смысл в этом? Разве им было не все равно, если бы этим автором явился, скажем, Иоанн или еще кто-то из печерской братии?

Больше всего в этом подозревается Касиан, дважды редактировавший Патерик в 60-х годах XV в. и приписавший монаху Нестору ряд повестей, в том числе и о начале Печерского монастыря. Исследователи справедливо сомневались, что у Касиана были какие-то древние тексты с авторством Нестора, однако, думается, неоправданно распространили свое сомнение и на его причастность к летописанию вообще. В Арсеньевской редакции, дошедшей до нас в рукописи 1406 г., об этом сказано вполне определенно: «Нестеръ, иже написа лѣтописець». Д. И. Абрамович считал эту приписку вполне авторитетным свидетельством того, что Нестор имел какое-то отношение к нашему древнему летописанию.[1] Это тем более справедливо, что редакция эта, как полагают исследователи, вполне может соответствовать оригиналу XIII в.

Решение проблемы авторства «Повести временных лет» в значительной мере связано с анализом главным образом статей 1015, 1051, 1065, 1074, 1091 и 1096 гг., а также недатированного введения. Разноречивые результаты такого анализа, чаще ставящие под сомнение участие Нестора в составлении летописи, чем подтверждающие его, вынуждают исследователей вновь и вновь обращаться к этим текстам.

Статья 1015 г. Памятуя о том, что Нестору принадлежит «Чтение о Борисе и Глебе», исследователи изначально склонны были относить к его авторству и статью 1015 г. «Повести временных лет», пове-

[1] *Абрамович Д. І.* Киево-Печерський патерик. С. 126.

ствующую об трагическом убийстве сыновей Владимира Святославича. Со временем появились сомнения в том, что автором «Чтения» и статьи 1015 г. является одно лицо. Основанием для этого послужили разночтения в обоих текстах. Ситуацию еще больше усложнило наличие «Анонимного сказания о Борисе и Глебе», которое, как казалось еще П. Казанскому, ближе к летописной статье 1015 г.[1] Исследователи не смогли определиться в том, какой из этих трех текстов появился раньше, а следовательно, и оказал влияние на остальные. С. А. Бугословский полагал, что «Анонимное сказание» возникло в последние годы княжения Ярослава Владимировича и Нестор пользовался им при написании своих текстов.[2] А. А. Шахматов склонялся к мысли, что в основе «Чтения» и летописной статьи 1015 г. находился общий источник, читавшийся уже в Древнейшем своде.

Посвятив специальное исследование «Анонимному сказанию», Н. Н. Воронин пришел к выводу, что более ранним произведением следует считать «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора.[3] Польский историк А. Поппе считает, что «Чтение» и «Сказание» произведения независимые одно от другого. Что касается статьи 1015 г., то она появилась при создании Начального свода, хотя впоследствии могла подвергаться редакциям и переработкам. А. А. Шахматов утверждал, что первичный текст статьи 1015 г. Древнейшего свода был уточнен и дополнен составителем Начального свода, хотя и обратил внимание на то, что «в Несторовом сказании, в той его части, которая не имеет прямого отношения к Борису и Глебу (в начале сказания), оказываются места общие с летописью, сильно ее напоминающие».[4]

Скорее всего над составлением статьи 1015 г. действительно трудилось не одно поколение летописцев. Но был среди них и Нестор, чье редакторское участие прослеживается при сопоставлении текстов «Чтения» и летописи. Эта работа хорошо выполнена А. А. Шахматовым и нет нужды приводить здесь примеры смысловых и текстуальных совпадений обоих памятников. Может быть, стоит только отметить поразительное тождество вопроса в летописи и в «Чтении», вложенного

---

[1] *Казанский П.* Разбор ответа г-на П. Б. на новый вопрос о Несторе // Отечественные записки. СПб. 1851. Т. 74. № 1. Отд. 5. С. 80–85.

[2] *Бугословский С. А.* К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преподобного Нестора // Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук. Т. 19. Кн. 1. СПб., 1914. С. 135–143.

[3] *Воронин Н. Н.* Анонимное сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор. Труды отдела древнерусской литературы. Т. 13. М.; Л., 1957. С. 13–17.

[4] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 66–70.

в уста развозившим по городу милостыню: «Кде болнии и нищь, не моги ходити? Тѣмъ раздаваху на потребу».[1]

Статья 1051 г. В свое время А. А. Шахматов, пытавшийся обосновать участие Никона в печерском летописании и даже выделившего его авторский свод 1073 г., относил на его счет и сказание о начале Печерского монастыря. Первоначально оно находилось якобы в летописной статье 1062 г., а затем перенесено позднейшим редактором в статью 1051 г.[2]

Непредубежденный анализ сказания не позволяет принять этот вывод. В тексте есть места, которые дают серьезные основания вообще сомневаться в том, что к этой статье имел отношение Никон Печерский. Рассказывая о пресвитере Иларионе, летописец заметил, что тот ходил с Берестового на Днепр, на холм, «кдѣ нынь ветхый манастырь Печерский».[3] Аналогично уточняется и место великой пещеры Антония: «Яже суть и до сего дне в печерѣ подъ ветхимъ манастыремь». После передачи игуменства Варлааму Антоний выкопал новую пещеру («еже есть подъ новым манастырем»), в которой и умер. Далее летописец отмечает: «В ней же лежать мощѣ его и до сего дня».[4]

Приведенные летописные уточнения, разумеется, не могли быть сделаны до 1073–1074 гг., когда еще не было нового Печерского монастыря, а следовательно, и старый не мог называться «ветхим». Сообщение о мощах св. Антония и вовсе указывает на то, что статья писалась по прошествии значительного времени после его смерти (1073 г.).

А. А. Шахматов, обратив внимание на эти летописные уточнения и понимая, что они никак не могут принадлежать Никону, объявил их позднейшими вставками, которые якобы внес в первоначальный текст статьи автор Начального свода (1095 г.). Почему он, а не автор «Повести временных лет», А. А. Шахматов не объяснил, как и не обосновал, почему эти уточнения вообще должно считать вставками. Текстологически и содержательно они не выпадают из общей канвы рассказа, а частая повторяемость свидетельствует скорее об их оригинальности. Описывая события, отдаленные от него значительным отрезком времени, летописец пытался уточнить их современными ему историко-топографическими ориентирами.

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 86. В «Чтении» эта фраза звучит так: «И пропов'ѣднику глаголющю съ прошением: егда кто болить кто где?»

[2] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописях. СПб., 1908. С. 277, 444–448, 450.

[3] ПВЛ. Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 105.

[4] Там же. С. 106.

Совершенно невероятным для Никона есть и утверждение: «К нему же (Феодосию. — *П. Т.*) и азъ придохъ худый и недостойный рабъ, и приять мя лѣт ми сущю 17 от роженья моего».[1] Из Несторового «Жития Феодосия» известно, что Великий Никон был одним из старейших сподвижников преподобного Антония и по его поручению осуществил обряд пострижения Феодосия. «Таче благослови въ старецъ, и повелѣ великому Никону острищи и, прозвитеру тому сущу и черноризцу искусну, иже и поимъ блаженнаго Феодосия и по обычаю святыихъ отѣць остригъ его и, облече его въ мьнишьскую одежу».[2]

Конечно, это утверждение не принадлежит Никону. Но кому? И насколько эта автобиографическая подробность кажется логичной в чужой статье? На первый вопрос А. А. Шахматов уверенно ответил, что летописец, говорящий о своем приходе к Феодосию, это составитель Начального свода.[3] Вторым вопросом он и вовсе не озаботился. Между тем кажется маловероятным, чтобы позднейший летописец сообщил о своем приходе к Феодосию не в своем оригинальном тексте, а в чужом, пусть даже и слегка подправленном.

Окончание летописной статьи 1051 г., как полагал А. А. Шахматов, принадлежит несомненно Никону. Несколько смутила его только заключительная фраза: «А о Феодосьевѣ житьи паки скажемъ».[4] «Что такое "паки"? — вопрошает А. А. Шахматов. — Не предполагает ли оно непосредственного продолжения этой фразы рассказом о житии Феодосия? А между тем такого продолжения не находим».[5]

Выше слово «редактор» применительно к Нестору взято в кавычки. Проведенный текстологический анализ статьи 1051 г. убеждает, что его участие в составлении сказания о начале Печерского монастыря не ограничилось только редакцией (по-видимому, весьма существенной) текста предшественника. Есть все основания считать, что летописная статья была дополнена его оригинальным текстом о заслугах Феодосия перед Печерским монастырем.

Подводя итог сказанному выше, можно со значительной долей вероятности утверждать, что летописная статья 1051 г. (если и не целиком, то в значительной части) была написана тем же самым Нестором, который затем составил и «Житие Феодосия». Сомнения А. А. Шахматова и других авторитетных исследователей летописи о непричастности Нестора-агиографа к летописному сказанию, как и к летописанию

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 108.
[2] Изборник. М. 1969. С. 102.
[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 446.
[4] ПВЛ. Ч. 1. С. 103.
[5] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 446.

вообще, могли бы претендовать на убедительность, если бы историческая письменность времен Киевской Руси не сохранила труда, заявленного в статье 1051 г. Но обещанное летописцем «Житие Феодосия» есть и он сам позаботился о том, чтобы современники и потомки знали его имя.

Статья 1065 г. В перечне недобрых знамений летописец помещает и рассказ о том, как из киевской речки Сетомли рыбаки выволокли ребенка-уродца, свидетелем чему он будто бы был. «В си же времена бысть дѣтищь ввержень въ Сьтомль; сего же дѣтища выволокоша рыболове въ невод'ѣ, его же позоровахомъ до вечера, и пакы ввергоша и в воду».[1]

А. А. Шахматов, относивший появление этой статьи к своду 1074 г., высказал мысль, что ее содержание «как будто не позволяет признать самого Никона составителем продолжения к Древнейшему своду».[2] Однако из этого затруднения он вышел таким образом, что над летописью в Печерском монастыре работал и другой автор, а может и не один, который говорит о себе, что смотрел на извлеченного из Сетомли уродца.[3]

Наверное, во времена Никона в Печерском монастыре трудился не один летописец, но только основанием для такого утверждения не может быть статья 1065 г. Сообщение «позоровахомъ до вечера» не говорит о том, что на это срамное зрелище любовался в продолжение целого дня благочестивый печерский монах — коллега Никона. Это, несомненно, воспоминание о своем детском впечатлении, записанное в зрелом возрасте. И если это действительно так, то ни Никон, ни его неизвестный соавтор к этому сообщению не причастны. Им был более поздний летописец, который в 1065 г. пребывал еще в детском возрасте.

А. Г. Кузьмин, будучи убежден, что «Повесть временных лет» составлена Сильвестром, именно его считал автором статьи 1065 г. На этом основании он вычислил даже дату его рождения — 1055 г., полагая, что сетомльское чудо он наблюдал в 10-летнем возрасте.[4]

В одной из статей нами был сделан подобный расчет относительно Нестора. Приписываемая ему мумия в лаврских пещерах была исследована антропологами. Удалось установить, что возраст умершего достигал 60–65 лет. Предположив, что умер он около 1113 г., получим приблизительную дату рождения — 1053 г. В 1065 г., таким образом, он тоже был в детском возрасте и мог впоследствии описать виденное.

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 110.

[2] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 431.

[3] Там же. С. 432.

[4] *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 162.

Статья 1074 г. Отсутствие житийного продолжения в статье 1051 г. навело А. А. Шахматова на мысль, что рассказ о начале Печерского монастыря утратил свое окончание. Какие-то отрывки его, как ему казалось, дошли до нас в статье 6582 (1074) года, где говорится об успении Феодосия, а что-то и вовсе оказалось утраченным.[1]

Такое объяснение кажется слишком сложным и искусственным. Во-первых, в статье 1074 г. говорится не о житии Феодосия, а об его кончине: «Скажем же о успеньи его мало». А во-вторых, совершенно нет оснований для утверждения, что какой-то позднейший редактор — составитель летописи перенес вторую часть статьи 1051 г. в статью 1074 г. Она представляет собой вполне самостоятельный и очень подробный рассказ о последних днях Феодосия, его завещании монастырской братии, а также о его духовных единомышленниках. Где же и быть такому рассказу, как не в статье, сообщающей о кончине Феодосия. Наоборот, в статье 1051 г. этот панегирик был бы неуместен и неестествен.

После сообщения о кончине Феодосия летописец рассказывает о его сподвижниках и учениках Демьяне, Еремие, Матвее, Исаакии, которые «яко свѣтила в Руси сьяють». А. А. Шахматов полагал, что настоящее время глагола «сияют» свидетельствует, что автором рассказа был современник Феодосия и его еще живущих сподвижников. Вряд ли это убедительный аргумент. Печерские угодники «сияют» всегда, независимо от того, живы они или уже почившие в Бозе. Демьян умер раньше Феодосия, о чем сказано в этой статье. Не мог быть живым современником автора рассказа и Еремия, который «помняще крещенье землѣ Русьскыя». Матвей жил еще и при игуменстве Никона. Исаакий умер не ранее 1088 г. и был похоронен игуменом Иоанном.

О позднем составлении житийных сказаний, содержащихся в летописной статье 1074 г., свидетельствует рассказ Матвея о том, как он однажды увидел на месте опоздавшего к службе игумена Никона осла. Конечно, невозможно предположить, чтобы такая оскорбительная запись появилась в монастырской летописи при жизни Великого Никона. В рассказе об Исаакии сказано, что он «от игумена Никона приимше раны». Нет сомнения, что и эта антиниконовская выходка могла появиться в летописном тексте только после его смерти.

Из всего сказанного выше явствует, что автором кратких сказаний в статье 1074 г. не мог быть современник Феодосия. Заключительная часть похвалы черноризцам Печерского монастыря однозначно указывает на то, что составлялась она тогда, когда никого из выдающихся сподвижников Феодосия уже давно не было в живых. «Таци ти быша

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 447, 451.

черноризци Феодосьева манастыря, иже сияють и по смерти, яко свѣтила, и молять Бога за сдѣ сущую братью, и за мирьскую братью».[1]

В Киево-Печерском патерике имеется прямое утверждение, что краткие житийные сказания, помещенные в летописной статье 1074 г., принадлежат Нестору: «Яко же блаженый Нестор в летописи написа о блаженных отцах, о Дамияне, Иеремии, и Матфеи, и Исакыи». Д. С. Лихачев подчеркивал, что о Дамиане сходно с летописью повествуется и в Несторовом «Житии Феодосия», а следовательно, есть все основания утверждать, что, по крайней мере, эта часть «Повести временных лет» принадлежит Нестору.[2] Сходство летописного и житийного повествований о черноризце Дамиане отмечал также и А. А. Шахматов.[3]

Неубедительным кажется и предположение А. А. Шахматова о том, что рассказ статьи 1074 г. о Феодосие составлен Никоном на том основании, что он содержит подробную информацию, доступную якобы только современнику. Это было бы справедливо, если бы Никон был свидетелем последних дней жизни Феодосия. Но он таковым не являлся. В 1073 г. Никон вынужденно оставил Киев и вторично удалился в Тмутаракань. Вернулся в Печерский монастырь только после смерти Феодосия. Следовательно, точное, почти протокольное описание кончины игумена принадлежит не ему, а какому-то другому летописцу. Если предположить, что Никон воспользовался подробной информацией о смерти Феодосия, которая имелась в архиве Печерского монастыря, то почему тогда следует исключать аналогичную возможность для его более поздних коллег — летописцев?

Статья 1091 г. Убеждение А. А. Шахматова в том, что приоритет авторства свидетельских показаний «Повести временных лет» принадлежит составителю Начального свода, ставит под сомнение летописная статья 1091г. Она определенно написана другим летописцем. В Киево-Печерском патерике аналогичный (хотя и не абсолютно идентичный) рассказ — «Сказание об обретении и перенесении мощей Феодосия Печерского» — приписан монаху Печерского монастыря Нестору.[4] И в летописи, и в «Сказании» рассказ ведется от первого лица. После принятого на монастырском совете решения о перенесении мощей преподоб-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 131. А. А. Шахматов объяснил все эти, невозможные для Никона сведения позднейшими вставками и, таким образом, «спас» его авторство статьи 1074 г.

[2] ПВЛ. Ч. 2. М.; Л., 1950. С. 408.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 448.

[4] «Нестора, мниха монастыря Печерьскаго, о принесении мощемъ святаго преподобного отца нашего Феодосия Печерьскаго августа 14. Слово 9.» *Патерик Киевского Печерского монастыря.* СПб. 1911. С. 58.

ного Феодосия в Успенский собор игумен Иоанн поручил выполнение этой ответственной работы наиболее доверенному лицу. Даже если бы у нас не было свидетельства Патерика, логично было бы предположить, что Иоанн обратился к Нестору, составившему или, что вернее, трудившемуся над составлением жития Феодосия. «Его же (игумена. — *П. Т.)* повел'ѣнью бых азъ гр'ѣшный первое самовидець, еже скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ о семь началник».[1]

Сходное в деталях описание поиска могилы Феодосия и ее раскопок не оставляет сомнений в том, что летописная статья 1091 г. и «Сказание», содержащееся в Патерике, написаны одним автором. Д. С. Лихачев совершенно обоснованно полагал, что введение к летописному рассказу от первого лица указывает на характерную манеру Нестора, которая отличает и его житийные произведения.[2]

Статья 1096 г. В ней сообщается, что когда на Печерский монастырь напали половцы, автор этого рассказа отдыхал вместе с братией после церковной службы. «И придоша на манастырь Печерьскый, намъ сущим по к'ѣльямъ почивающим по заутрени».[3]

Далее летописец подробно описывает бесчинства завоевателей в Печерском монастыре. Его уточнение, что разграблению подвергся притвор, где находится гробница Феодосия, выдает в нем того же автора, который рассказал ранее об обретении и перенесении мощей печерского старца в Успенский собор. Мощи Феодосия были упокоены «в притворе по правую руку». Половцы ворвались «в притвор у гроба Феодосиева». Последующий экскурс в историю «безбожных сынов Измайловых», почерпнутый летописцем из Георгия Амартола, как бы продолжает рассказ, содержащийся во введении, о происхождении народов. Это историческое исследование указывает на большую эрудицию автора: «Мефодий (Патарский. — *П. Т.)* же свидетельствует», «другие же говорят». Под «другими», как справедливо полагали А. А. Шахматов и Д. С. Лихачев, здесь имеется в виду Георгий Амартол.

Практически ни у кого из исследователей не возникало сомнения по поводу происхождения статей «Повести временных лет» первого десятилетия XII в. Все они признаются как печерские и, следовательно, принадлежат тому же летописцу, который составлял и весь свод. Некоторые из них помечены авторским присутствием.

Так, сообщение 1106 г. о смерти старца Яня, скончавшегося в 90 лет, сопровождено следующей справкой: «Живъ по закону Божью, не ху-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 138.
[2] ПВЛ. Ч. 2. С. 416.
[3] ПВЛ. Ч. 1. С. 151.

жий бѣ первых праведник. От него же и азъ многа словеса слышах, еже и вписах в лѣтописаньи семь».[1] Такое впечатление, что, говоря о Яне, летописец держит в уме статью 1074 г. и сравнивает его с церковными подвижниками, описанными в ней.

Свидетельством современника помечена также статья 1107 г., в которой повествуется о том, что Святополк перед походами на половцев и после них имел обычай молиться в Печерском монастыре и посещать гробницу Феодосия. Аналогичный рассказ содержится и в Патерике, где он связывается с авторством Нестора. А. А. Шахматов полагал, что первоначальный текст этого фрагмента летописи сохранился именно у Поликарпа в Патерике.[2]

Две последующие летописные статьи (1108 и 1110 гг.) являются также чисто печерскими. В первой из них летописец сообщает о канонизации Феодосия Печерского, а во второй описывает необычное явление природы — огненный столб, который сперва стоял над трапезной церковью, а затем переместился на Успенский храм и стал над гробом Феодосия.

Читая тексты 1107, 1108 и 1110 гг., бесспорно написанные, что называется, по горячим следам, трудно отрешиться от мысли, что их автор продолжает тему прославления Феодосия. В продолжение всего летописного свода он как бы дорисовывает портрет преподобного Феодосия, возводит его в ранг святого. Мысль о внесении Феодосия в синодик была вложена игумену Печерского монастыря Феоктисту самым Богом, а огненный столб был не чем иным, как явлением ангела — Божьего Посланника: «Ангелъ бо приходить, кдѣ благая мѣста и молитвении домове».[3] По существу, статья 1110 г. завершает собой так называемую Печерскую повесть, начатую еще в статье 1051 г. Ее главным персонажем бесспорно является Феодосий. Зная, что автором его «Жития» был печерский монах Нестор, естественно предположить, что он написал и эту летописную повесть.

В свое время А. А. Шахматов был сильно смущен заключительной фразой статьи 1051 г.: «Я не могу понять слова "пакы", — сокрушался он. — Это "опять", "еще" в значении "инъде" (в другом месте), или "по семь"».[4] Не вполне справился с интерпретацией этого слова и Д. С. Лихачев. Не исключив того, что оно имеет значение отсылки к статье

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 185.

[2] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. XVIII; *Шахматов А. А.* Нестор летописец // Привіт Іванові Франкові в сорокаліття його письменської праці. Львів. 1916. Частина наукова. С. 49.

[3] ПВЛ. Ч. 1. С. 188.

[4] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 446.

1074 г., он одновременно высказал и другое предположение, согласно которому «Житие Феодосия» действительно содержалось в «Повести временных лет» или в предшествующем ей своде, но было затем опущено кем-то из летописцев.[1]

Думается, что исследователи придали заключительной фразе статьи 1051 г. излишнюю загадочность. Смысл ее прост и ясен. Автор сказания о начале Печерского монастыря завершил его обещанием отдельно написать житие Феодосия. И вряд ли это житийное сказание замышлялось как продолжение летописной статьи 1051 г. По своему жанру оно не могло быть вписано в летописную стилистику, а должно было представлять самостоятельное церковное произведение. Скорее всего, «Житие» никогда и не было в составе летописных сводов.

По-видимому, близкое по смыслу летописное замечание содержится и в статье 1074 г. «Скажемъ же о успеньи его (Феодосия. — *П. Т.*) мало». Почему мало? Да, видимо, все потому же. Много летописец собирался сказать (или уже сказал) в отдельной житийной повести.

Не исключено, что «загадочное» слово «пакы» является еще одним свидетельством в пользу Несторового авторства «Повести временных лет». Этот церковнославянизм, означающий «после», «затем», «потом», не очень характерен для светских текстов. В летописи он встречается не часто: с 1051 по 1110 г. не более пяти-шести раз, зато в Несторовом «Житии Феодосия» употреблен более сорока раз. Никакая другая из последующих житийных повестей не отмечена такой ритуальной приверженностью ее автора к слову «пакы». Исходя из этого, можно предположить, что статьи «Повести временных лет», помеченные словом «пакы» (1051, 1065, 1068, 1074 гг.), принадлежат Нестору или же испытали его редакторское вмешательство.

Перед «Житием Феодосия» в Патерике расположено сказание «Чего ради прозвася Печерский монастырь», автором которого назван Нестор. Его окончание: «Приидох же азъ к нему, худый и недостойный рабъ Нестеръ и приятъ мя, тогда ми сущю 17 от рожения моего»[2] — практически идентично тому, которое содержится в статье 1051 г. Д. С. Лихачев полагал, что оба текста сопоставимы.[3] Разумеется, это тождество не может иметь определяющей доказательной силы, однако и не принимать его в расчет вовсе при выяснении вопроса об авторстве летописной повести о начале Печерского монастыря тоже нельзя.

Еще одним и, как казалось А. А. Шахматову, непреодолимым препятствием к отнесению летописного сказания о начале Печерского

[1] ПВЛ. Ч. 2. С. 387.
[2] Патерик... С. 14.
[3] ПВЛ. Ч. 2. С. 386.

монастыря на счет Нестора является то, что в нем основателем обители выступает Антоний, тогда как «Житие Феодосия» таковым считает Феодосия.[1] Аргумент действительно серьезный и не будь в летописной статье 1051 г. другой информации, с ним можно было бы и согласиться. Но сам же А. А. Шахматов заметил, что в сказании не назван игумен, который поставил «церковь велику, и манастырь огородиша столпеемъ, кель'Ь поставиша многы».[2] Из буквального смысла сказания следует, что этим игуменом был не Феодосий, а Варлаам, но имени его здесь нет. Заслуга поставления монастыря целиком отдана Антонию и монастырской братии. А. А. Шахматов видел в этом тенденциозность позднейшего редактора, что похоже на правду.

Вопрос только в том, кто был этот тенденциозный редактор? А. А. Шахматову казалось, что таковым следует считать все того же составителя Начального свода, но убедительных аргументов в пользу этого предположения он не привел. Значительно больше оснований полагать, что этим «редактором» был Нестор. В пользу этого свидетельствует вся вторая часть сказания, в которой основателем монастыря, по существу, выступает Феодосий. На вопрос Антония, кого бы хотела братия себе игуменом, последовал ответ: «Кого хощеть Бог и ты». Выбор Феодосия, таким образом, был не только выбором Антония, но и Божьим промыслом, оказавшимся особенно благодатным для монастыря. В момент избрания Феодосия братия насчитывала 20 монахов, его стараниями она увеличилась до 100. Феодосий озаботился также и тем, чтобы Печерская обитель обрела монастырский устав, который был списан из устава Студийского греческого монастыря, принесенного в Киев монахом Михаилом. Летописец определенно ставит это в заслугу Феодосию: «Феодосий все то изъобр'Ьтъ, предасть монастырю своему».[3]

От Печерского этот устав был позаимствован другими русскими монастырями, что ставило его в особое положение как старейшего и наиболее почитаемого. Заключительная фраза о благодатных деяниях игумена Феодосия — «Феодосьеви же живущю в манастыри, и правящю доброд'Ьтелное житье и чернечьское правило» — фактически равнозначна утверждению об основании им монастыря. До игуменства Феодосия печерские холмы были местом индивидуального пустынножительства, при нем возникла монастырская обитель со своим уставом и правилами.

В «Житии» Нестор говорит об этом еще более определенно: «И оттоле Божиею благодатию возрасте м'Ьсто то и бысть монастырь сла-

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 269–270.
[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 106–107.
[3] Патерик... С. 28.

вень: се же и донынѣ есть, Печерьский монастырь наричаемь, иже от святаго отца Феодосия съставленъ есть».[1]

Остановимся теперь на проблеме идеологической идентификации автора «Повести временных лет». Для исследователей, отстаивавших участие Сильвестра в ее редакции, этот аргумент является чуть ли не главным. Сильвестр был игуменом Выдубицкого Михайловского монастыря, основанного Всеволодом, а затем епископом в Переяславле, родовом гнезде Всеволода — Владимира и, следовательно, все восторженные или сочувствующие высказывания в адрес этих князей должны принадлежать ему. С одной стороны, рассуждения эти не лишены логики, но с другой — не учитывают, что симпатизировать «дому Всеволода» мог не только Сильвестр. Нет у нас гарантии и в том, что в многослойных летописных сводах идеологическая приверженность их составителей во всех случаях сопрягалась с изъятием позиции своих предшественников. Если Нестор составлял летопись при Святополке Изяславиче, значит, должен был проследить, чтобы в ней, не дай Бог, не проскочило худое слово не только о своем сюзерене, но и об его отце и даже роде. В свою очередь, Сильвестр обязан был не только славословить Владимира Мономаха, но также пройтись цензорским пером по текстам своих предшественников, если они неодобрительно отзывались, скажем, об его отце.

Исключить подобного мы, разумеется, не можем, однако и преувеличивать исследовательские возможности такого историографического стереотипа вряд ли следует. Если уж и пользоваться им, то анализировать идеологическую позицию летописцев следует на текстах, приращивающих предыдущий летописный свод. Для автора «Повести временных лет» это главным образом статьи, повествующие о событиях, произошедших в годы киевского княжения Святополка Изяславича. Объективно это был не лучший великий киевский князь. Более популярным на Руси считался Владимир Мономах, однако из летописи сделать такое заключение невозможно. Святополк изображен в ней вполне благопристойно. Он не захватил отцовский трон силой, но сел на нем по праву отеческого наследия: «яко есть столъ преже отца его былъ». Не являясь фактическим организатором антиполовецких походов, в перечислении князей, принимавших в них участие, всегда стоит на первом месте. Аналогично представлена его роль в собирании княжеских съездов, в том числе и знаменитого Любечского. Описывая поражение русских дружин от половцев в 1093 г. под Треполем, летописец замечает, что «Святополкъ же стояше крѣпко» и отступил с поля боя лишь тогда, когда побежали его вои.

[1] Патерик... С. 28.

Сочувственно откликнулся летописец и на смерть Святополка. Он назван благоверным, по которому плакали бояре и дружина. Среди его заслуг особо подчеркнуто воздвижение церкви святого Михаила, в которой его и похоронили. Жена Святополка раздала столько богатств монастырям, попам и убогим, что это вызвало всеобщее удивление. «Яко дивитися вс'ѣмъ человекомъ, яко такая милости никто же не сотворити».[1]

Если бы не было известно, кто из печерских монахов-летописцев столь сочувственно относился к Изяславу Ярославичу, наверное, поиск автора «летописи Святополка» был бы затруднен. Но мы знаем, что им был Нестор. Его идейная приверженность братолюбию в князьях, покорению старшему в роде, убежденность в несправедливости низвержения Изяслава с великого киевского стола очень хорошо отражены в «Житии Феодосия». Не исключено, что это удивительное произведение было написано Нестором не без влияния Святополка, который после 1098 г. очень сближается с Печерским монастырем и, как полагал Д. С. Лихачев, становится деятельным сторонником его общерусских устремлений.[2]

Традиционное представление о Несторе как летописце князя Святополка было оспорено Л. В. Черепниным. Согласно ему, Нестора можно считать человеком, сочувствующим Мономаху, и подходить к его труду следует как к произведению, задуманному вместе с Мономахом по вокняжении последнего в Киеве.[3] Свой вывод Л. В. Черепнин обосновал ссылками на Печерский патерик, в котором во многих текстах заметно сочувствие Мономаху, а также анализом летописных статей «Повести временных лет» от 1111 по 1115 г., которые также вполне расположены к нему. Он даже полагал, что Нестор написал свою летопись к вышгородскому празднованию культа Бориса и Глеба в 1115 г.* Видимо, на этой посылке о времени составления «Повести временных лет» и основаны приведенные выше рассуждения Л. В. Черепнина. В действительности Нестор закончил свой труд около 1110 г. (может быть, в 1113 г.), а последующие статьи принадлежат уже какому-то другому летописцу, несомненно расположенному к Мономаху.

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 196. Запись 1113 г. о смерти Святополка выходит за пределы канонической даты завершения труда Нестора, но идейно и стилистически она очень напоминает его творчество.

[2] ПВЛ. Ч. 2. С. 102.

[3] *Черепнин Л. В.* «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды // Исторические записки. Т. 25. М., 1948. С. 309.

* 1115 год считал годом завершения «Повести временных лет» также М. Х. Алешковский (*Алешковский М. Х.* Повесть временных лет. М., 1971. С. 24–25).

Сколь бы убедительными ни были аргументы в пользу авторства «Повести временных лет» летописца Нестора, всегда остается место и для определенных сомнений на сей счет. Традиционный метод текстологического анализа не в состоянии дать аксиоматично точный результат. Исходя из этого, в последнее время для решения проблемы авторства киевской летописи начала XII в. привлечены данные статистики различных компонентов авторского стиля. Результаты этих исследований опубликованы в 1994 г., но почему-то остались не востребованы летописеведами.[1] В первом очерке, озаглавленном «Кто был автором "Повести временных лет"?», содержатся такие выводы:

«Житие Феодосия» и «Чтение о Борисе и Глебе» стилистически очень близки между собой и бесспорно принадлежат одному автору.[2]

Статьи 1051 и 1074 гг. «Повести временных лет» так же близки к «Житию Феодосия» и «Чтению», как эти агиографические произведения близки между собой. Отличия между этими памятниками столь незначительны, что «ставят под сомнение являющееся уже традиционным мнение о том, что Печерская повесть написана не Нестором».[3] Очень высок уровень общности между «Чтением о Борисе и Глебе» и статьей 1015 г. Он даже выше коэффициента близости двух несторовых житийных текстов между собой. Факты, добытые путем применения новой методики, свидетельствуют о том, что основа летописной статьи 6523 г. создана Нестором.[4]

В целом все четыре текста (Печерская повесть, летописная статья 1015 г., «Житие Феодосия» и «Чтение о Борисе и Глебе») демонстрируют высокую взаимную стилистическую общность и являются объективным свидетельством того, что созданы они Нестором.

Что касается недатированного введения к летописи, то оно, хотя и не столь близко к остальным текстам, все же не выпадает из общей стилистики, а следовательно, версия о Несторе как его авторе не лишена основания.[5]

Исследуя вопрос авторства «Повести временных лет», следует иметь в виду, что она не дошла до нашего времени в своей оригинальной редакции. В современной летописеведческой литературе преобладает гипотеза А. А. Шахматова, согласно которой это произведение за короткое время было трижды подвергнуто редакции: Несторовой 1113 г.,

[1] От Нестора до Фонвизина. Новые методы определения авторства / Под редакцией чл.-корр. РАН Л. В. Милова. М., 1994.

[2] Там же. С. 56–57.

[3] Там же. С. 58.

[4] Там же. С. 59.

[5] Там же. С. 62.

Сильвестровой 1116 г. и неизвестного автора 1118 г. Последний, согласно А. А. Шахматову и А. С. Орлову, был монахом Киево-Печерского монастыря, духовником или близкой к Мстиславу Владимировичу личностью.[1] Новгородские и ладожские сюжеты указывают на то, что он определенное время проживал в Новгороде и в 1117 г. прибыл в Киев вместе с Мстиславом.[2] Б. А. Рыбаков не исключает возможности видеть в этом редакторе самого Мстислава.[3]

В действительности, о чем шла речь выше, у нас нет совершенно никаких данных о Сильвестровой редакции. Все изменения в тексты Нестора были внесены во время Мстиславовой редакции 1118 г., выполненной не без заинтересованного участия самого Владимира Мономаха.

С этой редакцией связывается появление в «Повести временных лет» проваряжской тенденции, которая значительно изменила содержание не только Несторового введения, но и отдельных датированных записей. Прежде всего это касается «Сказания о грамоте славянской», искусственно помещенной под 898 г. без логической связи с предыдущим и последующим летописным повествованием и внутренне противоречивого.

Слова «отъ Варягъ бо прозвашася Русью» кажутся неуклюжей вставкой, которая диссонирует со всем «Сказанием», утверждающим в нескольких местах тождество славян и Руси, языка славянского и русского. Наверное, этому редактору принадлежит переименование пути «из Грек в Варяги» — на путь «из Варяг в Греки», легенда о Рюрике и его братьях, утверждение о том, что киевские князья Аскольд и Дир были ранее воеводами Рюрика.

Во время редакции летописцем Мстислава статья 1096 г. о происхождении половцев была дополнена текстом о происхождении северных народов, представляющем собой пересказ беседы с новгородцем Гюрятой Роговичем.

Видимо, не без влияния Мстислава в «Повесть временных лет» была внесена повесть Василия об ослеплении Василька Теребовльского, выставляющая в хорошем свете Мономаха. Д. С. Лихачев, исходя из того, что в ней главным защитником ослепленного Василька выступает Владимир Мономах, и памятуя, что симпатизировать ему мог только Сильвестр, высказал предположение, что повесть появилась в летописи

[1] *Орлов А. С.* Владимир Мономах. М.; Л., 1946. С. 41.

[2] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. Пг. 1916. С. XXXVII–XVI.

[3] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 216.

во время ее второй редакции.[1] Однако если руководствоваться подобными соображениями, еще больше оснований полагать, что это произошло в 1118 г. Ведь Мстислав или его сторонник симпатизировали Мономаху никак не меньше, чем Сильвестр.

Д. С. Лихачев считал, что автор повести Василий выполнял дипломатические поручения Мономаха и был причастен к Выдубицкому монастырю.[2] К сожалению, это интересное предположение ни на чем не основано. Из самой повести это не следует, а дополнительных данных о личности Василия нет. Из его собственного свидетельства можно сделать вывод, что его пребывание во Владимире-Волынском случайно совпало по времени с нахождением там ослепленного Василька Теребовльского. «Яко приближися постъ великый, и мнѣ ту сущю, Володимери».[3]

Когда была написана эта повесть? Д. С. Лихачеву казалось, что она появилась в конце XI в. и свидетельствует о том, что погодное изложение исторических событий в летописи не было единственной и обязательной формой исторических произведений в это время.[4] Такой вывод кажется вполне логичным, вытекающим из содержания и характера изложения повести. Подробный рассказ об ослеплении Василька и связанных с ним междукняжеских коллизий как будто указывает на то, что его запись действительно должна была осуществиться вскоре после этого трагического события. Но «вскоре» это и конец XI, и начало XII в.

Больше оснований имеется для отнесения повести к началу XII в. Василий вспоминает, что, когда ослепленного Василька привезли во Владимир, он тогда был тоже там. Говоря о том, как Торчин, пытаясь ударить Василька в глаз, промахнулся и порезал ему лицо, Василий замечает: «И есть рана та на Василкѣ и нынѣ».[5] Далее в повести излагаются перипетии междукняжеской борьбы, которая продолжалась до конца XI в. и унесла жизнь сына Святополка Мстислава. Василий описывает в повести обстоятельства этого убийства, но затем в летописи отдельно говорится, что случилось это 12 июня 1099 г. Василий рассказывает также и о том, как Святополк, Владимир, Давид и Олег позвали Давида Игоревича на совет и лишили его Владимира. Это же событие изложено в летописи под 1100 г. Заканчивает повесть сообщение о смерти Давида Игоревича. «Привабиша (Святополк и Владимир. —

[1] ПВЛ. Ч. 2. С. 130.
[2] Там же.
[3] ПВЛ. Ч. 1. С. 175.
[4] ПВЛ. Ч. 2. С. 130.
[5] ПВЛ. Ч. 1. С. 173.

П. Т.) Давида Игоревича, и не даша ему Володимеря, но даша ему Дорогобужь, в нем же и умре».[1] Умер Давид Игоревич только в 1112 г.

Разумеется, последнее уточнение можно отнести на счет позднейших редакторов, однако каких-либо данных для этого у нас нет. В соединении же с другими изложенными выше хронологическими наблюдениями, ремарка о смерти Давида Игоревича может свидетельствовать о том, что свою повесть об ослеплении Василька Теребовльского Василий написал не ранее 1112 г.

В отличие от Сильвестра, ограничившегося лишь переписыванием «Повести временных лет», летописец Мстислава существенно отредактировал не только весь свод, но и хроникальные записи Нестора. Это заметно уже со статьи 1111 г. Если раньше первым всегда назывался Святополк, что было вполне естественно, исходя из занимаемого им положения великого киевского князя, то теперь первенство во всех делах отдается Владимиру. Святополк еще жив, но не ему, а Владимиру Мономаху Бог вкладывает в сердце мысль защитить Русь от поганых. «В лѣто 6619. Вложи Богъ Володимиру въ сердце, и нача глаголати брату своему Святополку, понужая его на поганых».[2] В другом месте этой же статьи летописец замечает, что Владимиру в борьбе с половцами помогали Божьи посланники — Ангелы. Он рассказывает о видении, которое привелось наблюдать Владимиру. Огненный столб стоял вначале над Трапезной Печерского монастыря, затем передвинулся на Успенскую церковь, а оттуда переместился к Городцю, где находился и сам Мономах. Это было знамение победы над погаными, которая и была достигнута.

Конечно, рассказ об огненном столбе производит впечатление вторичности, он списан с Несторовой статьи 1110 г. «Повести временных лет», но в данном случае для нас важным является то, что летописец связал это видение с предстоящей победой Владимира.

С явной симпатией относится летописец и к не совсем праведному занятию Владимиром великокняжеского стола после смерти Святополка в 1113 г. В Киев он пришел не по своей воле, а по приглашению киевлян, которые устроили ему торжественную встречу. «Володимеръ Мономахъ сѣде Киевѣ в недѣлю, усрѣтоша же и митрополитъ Никифоръ съ епископы и со всими Кияне, с честью великою».[3]

Не забытым оказался в этой части летописи и Мстислав. Под 1116 г. рассказывается об его успешном походе на Чудь и занятии им большого

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 180.

[2] Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 2. Ипатьевская летопись. М.; Л., 1998. Стб. 264.

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 276.

полона, а в статье 1117 г. сообщается о переводе Мономахом Мстислава из Новгорода в Белгород Киевский.

Подводя общий итог исследованию «Повести временных лет», можно с уверенностью утверждать, что этот летописный свод бесспорно принадлежит монаху Киево-Печерского монастыря Нестору. Его позднейшая редакция 1118 г., выполненная летописцем Мстислава Владимировича, хотя и привнесла в летопись новые исторические сюжеты и даже тексты (Повесть об ослеплении Василька Теребовльского), не смогла коренным образом изменить ее содержание и стиль.

4. Литературные и летописные труды Владимира Мономаха

Владимир Мономах не только осуществлял редакторский надзор над киевским летописанием второго десятилетия XII в., но и сам пробовал силы в этом жанре. Ему принадлежит уникальный для древнерусской исторической письменности труд, исполненный в форме летописи — автобиографии. В литературу он вошел под названием «Поучения Мономаха своим детям». Хронологически охватывает период в полстолетия, от 1066 до 1117 г. Он состоит как бы из двух частей: собственно поучения и книги путей Мономаха — краткой летописи его княжеских побед и путешествий по Руси. Перу Мономаха принадлежит также письмо к Олегу Святославичу и, по-видимому, молитвенное обращение.

Сочинения Мономаха дошли до нас в составе Лаврентьевской летописи, ставшей известной ученым-летописеведам в самом конце XVIII в. благодаря графу А. И. Мусину-Пушкину. Как явствует из приписки монаха Лаврентия, летопись представляла собой копию с древнего «Летописца», снятую по благословению суздальского епископа для великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского. Лаврентий просит читателей не бранить его за вероятные ошибки, поскольку «книгы ветшаны», а он «умъ молодъ, не дошелъ», то есть молодой и неопытный.

Археографическая судьба Лаврентьевского летописного списка и его протографа хорошо освещена во многих работах и поэтому нет нужды пересказывать ее вновь.[1] Важным для нас является только вопрос, связанный с нахождением в этой летописи сочинений Мономаха. Тут мы имеем ряд загадок, которые до сих пор не нашли удовлетворительного объяснения. В первую очередь это относится к месту расположения и последовательности изложения сочинений Мономаха. Они явно не на своем месте, вставлены в статью 1096 г., причем не в конец ее, а в середину. Чья это ошибка? Лаврентия, который предусмотрительно попросил прощение за это у читателей, или же его предшественника?

---

[1] *Приселков М. Д.* История рукописи Лаврентьевской летописи и ее изданий. Ученые записки Педагогического института им. А. И. Герцена. Т. XIX. М., 1939; *Орлов А. С.* Владимир Мономах. М.; Л., 1946.

М. Д. Приселков предполагал, что Лаврентий получил для переписки книгу, в которой эти листы находились уже не на своем месте. Первоначально сочинения Мономаха, как он думал, находились в начале «Летописца», но затем при обветшании книги эти тексты могли быть вложены в случайное место. Наверное, в реальной жизни все так и было за исключением «случайности» места переложения листов. Ведь попали они именно в текст статьи 1096 г., а не в какой-либо другой. Следовательно, прежде чем вставить оторвавшиеся листы в книгу, летописец ознакомился с их содержанием и попытался найти им надлежащее место. Вероятнее всего, своим новым местом в летописи сочинения Мономаха обязаны его письму к Олегу Святославичу. В отличие от последующих исследователей древний летописец интуитивно почувствовал, что послание Мономаха мятежному князю Олегу предшествовало княжескому съезду в Любече, состоявшемуся в 1097 г.

Труднее объяснить, почему письмо к Олегу Святославичу помещено после «Поучения» и «Летописи путей», а не перед ними, что сегодня кажется вполне естественным. Возможно, причиной этому было отсутствие в этих текстах отчетливых хронологических определений, а может, сочинения Мономаха изначально были сшиты именно в такой последовательности. Первым как наиболее значительное шло «Поучение», затем «Летопись путей» и только последним — «Письмо к Олегу Святославичу». Завершало сборник небольшое «Моление».

Исследователей давно интересует вопрос, когда сочинения Мономаха оказались в летописи. А. А. Шахматов полагал, что составитель Лаврентьевской летописи имел в своих руках так называемый «Владимирский полихрон начала XIV в.», который содержал мономаховы тексты. Первоначально же они были включены в летопись еще на этапе редакции «Повести временных лет» летописцем Мономаха — Мстислава и вписаны в конец свода.[1]

Такое предположение не кажется убедительным. Если бы сочинения Мономаха вносились в летопись уже в 1117–1118 гг., то они были бы введены в нее более органично. Письмо к Олегу заняло бы место в статье 1096 г., а «Поучение» и «Летопись путей» вошли бы в статью, соответствующую времени редактирования «Повести временных лет» летописцем Мономаха — Мстислава. Скорее всего произведения Владимира Мономаха в древнерусское время жили своей отдельной от летописи жизнью и оказались в ней только благодаря деятельности позднейших суздальских хронистов. Наверное, Лаврентия. В пользу такого вывода свидетельствует тот факт, что сочинения Мономаха сохранились в составе лишь одного Лаврентьевского списка. Будь они включены

[1] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. Пт. 1916. С. XLI.

в древнерусскую летопись уже в 1117–1118 гг., они непременно были бы в составе Ипатьевской летописи, в которой последняя редакция «Повести временных лет» сохранилась наилучшим образом, а также и в других общедревнерусских летописных списках.

После краткого вступления, поясняющего авторское отношение к истории включения сочинений Мономаха в летопись, перейдем к их историческому анализу.

Письмо Олегу Святославичу. Сохранилось оно не полностью, что породило различные суждения о его датировке и текстовом объеме. Издатели Лаврентьевской летописи 1926 г. относили написание письма к 1098 г., а за начало его принимали слова «но все дьяволе наученье». На такую мысль их натолкнуло то обстоятельство, что указанные слова шли сразу же за пропуском текста в полторы строчки. И. И. Срезневскому казалось, что письмо Мономаха начиналось словами «да се ти написах зане принуди мя сын мой». Первые издатели полагали, что началом письма следует считать восклицание: «О многострастныи и печальны азъ». Впоследствии эта мысль была поддержана и развита И. М. Ивакиным, считавшим, что такой молитвословный зачин являлся отражением душевного состояния Мономаха, узнавшего о смерти сына.[1]

Конечно, письмо писалось Мономахом под впечатлением этой смерти, случившейся под Муромом 6 сентября 1096 г., и в надежде на привлечение Олега Святославича к участию в съезде князей. Мысль обратиться к черниговскому князю с грамотой, признается Мономах, подсказана ему сыном Мстиславом. Убедившись в бесплодности борьбы с Олегом, Мономашич заключает с ним мир, просит примириться с Владимиром и другими русскими князьями. При этом Мстислав готов простить Олегу и смерть брата. «Азъ пошлю молитися з дружиною своею къ отцю своему и смирю тя со отцомь моим, аще и брата моего убил еси, то есть недивьно, в ратех бо и цари и мужи погибають».[2]

Характерно, что такой же тональностью отличается и письмо Владимира Мономаха, как будто оба текста написаны одним человеком или по ним прошлась одна редакторская рука. В письме проводится идея братолюбия и прощения грехов. Мономах вслед за сыном смиряет свою обиду и заявляет, что мстить за смерть сына не будет: «Судъ от Бога ему (Изяславу. — *П. Т.*) пришел, а не от тебя». Продолжая эту мысль, Мономах почти дословно повторяет слова Мстислава: «Дивно ли, оже мужь умеръ на полку ти?»

---

[1] *Ивакин И. М.* Князь Владимир Мономах. Ч. 1. М., 1901. С. 3–4.

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 237–238.

Единственное, чем озабочен Владимир, это судьба Русской земли. Ради нее он кается в своих прегрешениях и призывает Олега сделать то же самое. А еще прибыть на княжеский съезд. При этом Мономах сообщает, что он уже сослался с Давидом Святославичем, но тот не может «рядитися» без брата.

Исследователи согласно отмечают дружелюбный и примирительный тон письма и полагают, что написано оно было через какое-то время после гибели Изяслава, когда горе успело смягчиться в сердце Мономаха. И. М. Ивакин думал, что это случилось в декабре–январе 1096 г. еще до решающей битвы между Мстиславом и Олегом на Колокше. В пользу этого он приводит слова из письма Мономаха «Аки хочеши тою (Мстислава и Юрия Владимировичей. — *П. Т.*) убити» — которые будто бы указывают на то, что борьба еще не окончена и участь Изяслава могли разделить также и его братья.

Вряд ли это серьезный аргумент в пользу предложенной даты написания письма Мономахом. Успех в битве под Муромом вскружил голову Олегу и он не желал идти на мировую. На грамоту Мстислава, в которой он предложил смирить Олега с Мономахом, черниговский князь ответил отказом. Невозможно предположить, чтобы, получив такой ответ, Мстислав стал уговаривать отца смириться с Олегом. Ведь у самого его высокомерие Олега вызвало сильный гнев и желание силой вынудить его к мирным переговорам. Собрав войско, он двинулся в Северо-Восточную Русь. Не принимая боя, Олег отступил сначала к Ростову, затем Суздалю, а вскоре, отдав приказ зажечь город, бежал к своему родовому владению Мурому. Преследуя Олега, Мстислав направил ему из Суздаля предложение прекратить войну и заключить мир. Он вновь заявляет, что готов стать посредником между Олегом и Мономахом.

На этот раз Олег ответил согласием, хотя, как уверяет летописец, сделал это неискренне. Мстислав поверил ему и распустил свою дружину по селам. Очень скоро он пожалел об этом, Олег нарушил свое слово и выступил против Мстислава. Об этом коварстве стало известно в Киеве и Мономах немедленно двинул в помощь Мстиславу половецкий корпус под водительством младшего сына Вячеслава.

В состоявшейся битве на Колокше Олег потерпел сокрушительное поражение и вынужден был просить мира, на этот раз уже без лести. Мстислав еще раз предлагает свои посреднические услуги. «Не бѣгай никаможе, — говорит он Олегу, — но пошлися к братьи своеи с мольбою не лишать тя Русьскыѣ земли, и азъ пошлю к отцю молитися о тобѣ».[1]

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 240.

Олег пообещал исполнить волю Мстислава, и последний, посчитав свою миссию исполненной, вернулся сперва к Суздалю, а затем и вовсе ушел в Новгород. Было это, как замечает летописец, на исходе 1096 г. Только теперь сложились условия для мирной переписки. Мстислав отослал отцу грамоту с просьбой примириться с Олегом, а Мономах смог приняться за сочинение своего обширного послания. Наверное, это было уже весной 1097 г. В письме Владимир приглашает Олега на княжеский поряд и вслед за ним в летописи в статье 1097 г. сообщается о том, что такая встреча с участием черниговского князя действительно состоялась.

Идейно письмо Мономаха Олегу Святославичу близко к «Поучению» и может рассматриваться как его предтеча. Есть в обоих текстах и общие места.

Письмо: «Днесь живи, а утро мертви, днесь в слав'Ѣ и въ чти, а заутра в гроб'Ѣ».[1]

Поучение: «Но рц'Ѣмъ: смертни есмы, днесь живи а заутра в гроб'Ѣ».[2]

«Поучение Мономаха своим детям». Это уникальное произведение явилось результатом раздумий Мономаха о судьбах Русской земли и было создано им не без влияния древних поучений, известных на Руси в переводах с греческого языка. От них позаимствована форма литературного произведения, а отчасти и содержательное наполнение. Особенно заметна приверженность Мономаха к трудам Василия Великого, с которыми он мог познакомиться по Изборнику Святослава 1076 г. Он ссылается на своего тезоименитого предшественника, заимствует у него отдельные высказывания. Начиная от слов «якоже бо Василий учаше» и до слов «умертви гр'Ѣхъ» текст целиком взят из Поучения Василия Великого. Много в «Поучении» также цитат из Псалтыри. В свое время возникла мысль, что Мономах пользовался этой книгой как гадательной. На нее исследователей навели слова «Поучения», сообщающие о том, как Мономах, отпустив посланцев от братьев, обратился к Псалтыри. «И отрядивъ я, вземъ псалтырю в печали, разгнухъ я, и то ми ся выня: всякую печалуеше душе, всякую смущаеши мя? И прочая. И потомъ собрах словца си любая и складохъ по ряду и написах».[3]

Вряд ли есть необходимость продолжать здесь примеры заимствования или параллелей из библейской и церковно-отеческой литературы, которыми воспользовался Мономах при написании своего «Поучения». Ценность его не в этом, а в том, что вся эта вековая церковная

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 164.
[2] Там же. С. 157.
[3] Там же. С. 153.

мудрость подчинена цели научения детей добрым делам на благо родной земли. Владимир размышляет над вечной проблемой добра и зла, праведника и грешника. Словами из Псалтыри он призывает: «Уклонися от зла, створи добро, взыщи мира и пожени и живи в вѣкы вѣка» и верит в торжество добра: «И еще мало — и не будеть грѣшника; взыщеть мѣста своего, и не обрѣщеть. Кротции же наслѣдять землю, насладяться на множьствѣ мира».[1]

Обращения Мономаха к своим детям в ряде мест сливаются с молитвами к Богу и Богородице, у которых он просит спасения, защиты от врагов, людей, творящих беззаконие, живущих неправдой и коварством из-за собственной гордыни и мирской суеты. «О Владычице Богородице! Отъими от убогого сердца моего гордость и буесть, да не възношюся суетою мира сего; в пустошнѣмь семь житьи. Научися, вѣрный человѣче, быти благочестию дѣлатель».[2]

От высоких абстракций Мономах переходит к конкретным наставлениям своим детям. Они должны жить по справедливости, думать о бедных и униженных, о сиротах и вдовах, не позволять сильным мира сего оскорблять людей. Он призывает к верности крестоцелованию. «Аще ли вы будете крестъ целовати у братьи или к кому, а ли управивъше сердце свое, на нем же можете устояти, тоже цѣлуйте, и цѣловавше блюдѣте, да не приступни погубите душѣ своеѣ».[3]

Мудрый князь призывает своих детей не иметь гордыни в своем сердце и уме, подчеркивает быстротекучесть земной жизни и славы: «Смертни есмы, днесь живи, а заутра в гробѣ». Все, чем обладает человек, не его, но Божье: «Се все, что ны вдалъ, не наше, но твое, поручилъ ны еси на мало дный».[4] Для Мономаха важным является сохранение души: «Лжѣ блюдися и пьянства и блуда, в томъ бо душа погыбаеть».[5]

Мономах просит молодых князей не лениться и не препоручать свои заботы помощникам. В качестве доброго примера он приводит своего отца Всеволода, который, сидя дома, изучил пять языков. Что знаете, говорит он детям, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.

Не забыл Владимир отметить и свои добродетели. Он не полагался на посадников или биричей, но сам творил, что было необходимо. Не давал сильным в обиду ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Всегда примерно исполнял церковные обряды и службы.

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 153–154.
[2] Там же. С. 155.
[3] Там же. С. 157.
[4] Там же.
[5] Там же.

Наверное, Мономах не во всем соответствовал своему же литературному образу, однако он полагал, что именно таким должен быть князь. В завершение «Поучения» он просит детей и всех, кто прочтет его труд, творить добрые дела и Бог им отплатит тем, чем отплатил ему. «Не хвалю бо ся ни дерзости своея, но хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя гр'ѣшнаго и худаго селико л'ѣт сблюл от т'ѣхъ часъ смертныхъ, и не л'ѣнива мя былъ створилъ худаго, на вся д'ѣла челов'ѣчьская потребна».[1]

Исследователей давно занимает вопрос времени создания этого удивительного литературного произведения. Со времен Н. М. Карамзина в литературе бытует мнение, что «Поучение» написано Мономахом в 1117 г. В его подтверждение исследователи приводили такие аргументы: счет походов Мономаха доведен до 1117 г., Мстислав назван «дитям новгородским», а переехал он в Белгород только в 1117 г., и, наконец, сам характер произведения с его «стариковскими интонациями».

М. П. Погодин, исходя из того, что «Поучение», как утверждает сам Мономах, задумано в дороге на Волгу, и принимая во внимание слова братьев «потъснися къ нам да выженемъ Ростиславича», — которые могли быть сказаны, когда Мономах еще не был великим князем, полагал, что наиболее подходящим моментом для этого сочинения был 1099 г. Описание же в «Поучении» событий от 1099 по 1117 г. М. П. Погодин считал позднейшей вставкой. Иначе, как ему казалось, невозможно объяснить, почему до 1099 г. Мономах подробно описал свои походы, а собственному княжению он посвятил только четыре строки.[2]

М. П. Погодина и других исследователей смущала фраза «И се нын'ѣ иду Ростову». Настоящее ее время будто бы вызвано тем, что именно на этом пути в Ростов Мономах написал свое «Поучение». В последующем такое прочтение фразы было признано ошибкой переписчика. А. С. Орлов, а также Д. С. Лихачев полагали, что в оригинале фраза стояла в прошедшем времени: «И — Смолиньска идохъ Ростову».

Впоследствии обе даты обрели своих сторонников и противников. С. М. Соловьеву предпочтительнее казалась ранняя дата. Правда, он несколько уточнил ее, полагая, что «Поучение» было написано после Витачевского съезда 1100 г., покончившего с усобицами.[3] И. М. Ивакин поддержал идею, что Мономах писал это завещание детям в преклонных годах, то есть после 1117 г., когда ему шел уже седьмой десяток.

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 163.

[2] *Погодин М. П.* О Поучении Мономаховом. Известия Отделения русского языка и словесности АН. Т. X. СПб. 1861–1863. С. 235.

[3] *Соловьев С. М.* Сочинения. Книга I. История России с древнейших времен. М., 1988. С. 370.

А. А. Шахматов высказал мысль, что Мономах начал свое «Поучение» еще в 1096 г., но продолжал его до 1118 г., когда оно было внесено в летопись.

Д. С. Лихачев, приведший в своих комментариях к «Повести временных лет» подробный историографический обзор трудов, затрагивающих дату создания «Поучения», пришел к выводу, что этот свой труд Мономах написал не позже 1117 г.[1]

Необычный подход к хронологии «Поучения» продемонстрировал Б. А. Рыбаков. Согласно ему, начало и заключительная часть этого произведения написаны около 1099 г. и представляли собой своеобразную предвыборную программу князя — претендента на киевский трон.[2] Ему не кажется убедительным аргумент в пользу позднего сочинения «Поучения», указывающий на «старческие» его интонации. Ведь даже в случае принятия ранней даты Мономах к концу XI в. имел больше чем тридцатилетний княжеский опыт и был уже дедом. Что касается даты 1117 г. летописи путей Мономаха, то она, по мнению ученого, указывает только на то, что в этом или близком к нему году была завершена личная летопись Мономаха, которая не обязательно должна была совпадать по времени с собственно «Поучением». Последнее писалось отдельно, как самостоятельное произведение. Б. А. Рыбакову кажется не случайным, что Мономах в самом начале своего «Поучения» рассказывает о приглашении князей принять участие в походе против Ростиславичей, которое застало его на Волге. Здесь имеется в виду поход Святополка на Василька и Володаря Ростиславичей, который великий князь осуществил в 1099 г. Участвовать в неправедном походе Мономах отказался и, погадав на Псалтыри, якобы приступил к написанию «Поучения».

В подобных рассуждениях есть определенная логика. Не исключено, что мысль обратиться к князьям с призывом к братолюбию и заботе о Русской земле действительно могла появиться у Мономаха под впечатлением его отказа присоединиться к походу против Ростиславичей. В пользу этого как будто говорит фраза: «Сѣдя на санех, помыслих в души своей». Однако в пути такой значительный литературный труд, требовавший серьезной подготовки, наличия под рукой хорошей библиотеки, конечно же, создать невозможно. Да и приведенные выше слова Мономаха не следует понимать буквально. Это литературная метафора, образ завершения земного пути.

---

[1] ПВЛ. Ч. 2. С. 431.

[2] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963. С. 267–272.

В свое время Н. М. Карамзин вроде бы так и понимал эти слова, но его смущала следующая похожая фраза «Поучения»: «На далечи пути, да на санех сѣдя безлѣпицу си молвилъ».[1] Из нее он сделал вывод, что Мономах написал свою грамотицу, готовясь к походу на Ростов. И. М. Ивакин склонялся к переносному толкованию первой фразы — «седя на санехъ» = «приближаясь к гробу», — но вторую понимал буквально. При этом доказывал, что в ней идет речь не о первом походе Мономаха к Ростову, а о втором, который имел место в 1102 г.

Д. С. Лихачев понимал слова «седя на санехъ» как выражение образное, которое могло иметь два значения: либо «во время зимнего пути» вообще, либо «в преклонных годах», «на краю смерти». Пытаясь определить, в каком смысле оно употреблено в данном контексте, Д. С. Лихачев склонялся ко второму пониманию этого выражения. Это завещание Мономаха, в котором он подводит итог не только своим «путям» и «ловам», но и всему житейскому и государственному опыту.[2]

На Руси имел распространение обычай перевозить тело умершего к месту погребения на санях. Так хоронили Владимира Святославича в 1015 г., Изяслава Ярославича в 1078 г., Святополка Изяславича в 1113 г. На сани, как тонко подметил Д. С. Лихачев, клали также и умирающего. Это хорошо показано летописцем в рассказе о смерти Феодосия Печерского. Почувствовав приближение смерти, Феодосий повелел вынести себя на двор, а братия положила его на сани и занесла в церковь. Затем Феодосий, находясь на санях, обратился к монастырской братии с последней волей.[3]

В пользу поздней даты сочинения Владимиром «Поучения» свидетельствует продолжение цитированной выше фразы, которое следует понимать уже буквально: «И похвалих Бога, иже мя сихъ днев, грѣшного, допровади». Н. В. Шляков, предложивший датировать «Поучение» 1106 г., полагал, что эти слова могли указывать на «пост».[4] Думается, больше оснований утверждать, что Мономах благодарит Бога за то, что он дожил до такого почтенного возраста. В конце «Поучения» он еще раз выразит эту мысль, но уже более определенно: «Но хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя грѣшнаго и худаго селико лѣт сблюл от тѣхъ часъ смертныхъ».[5]

---

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 153.
[2] ПВЛ. Ч. 2. С. 433.
[3] ПВЛ. Ч. 1. С. 124.
[4] *Шляков Н. В.* О «Поучении» Владимира Мономаха // ЖМНП. 1900. Ч. CCCXXIX , № 5, отд. 2.
[5] ПВЛ. Ч. 1. С. 163.

О том, что «Поучение» написано пожилым человеком, думающем уже о душе, видно из его содержания. Мысль о смерти и спасении души пронизывает все его произведение: «Смертны есмы, днесь живи, а заутра в гроб'ѣ», «Смерти бо ся, д'ѣти, не боячи», «А же от Бога будет смерть, то ни отець ни мати, ни братья не могут отьяти», «Над мертвеця ид'ѣте, яко вси мертвени есмы». В душах своих страх имейте и не губите их неправедными делами, призывает Мономах своих сыновей.

Есть основания предположить, что «Поучение» написано не просто пожилым человеком, но уже готовившимся покинуть этот свет. Это политическое завещание «цесаря» Русской земли, которому не безразлична будущая судьба его страны. Не случайно обращение к сыновьям перерастает эти узкие рамки и адресуется фактически всем русским князьям.

После 1117 г. Владимир Мономах занимал великокняжеский киевский стол еще восемь лет и его завещание кажется немного преждевременным. Это смущало сторонников поздней даты «Поучения», а поэтому они чаще утверждали, что оно написано после 1117 г. Первый издатель А. И. Мусин-Пушкин, руководствуясь свидетельством летописи о том, что последний поход в Северо-Восточную Русь Мономах осуществил в 1119 г. и, будучи убежден в непосредственной связи этого похода с замыслом «Поучения», утверждал, что «писана сия грамота между 1119 и 1125 годом».

Думается все же, что при определении точной даты написания Мономахом «Поучения» предпочтение следует отдать 1117 г. Мы имеем здесь в виду не время рождения замысла этого произведения, которое может относиться и к 1099 г., или работы над этим необычным литературным трудом, на что, возможно, ушел не один год, а именно время его завершения.

Так думать позволяет нам следующее обстоятельство. В 1117 г. Мономах срочно переводит на юг Руси старшего сына Мстислава, княжившего больше двадцати лет в Новгороде. «В л'ѣто 6625. Приведе Володимеръ Мьстислава из Новгорода, и дасть ему отецъ Б'ѣлъгородъ».[1] Не может быть и малейшего сомнения в том, что Мономах рассчитывал закрепить за сыном Киев. Разумеется, не передать ему при своей жизни — такого древнерусская практика престолонаследия не знала, — а иметь его под рукой на случай своей смерти. Срочность с переводом свидетельствует, что Мономах не исключал своего скорого ухода из жизни. Мы не знаем, что было причиной этому — старческая мнительность или же Мономах мог почувствовать резкое ухудшение своего

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 284.

здоровья. Косвенным подтверждением этому может быть просьба Мономаха, обращенная к Богу, продлить его жизнь, чтобы он мог покаяться в своих грехах и оправдать свою жизнь. «И еще Господи, приложи ми лѣто къ лѣту, да прокъ, грѣховъ своихъ покаявъся, оправдивъ животъ, тако похвалю Бога».[1]

О том, что Владимир подводил итог своей политической жизни в 1117 г., свидетельствует и летопись его путей. Она доведена только до этого года и хотя не являлась собственно «Поучением», была объединена с ним в качестве его органической части для назидания своим детям.

Смена власти в Киеве в 1117 г., как известно, не состоялась. Бог продлил годы жизни Владимира, но литературным и летописным творчеством он уже не занимался. Н. В. Шляков объяснял это тем, что Владимир, отправляя в 1119 г. своего последнего и любимого сына Андрея княжить во Владимир Волынский, благословил его своим «Поучением», которое было в единственном списке. Вряд ли это предположение заслуживает серьезного обсуждения. Ведь даже если бы труд Мономаха действительно был в одном экземпляре, что совершенно невероятно, ибо предназначался он многим адресатам, полагать, что передача его в другие руки лишила его возможности продолжить свое любимое занятие, нет оснований. Истинную причину отхода Мономаха от собственного летописания, по-видимому, выяснить так и не удастся. Можно только догадываться, что Владимир в это время заинтересовался летописью Печерского монастыря и, под своим и Мстиславовым присмотром, занялся ее редактированием. Продолжать перечень своих подвигов не было нужды, так как это с великим усердием делалось теперь его летописцем. Не исключено также, что у престарелого Мономаха на продолжение собственного творчества уже не было сил.

Летопись путей. Перед нами бесспорно самостоятельное произведение, общий хронологический диапазон которого составляет более пятидесяти лет. Первая запись касается событий 1066 г., когда Владимир 13-летним мальчиком ехал «сквозе Вятичи» в Ростов, а последняя сообщает о его походе на Ярослава Святополковича к Владимиру Волынскому в 1117 г. Уникальность летописи путей заключается в том, что она написана как автобиографическое произведение. Мономах рассказывает о самом себе.

Собственно летописные достоинства произведения Мономаха весьма скромны. Летопись слишком лаконична и не отличается широтой охвата событий. В «Повести временных лет» история Руси 1066–1117 гг.

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 158.

представлена неизмеримо полнее и ярче. И тем не менее нельзя смотреть на «Летопись путей» как на краткий конспект того, что нам уже известно. В ней есть оригинальные сведения, существенно дополняющие летопись. К числу таковых относятся свидетельства о вокняжении Владимира в 13-летнем возрасте в Ростове (1066 г.); о переводе его (около 1069–1070 гг.) в Смоленск, а затем и во Владимир Волынский (1073 г.); о возвращении Мономаха после смерти Святослава (1076 г.) в Смоленск; о рождении старшего сына Мстислава (1076 г.); о потере им Чернигова и переходе в Переяславль (1094 г.); о походах на половецкого хана Урусобу (1107–1109 гг.) и Боняка (1107 г.) и др.

У Мономаха имеются также сведения, дополняющие летописные. Под 1076 г. в «Повести временных лет» читаем: «Ходи Володимеръ, сынъ Всеволожъ, и Олегъ, сынъ Святославль, ляхомъ в помочь на чехы». В летописи Мономаха это событие рассказано существенно подробнее. Из него узнаем, что чешский поход длился четыре месяца, а русские дружины достигли Чешского леса возле Гологовы. Под Чешским лесом следует понимать лес Силезско-Моравских гор, а под Гологовой — город Глогау на Одере. Особый интерес вызывает сообщение о том, что после заключения мира с Тугорханом (1094 г.) Владимир «у Гл҃бовой чади пояхом дружину свою всю». Русское имя Глеб принадлежало в данном случае какому-то половецкому воеводе. Летописное известие 1107 г. о смерти жены Мономаха дополняется тем, что это была мать младшего сына Юрия («и Гюргева мати умре»).

Княжеская карьера Владимира Всеволодича была богатой на события. Только за первые 12 лет он сменил пять удельных городов, совершил, согласно Б. А. Рыбакову, 20 больших «путей» и проскакал от города к городу не менее 16000 км (не считая внутренних разъездов). Этот период его княжеской жизни характеризуется участием во многих военных кампаниях как внутри страны, так и за ее пределами. Он воюет с Всеславом Полоцким, защищает западные русские земли (Берестье) от поляков, четыре месяца проводит в походе против чехов, сражается с черниговскими князьями на Нежатиной ниве и, обретя в ней победу, утверждается в 1078 г. на черниговском столе.

Шестнадцатилетний черниговский период княжения описан Мономахом на удивление скупо, к тому же со значительными пропусками. Судя по географии его походов, он, как считает Б. А. Рыбаков, был не столько черниговским князем, сколько правой рукой Всеволода, выполнял его поручения. Из коротких записей явствует, что Мономах в этот период не только воевал с половцами, но и пользовался их помощью в междоусобной борьбе. Отдельные записи отличаются необычной откровенностью, которая явно диссонирует с пафосом «Поучения». «И на ту осень (1084 г. — *П. Т.*) идохом с черниговци и с половци с Чит҃еви-

чи к М'ѣньску; изъ'ѣхахом городъ и не оставихом у него ни челядина, ни скотины».[1]

Неудачу первого столкновения с половцами под Прилуками Мономах объясняет тем, что его войско не успело соединиться с обозом оружия, который был отправлен наперед. «И хот'ѣхом с ними ради битися, но оружье бяхомъ услали напередъ на повоз'ѣхъ».[2] Пришлось спешно укрываться в городе.

Более подробно описал Мономах свой уход в 1094 г. из Чернигова. Сделал он это якобы по двум причинам: не хотел проливать кровь христианскую и решил восстановить историческую справедливость, уступив Чернигов его законному обладателю Олегу Святославичу. В действительности это был вынужденный поступок, так как все обернулось против него. Битву за Чернигов он, по существу, проиграл, а черниговцы в любую минуту были готовы от него отступиться. То, что с Мономахом ушло из города только 100 дружинников (с женами и детьми), подтверждает сказанное.

Особый интерес для определения хронологии создания летописи Мономаха имеет следующая запись. «И с'ѣд'ѣхъ в Переяславли 3 л'ѣта и 3 зимы, и с дружиною своею, и многы б'ѣды прияхом от рати и от голода».[3] Если бы эта часть летописи писалась в 1117 г., справедливо замечает Б. А. Рыбаков, то такое определение было бы странным и непонятным, ведь мы знаем, что Мономах просидел в этом городе 19 лет.

Конечно, эта статья была написана не в 1117 г. Скорее всего, как и полагал Б. А. Рыбаков, она появилась в 1097 г., когда закончились переяславльские три лета и три зимы.[4] Но ведь и невозможно на этом основании утверждать, что вся летопись написана Мономахом в 1117 г. Она, в полном соответствии с жанром, составлялась в течение многих лет. Судя по всему, Мономах не был особенно прилежным хронистом. В его работе над летописью были перерывы, возможно фиксируемые пустыми годами самой летописи.

Как определил Б. А. Рыбаков, разделивший записи летописи на шесть групп, таких пустых лет было довольно много. Между первой (1066–1078 гг.) и второй группами (1084–1086 гг.) имеем пропуск в пять лет, между второй и третьей (1093–1110 гг.) — семь, между третьей и четвертой (1110–1117 гг.) — также семь, пятая и шестая группы разделены двумя пустыми годами — 1114-м и 1115-м. Можно согласиться с Б. А. Рыбаковым в том, что перед нами не дневник Мономаха, в кото-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 160.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 161.
[4] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 270.

рый из года в год вносились записи, как считал А. А. Шахматов, а летопись, писавшаяся им от одной надобности к другой.[1]

«Надобности» эти обусловливались в первую очередь стремлением осветить события, к которым имел непосредственное отношение сам Мономах. Особенно подробно он описал свои деяния в период правления Святополка Изяславича. Б. А. Рыбаков считает, что в записях этого времени вполне отчетливо просматривается попытка бросить тень на представителей двух старших княжеских линий — Изяславичей (Святополка) и Святославичей (Олега).

Из летописи Мономаха этого не следует. Наоборот, в ней заметна его подчеркнутая корректность к своим двоюродным братьям. Будучи известным и популярным на Руси не менее великого князя Святополка, Мономах признает его формальное первенство и подчеркивает это. Более того, период после смерти Всеволода Ярославича он определяет как время Святополка: «И пакы по отни смерти и при Святополцѣ, на Стугнѣ бившеся съ половци до вечера бихомъ у Халѣпа».[2] Рассказывая о походах на половцев, он неизменно отмечает, что делал это совместно со Святополком: «И пакы, с Святополком гонихом по Боняцѣ»; «Пришед из Ростова, пакы идох на Половци на Урусобу с Святополком»; «Потом ходихом к Воиню с Святополком, и потом пакы на Дон идохом с Святополком».[3]

Конечно, смысл летописи Мономаха не в том, чтобы унизить кого-то из своих вельможных современников, а в том, чтобы четче определить свое место в происходящих событиях. Особенно значительной кажется ему собственная роль в деле защиты Руси от половцев. Мономах хвалится своими мирными деяниями. Он заключил с половецкими ханами «безъ одиного 20» мирных договоров, отпустил из русского плена их «лѣпших князей» более 100, сохранил жизнь двум братьям Шаруканьевым, трем братьям Багубарсовым и четырем братьям Осеневым. При этом читатель понимает, что мирным договорам предшествовали победные сражения, а великодушному прощению врагов — их пленение Мономахом.

Выше отмечалось, что Мономах излишне разоткровенничался в сообщении о взятии около 1084 г. Минска, о той жестокости, которую он проявил по отношению к побежденным. Разумеется, он понимал, что подобные сообщения не украшают его образ, а поэтому не злоупотреблял такими деталями. Наоборот, в ряде мест он сознательно ушел от

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 271.
[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 160.
[3] Там же. С. 161.

подробного рассказа. О походе к Владимиру Волынскому сказано: «И потом ходивъ Володимерю пакы Ярополка посадих, и Ярополкъ умре».[1]

В действительности, как свидетельствует статья 1086 г. «Повести временных лет», Мономах не посадил Ярополка во Владимире-Волынском, а изгнал из него за ослушание великому киевскому князю Всеволоду. При этом вывез в Киев его мать, жену, дружину и казну («имѣные вземъ его»). Ярополк не просто «умре», а был коварно убит неким Нерадцем через несколько дней после того, как примирился с Мономахом и вернулся во Владимир. Нестор, сообщив, что треклятый Нерадец бежал в Перемышль к Рюрику Ростиславичу, как будто намекает о перемышльском следе этого убийства. Однако очень может быть, что не обошлось тут и без киевской подсказки. И видимо, вовсе не случаен такой лаконизм Мономаха, не решившегося сказать, что Ярополка Изяславича убили.

В этом же ряду мономаховых недомолвок стоит и известие 1095 г.: «И пакы Итлареву чадь избивше, и вежи ихъ взяхом, шедше, за Голтавом».[2] Неосведомленный читатель может подумать, что «Итларева чадь» была избита во время похода Владимира на половцев. На самом деле этой краткой фразой он прикрыл беспрецедентное коварство русских князей (и Мономаха в том числе), пригласивших половецких ханов Итларя и Кытана на переговоры и убивших их. Случилось это в Переяславле, когда князем там был Владимир Мономах. Вот почему он в своей летописи и не стал распространяться по поводу этого, не красящего его поступка.

После сообщения о походе Владимира на Ярослава Святополковича в 1117 г. в летописи помещены тексты, жанрово и стилистически отличные от предыдущего изложения. Да и между собой они не очень связаны. Вначале Мономах похваляется тем, что около ста раз ездил из Чернигова к Киеву и проделывал этот путь от заутрени до вечерни: «А и — Щернигова до Кыева нестишьды ѣздих ко отцю, днемъ есмъ переѣздилъ до вечерни».[3] Затем как бы подводит итог своей антиполовецкой борьбе, после чего помещает не вытекающий из предыдущего рассказ о том, каким бесстрашным он был охотником. Завершает летопись текст, очень напоминающий все «Поучение». В нем звучит та же тема «доброго князя», радеющего за своих подданных, содержится то же моральное назидание своим детям. Обращаясь к ним, Мономах выражает надежду, что он недаром написал свое «Поучение». «Да сю грамотицю

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 160.
[2] Там же. С. 160.
[3] Там же. С. 162.

прочитаючи, потъснѣтеся на вся дѣла добрая, славяще Бога с святыми его».[1]

Последние наблюдения позволяют предположить, что «Летопись путей» была объединена с «Поучением» самим Мономахом. Она не механически приложена к «Поучению», как, вероятно, поступил бы позднейший сводчик древних текстов, но органически была введена в его ткань. Для этого Мономаху пришлось перенести несколько заключительных фраз собственно «Поучения» в конец «Летописи». Не исключено, что уже на этапе завершения работы над объединением текстов Мономах дополнил свое расширенное «Поучение» сюжетами, подводившими итог его подвигам в борьбе с половцами, а также на охотничьем поприще.

Наличие в объединенном произведении заметных швов, а также неотредактированных текстов, которые диссонируют с общим его пафосом, указывает на то, что Мономах спешил с завершением этой работы.

Молитвенное обращение. Находится в Лаврентьевской летописи за письмом к Олегу Святославичу. Начинается словами: «Премудрости наставниче» и заканчивается: «О Христѣ Исусѣ господѣ нашемъ, ему же подобаеть честь и слава, отцю и сыну и святому духу, всегда и нынѣ, присно, вѣкъ».[2] В молитве нет никаких данных, указывающих на Мономаха как ее автора. Исследователи пришли к такому заключению на основании того, что молитва непосредственно примыкает к посланию Олегу, а также что она, как и другие произведения Мономаха, находится только в одной Лаврентьевской летописи.

В. А. Воскресенский видел в молитве и смысловые созвучия с мономаховым «Поучением». Молящий обращается к Иисусу Христу, а также к пресвятой Богородице с просьбами утвердить его в разуме, простить прегрешения, помиловать падшего и погибшего. Отчетливо звучит также тема Божьего заступничества. Бог ведает мысли, обличает дела, очищает грехи, вершит суд сироте, убогому и нищему. Обращения к Богу и Богородице в молитве как бы чередуются, что напоминает аналогичный стилевой прием «Поучения». Почти дословно в обоих произведениях воздается хвала Господу за его человеколюбие. «Поистинѣ, дѣти моя, разумѣйте, яко ти есть человѣколюбець Бог милостив и премилостив» (Поучение). «Егда сядеши судити дѣла моя, яко безгрѣшен и милостивъ, яко Богъ и человѣколюбець» (Молитва).

Молитва составлена на основании заимствований из Псалтыри, Триоди Постной, Акафиста Богородице, что также сближает ее с «По-

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 163.
[2] Там же. С. 167.

учением», особенно его первой частью. На этом основании Н. В. Шляков считал, что молитва является прямым продолжением и окончанием «Поучения».[1] То, что в Лаврентьевской летописи молитва находится за письмом к Олегу Святославичу, он объяснил разброшюровкой сборника Мономаховых трудов и случайным помещением ее монахом Лаврентием на новое место.

Предпочтительнее выглядит суждение на этот счет первого издателя сочинений Мономаха А. И. Мусина-Пушкина. «За сим (Посланием к Олегу. — *П. Т.*), — замечает он, — следует молитва, которая хотя, по-видимому, к "Поучению" или "Посланию к Олегу..." и не принадлежит, но как оная в летописи под одною статьею написана, то потому и здесь помещается».[2]

Вряд ли можно сомневаться в том, что молитва представляет собой самостоятельное произведение и к «Поучению» непосредственного отношения не имеет. В сборник трудов Мономаха она, наверное, была вставлена в том же 1117 г. и, как наименьшая по объему, помещена в самом его конце. Не исключено, что Мономах мог и сознательно завершить свои сочинения этой молитвой, которая являлась своеобразным апофеозом его духовного завещания.

[1] *Шляков Н. В.* О «Поучении»... С. 230–234.

[2] *Мусин-Пушкин А. И.* Духовная Великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в Летописи Суздальской Поученьем. СПб., 1793. С. 58, прим. 97.

5. Киевское летописание XII в.

Непосредственным продолжением «Повести временных лет» является Киевский летописный свод конца XII в. В исторической литературе он датируется по-разному: 1200 г. (М. Д. Приселков), 1198–1199 гг. (А. А. Шахматов), 1198 г. (Б. А. Рыбаков). Что касается авторства свода, то здесь расхождений практически нет. Большинство историков восприняли вывод Д. И. Иловайского о том, что его составителем был игумен Михайловского Выдубицкого монастыря Моисей.[1]

Уже первые исследователи киевской летописи конца XII в. обратили внимание на ее чрезвычайную сложность. М. И. Костомаров полагал, что она не могла быть написана одним человеком, поскольку хронологически охватывает время значительно больше, чем продолжительность человеческой жизни, и содержит отчетливые признаки различных авторов.[2] К. Н. Бестужев-Рюмин рассматривал Киевский свод конца XII в. не как хронику с последовательной работой двух-трех летописцев, а как сборник отдельных повестей и сказаний, которых он насчитывал шесть.[3] М. Д. Приселков считал, что Киевский свод состоит из непрерывной великокняжеской летописи XII в., черниговской летописи Святослава Ольговича и его сыновей от 1120-х гг. до 1198 г., епископской летописи Переяславля-Русского (до 1175 г.), летописи Владимира Глебовича Переяславльского (1176–1187 гг.) и семейной хроники Ростиславичей, написанной Моисеем.[4]

В целом мысль о сборном характере Киевского летописного свода XII в. оказалась продуктивной, хотя членение его на отдельные летописные повести и хроники вызвало серьезные дискуссии. Сказанное

---

[1] *Иловайский Д. И.* История России. Т. 1. М., 1876. С. 100–167.

[2] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории. Ч. 1. Источники по русской истории. СПб., 1861. С. 40.

[3] *Бестужев-Рюмин К. Н.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 78–115.

[4] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. С. 47–55.

относится также к местной приуроченности ряда произведений и их характера.

В свое время Н. И. Костомаров, К. Н. Бестужев-Рюмин и другие исследователи летописей обратили внимание на наличие в Киевском своде известий, которые могли происходить из черниговских, переяславльских, новгород-сиверских, суздальских, новгородских, волынских, галицких и смоленских записей. Попытки А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова выделить комплекс сообщений некиевского происхождения привели их к выводу, что основой для них послужили Галицко-Волынская летопись, Черниговская летопись Ольговичей, Переяславльская и Владимиро-Суздальская летописи.

Последующие летописеведы, не возражая в принципе против возможности использования в Киевском своде местного летописания, не исключали и другой путь (устный) поступления информации к киевским летописцам. Б. А. Рыбаков заметил, что практически все записи о событиях в Галицкой земле 70–80-х гг. XII в., которые присутствуют в Киевском своде, могут быть связаны и приездом в Русь кого-либо из галичан: Ольги Юрьевны — дочери Юрия Долгорукого; Владимира Ярославича — сына Осмомысла; Олега «Настасича» — сына Осмомысла; Романа Мстиславича.[1] Использование устной информации, поступавшей в Киев из отдельных русских земель, в киевском летописании XII в. не исключал в свое время и Н. И. Костомаров.[2]

Не может быть и наименьшего сомнения в том, что в Киев, как столицу Руси, стекалась самая широкая и разнообразная информация со всех уголков Руси разными путями и в различной форме. Она собиралась канцелярией великокняжеского двора, митрополичьей кафедрой, Киево-Печерским монастырем, который находился в постоянных тесных связях со всеми землями, а также фамильными княжескими монастырями. Информированность киевских летописцев нередко была более полной, чем удельных.

В этом отношении кажется совершенно справедливой мысль А. Н. Насонова, полагавшего, что не «переяславльские своды» лежат в основе киевского летописания XII в., а наоборот, они сами, если вообще можно говорить об их существовании, базировались на киевском летописном материале.[3] То же самое можно сказать и о летописании других русских центров.

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 12.

[2] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории. С. 42.

[3] *Насонов А. Н.* Об отношении летописания Переяславля-Русского к киевскому. Проблемы источниковедения. Т. VIII. М., 1954. С. 481–483.

Б. А. Рыбаков считает, что русское летописание XII в. отличалось от старого монастырского летописания XI в. настолько же, насколько сами княжества-отчины самостоятельные королевства XII в. отличались от Киевской Руси. Никого уже не удовлетворяла единая летопись единого государства; каждый князь создавал свою, личную летопись.[1]

Во многом это справедливо, нельзя только абсолютизировать самостоятельность русских княжеств. Вожделенной мечтой почти каждого из удельных властителей был Киев. Правя в своих землях, враждуя между собой и киевским князем, они зорко следили за тем, что происходило в столице Руси, и стремились овладеть киевским престолом. При достижении этой цели вместе с князем в Киев перемещалось все его окружение, в том числе и личные историографы. Как князья, перейдя в Киев, превращались из автономистов в решительных защитников общерусских интересов, так и их летописцы становились историографами всей страны. Несколько преувеличенной кажется и утверждение, что горизонт удельных летописцев ограничивался территориальными пределами земли или личными деяниями своего сюзерена. Бурный период феодальной раздробленности не предполагал такой исключительной замкнутости. И деяния князей выходили за тесные земельные пределы, и освещение их в летописи отражало сложные политические связи княжеств. По-прежнему сохранял значение общерусского центра летописания Киев.

В фундаментальном источниковедческом труде, посвященном киевскому летописанию XII в., Б. А. Рыбаков, основываясь на достижениях своих предшественников А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова, А. Н. Насонова, Д. С. Лихачева и других, воссоздал достаточно полную и реалистическую картину сложения Киевского свода конца XII в. Согласно историку, в него вошли: 1) Свод архимандрита Печерского монастыря Поликарпа 1170 г., который вобрал в себя княжескую летопись Святослава Ольговича, фрагменты летописания Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского (до 1159 г.), летопись Петра Бориславича и так называемую «царскую летопись» Андрея и Глеба Юрьевичей (до 1170 г.); 2) Хроника великого князя Святослава Всеволодича до 1194 г.; 3) Летопись Рюрика Ростиславича 1190–1196 гг.[2]

Таким образом, Киевский летописный свод конца XII в., составленный выдубицким игуменом Моисеем, представляет собой совокупность летописей, написанных разными авторами и для разных заказчиков. Отсюда их идейное и стилистическое разночтение, позволяющее сравнительно легко опознать принадлежность летописцев к окружению того

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. С. 302.

[2] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 172–183.

или иного князя. Летописцы «Владимирового племени» симпатизируют наследникам Мономаха и в не очень хорошем свете показывают их противников. В свою очередь, летописцы черниговских Ольговичей подчеркивают особые заслуги своих князей. Разумеется, при составлении отдельных княжеских летописей в большие своды вполне возможной была определенная редакционная обработка текстов с позиции летописца-составителя. Об этом, в частности, говорят содержательные нелогичности, разрывы изложения редакторскими вставками, противоречивость оценок деятельности князей и др. И все же подобные вмешательства в тексты летописей были минимальны и не привели к потере их авторских особенностей.

Киевский летописный свод конца XII в. охватывает более чем восьмидесятилетний период истории Руси. Начинается он комплексом записей 1118–1139 гг., который условно можно назвать летописью «Володимирового племени». В ней описаны заключительные восемь лет княжения великого князя Владимира Мономаха, а также киевские княжения его сыновей — Мстислава и Ярополка. Об авторе (или авторах) этой части свода что-либо определенное сказать сложно. Не исключено, что им был тот же летописец, который редактировал (под присмотром Мстислава) «Повесть временных лет». Он определенно из близкого окружения Мономаха, по существу, восторженный его почитатель.

Рассказывая в статье 1123 г. о соперничестве Ярослава Святополковича и Андрея Владимировича за Владимир-Волынский, летописец не скрывает своих симпатий к Андрею. Коварное убийство Ярослава он относит на счет Божьего наказания за то, что тот не преодолел свою гордыню и не проявил должного смирения. Владимир и его сыновья представлены в этой не очень прозрачной истории как защитники справедливости, которым помогал сам Бог.

«И бысть велика помощь Божья, благовѣрному князю Владимеру съ своими сынъми за честное его житье, и за смирение его».[1]

Еще благороднее изображен Владимир Мономах в посмертном панегирике. Заслуги его перед соотечественниками в представлении летописца были очень велики. Он не жалеет эпитетов: Владимир «благоверный», «благородный» и «христолюбивый», просветил Русскую землю «акы солнца луча пущая». Слава о нем разошлась по всем странам, особенно он был страшен поганым половцам. «Братолюбець и нищелюбець, и добрый страдалець за Рускую землю», он нашел упокоение в святой Софии. Видимо, это обстоятельство позволило летописцу назвать Владимира святым. «Плакахуся по святомъ и добромъ князи весь

[1] Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 288.

народъ и вси людие, и сынове его Мьстиславъ, Ярополкъ, Вячьславъ, Георгий, Андр'ѣи и внуци его».[1] Со времен Владимира Святославича такого восторженного панегирика не удостаивался ни один князь.

20 мая 1125 г. на великокняжеском киевском столе утвердился Мстислав. Видимо, таким было завещание Мономаха. Прямого свидетельства на этот счет в летописи нет, но предположение это вытекает из замечания, что после смерти Владимира его сыновья разошлись каждый в свою волость, которые определил им отец: «идеже бяше комуждо ихъ раздаялъ». Мстислав был незаурядным государственным деятелем и успешно продолжил политику своего отца. Между тем в летописи это не нашло адекватного отражения. Годы его великого княжения описаны скупо и сухо. В статье 1132 г., сообщающей о смерти Мстислава, князь назван «благоверным», но это и все, что летописец мог сказать о нем. Ничего похожего на панегирик Владимиру. Такое впечатление, что великое княжение Мстислава описано другим летописцем, бесспорно его сторонником, но обладавшим значительно меньшими выразительными возможностями, чем его предшественник. Если вспомнить, что Мстислав сам имел какое-то отношение к летописанию, такое невнимание к собственным деяниям не может найти удовлетворительного объяснения.

Определенной компенсацией не очень выразительной тенденции известий о деятельности Мстислава является летопись Ярополка. Она тоже не особенно подробная, но зато имеет более выраженную проярополковую и шире промономаховую направленность. Ярополк, не обладая достоинствами своих предшественников, в изображении летописца предстает таким добрым патриархом, озабоченным миром и согласием в русских князьях. Он находит возможности примирения многочисленного семейства Мономаховичей, а также Ольговичей. Военные конфликты благодаря уступчивости Ярополка всегда заканчиваются миром. Даже когда сила оказывалась на стороне великого князя, как это было в противоборстве с Всеволодом Ольговичем, он не спешил воспользоваться своим преимуществом. Черниговцы, пытаясь воспрепятствовать бегству из города Всеволода, заявили ему, чтобы он просил мира у Ярополка, известного своим миролюбием: «А людие Черниговцы въспиша къ Всеволоду, ты над'ѣешися б'ѣжати в Половц'ѣ, а волость свою погубиши, то к чему ся опять воротишь, луче того останися высокоумья своего и проси си мира, мы бо в'ѣдаемъ милосердие Ярополче, яко не радуется кровопролитью, но Бога ради въсхощеть мира, то бо съблюдаеть землю Роусьскоую».[2]

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 289.

[2] Там же. Стб. 301.

Последующие события оправдали надежды черниговцев. Ярополк действительно не захотел кровопролития и пошел на заключение мира с Всеволодом. Летописец высоко оценил этот шаг великого князя, назвав его милостивым нравом и богобоязненным, и сравнил его со знаменитым отцом. «Ярополкъ же благъ сы и милостивъ нравомъ, страх Божий имѣя в сердци якоже и отець его».[1]

Если бы летопись Ярополка следовала непосредственно за комплексом известий о Владимире Мономахе, можно было думать, что они принадлежат одному автору. Но между ними находится летопись Мстислава, отличающаяся большей сдержанностью в оценках, и это не позволяет безоговорочно принять такое предположение.

Летописцу «Володимирового племени», очевидно, принадлежит также описание начального этапа борьбы за освободившийся после смерти Ярополка киевский стол между Вячеславом Владимировичем и Всеволодом Ольговичем (статья 1140 г. Ипатьевской летописи). В этом году вернулись в Русь из царьградского заточения два полоцких князя, сосланных туда Мстиславом Владимировичем, и это послужило поводом для летописца прервать свой последовательный рассказ воспоминанием об этом князе. Это как бы компенсация за ту индифферентность, с которой описаны деяния Мстислава в его летописи, и отсутствие посмертной похвалы ему в статье 1132 г. Мстислав здесь приравнен к его знаменитому отцу и поименован «великим». Летописец отмечает не только крутой нрав князя, но и его особые заслуги в деле обороны Руси от половцев. Вот эти восторженные слова летописца: «Се бо Мьстиславъ великыи и наслѣди отца своего поть Володимера Мономаха великаго. Володимиръ самъ собою постоя на Дону и много пота оутеръ за землю Роускоую, а Мьстиславъ, мужи свои послав, загна Половцы за Донъ и за Волгу, за Гиикъ (Яик. — *П. Т.)* и тако избави Богъ Роускоую землю от поганыхъ».[2]

Велик соблазн отнести это воспоминание на счет летописца Ярополка, но сделать этого, видимо, нельзя. Оно написано не в 1140 г., а позже. Говоря о возвращении из Византии двух полоцких княжичей, летописец употребляет форму прошедшего времени: «В то же время взидоста княжича два исъ Царягорода».[3] Думается, не будет большой натяжкой, если мы «отдадим» это воспоминание летописцу Изяслава Мстиславича — Петру Бориславичу, который начнет свою летопись, наверное, уже в 1146 г.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 302.
[2] Там же. Стб. 303–304.
[3] Там же. Стб. 303.

Однако мы несколько забежали вперед, а поэтому, пользуясь летописной формулой, «возвратимся на переднее». В данном случае нам надлежит рассмотреть комплекс записей 1140–1146 гг., повествующих о великом киевском княжении Всеволода Ольговича. Летопись Всеволода пространнее Ярополковой, но стилистически практически не отличается от нее. Идеологически она выдержана в духе благорасположенности к «Владимирову племени» и, можно думать, написана тем же киевским летописцем, который составил и великокняжескую хронику Ярополка.

В пользу этого, возможно, свидетельствует летописное сообщение 1145 г., в котором рассказывается о перезахоронении Ярополка: «В то же лѣто перенесе благовѣрная княгини Олена Яска князя своего Ярополка из гробницѣ въ церковѣ святаго Андрѣя и положи его оу Янкы».[1]

Летописец вполне лоялен ко Всеволоду, однако по тексту летописи заметно, что эта лояльность обусловлена не личной преданностью летописца великому князю, а его добрым отношением к представителям «Владимирового племени». Из-за них ему пришлось войти в конфликт с родными братьями, претендовавшими на Вятичскую землю и конфликтовавшими с Мстиславичами. Как пишет летописец, братья Всеволода были недовольны тем, что он водит дружбу с Мстиславичами и обсадил себя ими. «И поропташа на нь, оже любовь имѣть съ Мьстиславичи съ шюрьями своими, а с нашими ворогы и осажалъся ими около а намъ на безголовье и безмѣстье и собѣ».[2]

Вначале, правда, Всеволод и сам пытался расширить владения за счет Мономаховичей и Мстиславичей, но быстро понял бесперспективность такой затеи: «Надѣя бо ся (Всеволод. — *П. Т.)* силѣ своеи, самъ хотяще землю всю держати, искаше подъ Ростиславом Смоленьска, подъ Изяславомъ Володимира».[3] Военные акции Всеволода оказались безуспешными и он заключил с названными князьями мир. «И послѣдѣ съдумавъ оже ему безъ нихъ (Мономаховичей и Мстиславичей. — *П. Т.)* нѣлзѣ быти и давъ имъ прошение ихъ и крестъ к нимъ цѣлова.».[4]

Летописец в этом конфликте определенно на стороне противников Всеволода. Когда посланные им к Переяславлю полки Святослава Ольговича потерпели поражение от дружин Андрея Владимировича, летописец заметил, что переяславльскому князю помог Бог. Аналогичную позицию занял он и в споре Всеволода с новгородцами, изгнавшими из города Святослава Ольговича. Согласно ему, Святослав понес зако-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 319.
[2] Там же. Стб. 313.
[3] Там же. Стб. 304.
[4] Там же. Стб. 306.

номерное наказание, поскольку был злобным и несправедливым по отношению к новгородцам. Когда после длительных тяжб со Всеволодом в Новгороде был посажен сын Юрия Долгорукого Ростислав, летописец не мог скрыть своего удовлетворения: «И посадша Новгородьци (Ростислава. — *П. Т.)* с великою честью».[1] Так же он отреагировал и на победу Изяслава Мстиславича над Ольговичами в окрестностях Чернигова. В Переяславль он возвратился «съ честью великою».

Особенно четко идейная позиция летописца обозначилась при описании смерти и похорон переяславльского князя Андрея Владимировича в 1141 г. Он назван «благоверным» и, по существу, приравнен к местнопочитаемым святым. Когда хоронили князя, случилось знамение: на небе было три солнца, от земли и до неба стояло три столба, а отдельно, в виде дуги, на небе висела луна. Знамение исчезло, когда закончился обряд захоронения. Летописец — современник, а возможно, и свидетель описываемого события. Он точно знает время смерти и похорон Андрея Владимировича: «Тое же зимы преставися благов'ѣрный князь Андр'ѣи Володимеричъ оу Переяславли месяца генваря въ 22 день, а в 23 похороненъ бысть оу святаго Михаила».[2]

Летописец обнаруживает большую информированность и в других ситуациях. Он посвящен в тонкую интригу Всеволода относительно раскола союза Давыдовичей и его братьев Игоря и Святослава («Всеволодъ же радъ былъ разлоуч'ѣнью ихъ»), знает, что на свадьбу дочери Изяслава Мстиславича и полоцкого князя Рогволода Борисовича Всеволод прибыл с «женою и съ всими бояры». Очень подробно описаны конфликт великого князя с Володимерком Галицким, а также длительная процедура передачи киевского стола Игорю Ольговичу. Всеволод начал ее еще будучи в полном здравии. Одного за другим он вынуждает Ольговичей и Мономаховичей присягнуть на верность Игорю. После его смерти Игорь просит князей подтвердить верность крестному целованию, но Изяслав Мстиславич клятвы своей не сдержал: «Онъ же ни отв'ѣта ему не дасть противоу тои р'ѣчи, ни посла к немоу поусти».[3]

Не может быть сомнения в том, что летопись Всеволода практически современна его княжению. Она писалась человеком из близкого окружения великого князя, посвященного во все тайны двора, однако приверженного не Ольговичам, а князьям «Владимирового племени». Не случайно смерть Всеволода оставила его равнодушным и не подвигла на сочинение хотя бы трафаретных слов сожаления.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 308.
[2] Там же. Стб. 309.
[3] Там же. Стб. 322.

Как произведение исторической письменности летопись Всеволода не производит впечатления труда, составленного позднейшим сводчиком из фрагментов многих источников. Объяснение Б. А. Рыбакова, что княжение Всеволода Ольговича описано в своде по летописи «Владимирового племени», летописи самого Всеволода, летописей Святослава и Игоря Ольговичей, а также немногочисленным извлечениям из личной летописи Изяслава Мстиславича,[1] слишком сложно. Невозможно себе представить, чтобы позднейший сводчик (Моисей или кто-то другой) так филигранно «сшил» из множества разноречивых источников единое и цельное произведение, практически не обнаруживающее заметных «швов».

Уникальным явлением киевской исторической письменности XII в. является летопись великого князя Изяслава Мстиславича (1146–1154 гг.). По объему она составляет третью часть свода конца XII в., а по степени подробности изложения в пять раз превосходит все остальные части свода.[2]

Исследователи уже давно обратили внимание на этот раздел Ипатьевской летописи. С. М. Соловьев полагал, что здесь виден «современник событий и человек, имевший случай разговаривать с князем».[3] Согласно Н. И. Костомарову, летопись за 1146–1156 гг. велась одним лицом и, судя по военным подробностям, не монахом, а мирским человеком.[4] Еще более определенно высказался по поводу этой летописи К. Н. Бестужев-Рюмин. Обратив внимание на содержательную и стилистическую целостность основного текста, он отметил, что написана летопись не только современником великого князя, но и соратником.[5] И. П. Хрущов отрицал монографический характер сказания о великом княжении Изяслава Мстиславича, но высказал предположение, что история посольства Петра Бориславича к Владимиру Галицкому является отрывком из мемуаров самого Бориславича.[6] Д. С. Лихачев поддержал вывод И. П. Хрущова и несколько развил его. Как ему казалось, Петр Бориславич написал только повесть о взаимоотношениях Изяслава Мстиславича с Владимиром Галицким в 1150–1152 гг.[7]

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 306–307.

[2] Там же. С. 303.

[3] *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Кн. 1. Изд. 2-е. М., 1851. С. 790.

[4] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории. СПб., 1861. С. 43.

[5] *Бестужев-Рюмин К. Н.* О составе русских летописей... С. 79.

[6] *Хрущов И. П.* О древнерусских исторических повестях и сказаниях. К., 1878. С. 176–177, 181.

[7] *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 226–241.

Наиболее обстоятельно и аргументированно тема летописи Изяслава Мстиславича и ее автора — Петра Бориславича разработана Б. А. Рыбаковым. Он не только показал монографическую целостность великокняжеского жизнеописания Изяслава Мстиславича, но и обосновал его авторскую принадлежность Петру Бориславичу, а также и его оригинальный характер. Летопись написана как на основании авторских наблюдений и заметок, так и с использованием материалов княжеского архива. В пользу этого свидетельствует обильное цитирование летописцем грамот Изяслава Мстиславича к своим союзникам и противникам, а также их грамот к нему. Б. А. Рыбаков выделил в летописи Изяслава Мстиславича 62 грамоты.[1]

Вывод историка об использовании Петром Бориславичем оригинальных княжеских грамот при написании летописи не был безоговорочно поддержан исследователями. Многим он казался недостаточно обоснованным. Необычной оказалась сама мысль о том, что каждый князь сохранял в своем архиве дипломатическую переписку: полученные им грамоты и копии грамот, направленных разным адресатам. Ранее считалось, что дипломатические поручения в XI–XIII вв. передавались через послов устно, а на страницы летописи они попадали в свободном пересказе.

Обычай «ссылаться речьми», а не писаными грамотами, как считал Д. С. Лихачев, был достаточно прочный. И хотя он уходит своими корнями еще в дописьменный период истории Руси, и позже, через несколько столетий после распространения письменности, русские послы устно говорили порученные им «р'ѣчи», не занося их на грамоты.[2]

Аналогичного мнения придерживались И. П. Еремин, полагавший, что князья постоянно общались между собой при помощи своих доверенных лиц, а также О. В. Творогов, отмечавший, что берестяное «письмо» оказывалось нужнее в быту, чем в сношениях князей, располагавших опытными послами, запоминавшими наизусть речи своих сюзеренов.[3]

Наверное, княжеские посланники в XII в. пользовались древним обычаем устной передачи речей своих сюзеренов, однако это было скорее исключением, чем правилом. Если бы у нас не было других свидетельств,

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 316–336.

[2] *Лихачев Д. С.* Русский посольский обычай XI–XIII ст. // Исторические записки. 1976. Т. 18. С. 47; *Лихачев Д. С.* Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952. С. 91–110.

[3] *Еремин И. П.* Литература Древней Руси: этюды и характеристики. М.; Л., 1966. С. 109; *Творогов О. В.* К вопросу о периодизации литературы Киевской Руси // Русская литература. 1983. № 4. С. 123.

кроме большого сфрагистического материала, обнаруживаемого во время археологических раскопок, то и тогда вывод о наличии на Руси дипломатической переписки не требовал бы особых доказательств. Но ведь на этот счет имеются и вполне определенные летописные данные. Например, в 1144 г. Владимир Галицкий, недовольный тем, что великий киевский князь Всеволод передал Владимир-Волынский своему сыну, вернул ему крестную грамоту. «И Володимерко възверже емоу грамоту хрестьноую».[1] А что такое письмо Владимира Мономаха к Святославу Ольговичу, как не та же пространная грамота? На миниатюрах Радзивиловской летописи, оригинал которых восходит к лицевому летописцу XII–XIII вв., гонцы и послы часто изображены со свитками — грамотами в руках. Так, на миниатюре, изображающей Изяслава Мстиславича во время приема им в 1147 г. половецких послов, последние вручают ему свитки.

Вопрос этот очень тщательно рассмотрен Б. А. Рыбаковым и нет необходимости изыскивать здесь дополнительные аргументы. Хотелось бы только остановиться на исследовании В. Ю. Франчук, осуществленном над языком грамот. К таковым она относит «крестные грамоты», являвшиеся письменной фиксацией мирных договоров, а также «речи», под которыми следует разуметь «послания». Выполнив системный лингвистический анализ Киевского летописного свода, В. Ю. Франчук убедительно подтвердила существование на Руси в XII в. широкой практики дипломатической переписки. Крестные грамоты, послания и посольские речи имеют своеобразное синтаксическое построение, характерное использование языковых трафаретов. Во всех случаях передачи послами речей своих князей они выступают от их лица, соблюдая грамматические формы первого лица. Князья, таким образом, как бы непосредственно общаются друг с другом. Отличительной особенностью княжеских посланий, согласно наблюдению В. Ю. Франчук, является использование существительных, обозначающих родственные отношения: «брате и отце», «брате и сватоу», «брате и сыноу». Структура посланий, включенных в летопись, отличается от структуры известных письменных документов, однако во всех их содержатся особенности, сближающие их как с грамотами, написанными на пергамене, так и с новгородскими берестяными грамотами.[2]

Летопись Изяслава Мстиславича полностью апологетична. Не все действия великого князя были морально безупречны, но летописец всегда находил нужные слова, чтобы показать своего князя в лучшем свете или отвести от него подозрения в злокозненных действиях. Особенно

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 315.

[2] *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. К., 1986. С. 113–154.

постарался Петр Бориславич в рассказе об убийстве в 1147 г. в Киеве князя Игоря Ольговича, тень которого определенно падала на Изяслава. В оправдание действий киевлян летописец «раскрывает» страшный заговор черниговских князей, будто бы собиравшихся пригласить к себе Изяслава Мстиславича на переговоры и там убить его. «Кияне же рекоша: "Не мы его оубили, но Олговичи: Давыдовичи и Всеволодич, оже мыслили на нашего князя зло, хотяче погубити льстью, но Богъ за нашимъ княземъ и святая Софья"».[1]

Когда Изяславу, стоявшему с дружиной военным лагерем в верховьях Супоя, пришла весть из Киева об этом трагическом убийстве, он расплакался и, обращаясь к дружине, поклялся, что его вины в этом нет. Он не велел и не научал этому. Дружина охотно верит своему князю и, утешая его, по существу, повторяет версию, уже озвученную киевлянами. «И р҃ѣша емоу моужи его: "Без л҃ѣпа о немь печаль им҃ѣеши, оже людемъ речи, яко Изяславъ оуби и, или повел҃ѣтъ оубити, но то, княже Богъ в҃ѣдаеть и вси людье, яко не ты его оже хр҃ѣсть к тоб҃ѣ ц҃ѣловавше и пакы стоупиша и льстью надъ тобою хот҃ѣли оучинити и оубити хотяче"».[2] Доверие дружины успокоило Изяслава и он, сказав, что «тамо намъ всим быти», велел продолжать подготовку к военному походу на черниговских князей.

Содержание летописи Изяслава свидетельствует о том, что ее автор постоянно находился при своем князе. Уход последнего из Киева во Владимир Волынский в 1149 г., по существу, никак не сказывается на степени полноты его жизнеописания. Он знает о переговорах Изяслава с правителями Венгрии, Польши и Чехии об оказании ему помощи в возвращении Киева, сообщает в мельчайших подробностях об участии польских и венгерских полков в конфликте Изяслава с Юрием Долгоруким. Он описывает маршрут похода Изяслава на Киев, который пролегал через землю Черных Клобуков и сопровождался их масовым переходом на его сторону. Так же обстоятельно описывается в летописи повторное пребывание Изяслава во Владимире в 1150 г., его стремительный поход на Киев, последовавший после не слишком успешной битвы с Владимиром Галицким под Ушеском. Летописец с таким воодушевлением рассказывает о военной хитрости Изяслава, ставшего якобы на ночь лагерем на берегу Ушицы и разведшего большие костры, а в действительности продолжившего этой ночью путь на Киев, что кажется вполне реальным его участие в разработке этого военного плана.

Завершается летопись Изяслава его посмертным панегириком, выполненным в лучших традициях этого жанра. Петр Бориславич не ску-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 353.
[2] Там же. Стб. 354–355.

пится на превосходные эпитеты своему усопшему сюзерену. Он честный, благоверный и христолюбивый. А еще славный. Его оплакивала вся Русская земля и «вси Чернии Клобуци, яко по цари и господинѣ своемъ, наипаче же яко по отци».[1] Своим уточнением, что Изяслав есть «внукъ Володимерь», он как бы проводит историческую параллель между этими выдающимися князьями.

В летописи Изяслава Мстиславича присутствуют тексты не только Петра Бориславича, но также и других летописцев, в частности черниговского и суздальского. Первый, о чем пойдет речь ниже, рассказал о бесчинствах Изяслава в Черниговской земле и перенесении мощей Игоря Ольговича из киевской церкви святого Семеона в черниговский Спасский собор, а второй угадывается в известиях, относящихся к Юрию Долгорукому и его сыновьям. Характерной чертой стиля суздальских летописцев является перечисление родословной своих князей. «Начало княжения в Киѣвѣ князя великого Дюрга, сына Владимира Мономаха, внука Всеволожа, правнука Ярославля, пращюра великого Володимира, крестившего всю землю Рускоую».[2]

Кроме летописи Изяслава Мстиславича, как считает Б. А. Рыбаков, перу Петра Бориславича принадлежат одиночные записи 1159–1176 гг., а также массив статей 1180–1196 гг.[3] Такое летописное долголетие киевского боярина и дипломата кажется невероятным, однако оно как будто находит свое обоснование и в лингвистическом анализе соответствующих текстов. По мнению В. Ю. Франчук, факты языка подтверждают гипотезу Б. А. Рыбакова и свидетельствуют о том, что Петру Бориславичу принадлежит почти половина текстов Киевской летописи.[4] Ниже мы еще вернемся к проблеме авторства текстов, «отданных» Б. А. Рыбаковым Петру Бориславичу, теперь же перейдем к анализу летописания послеизяславого времени.

В отличие от предшествующего, оно не представляет собой цельного монографического повествования, а как бы соткано из записей разных авторов. Это и неудивительно, если учесть, с какой калейдоскопической быстротой менялись в это время на киевском столе князья. С 1154 по 1159 г. в Киеве поочередно сидели Ростислав Смоленский, Изяслав Давидович, Юрий Долгорукий, вновь Изяслав Давидович и вновь Ростислав. Их великие княжения описаны хроникально без каких-либо обобщений и авторских морализаторств.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 469.

[2] Там же. Стб. 383–384.

[3] *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. С. 15–53.

[4] Там же.

Несколько более подробной является великокняжеская летопись Юрия Долгорукого, но и в ней чрезвычайно сложно уловить авторскую позицию. В запутанных междукняжеских отношениях летописец как будто симпатизирует великому князю и даже показывает его благородство, как, например, в событиях, связанных с попыткой отобрать у Мстислава Изяславича Владимир Волынский и передать его племяннику Владимиру Андреевичу. Столкнувшись с упорным сопротивлением владимирцев, Юрий Долгорукий решил снять осаду города, чтобы не погубить людей.

«Дюрги же видя непокорство его (Мстислава. — *П. Т.)* к собѣ и съжалиси о погыбели людьстѣ и нача молвити дѣтемъ своим и бояромъ своимъ не можемъ стояти сдѣ».[1]

Далее Юрий Долгорукий заявил, что он не может радоваться ни гибели Мстислава, ни его изгнанию, а поэтому лучше завершить этот конфликт миром. Вполне благородно выглядит Юрий и в беседе со своим племянником Владимиром Андреевичем. Он подтверждает свое обязательство перед братом заботиться о нем, как о своем сыне, и просит того удовлетвориться Погорынской волостью во главе с Дорогобужем и Пересопницей.

Иной тональностью отличается рассказ о попытке Юрия Долгорукого выдать Ярославу Галицкому мятежного князя Ивана Ростиславича. Летописец осуждает действия великого князя, считает, что он обрекает Ивана на убийство, и радуется, что под давлением митрополита и игуменов он отказался от этой затеи. Когда же, отправленный назад в Суздаль, Берладник был отбит Изяславом Давидовичем, летописец заметил: «И тако же избави Богъ Ивана от великия тоя нужи».[2]

Сдержанно описывается в летописи и смерть Юрия Долгорукого. Летописец осуждает беспорядки, возникшие после кончины великого князя, называет их злом, но ни единым словом не обмолвился о добродетелях покойного. Подробности рассказа: пир в осьменника Петрила, внезапная болезнь Юрия в ночь после гуляния, пятидневная хворь, а также смерть, наступившая в среду 15 мая, указывают на то, что его запись сделана современником великого князя.

Кто был им, мы не знаем. Осторожно можно предположить, что тексты за 1154–1157 гг. принадлежат тому же летописцу, который вел летопись Изяслава Мстиславича. В. Ю. Франчук, анализируя ее фонетические старославянизмы, пришла к выводу, что стилю Петра Бориславича характерно полногласное употребление существительного «время» —

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 487.
[2] Там же. Стб. 488.

«веремя». Она приводит достаточное количество таких примеров.[1] Тексты, следующие за летописью Изяслава, содержат такую же особенность. 1154 г: «В то же веремя Ярослав приде из Смоленска Киеву»;[2] «В то же веремя приде вѣсть к Ростиславу», «В то же веремя Гюрги поиде к волости Ростиславли». 1155 г.: «В то же веремя приде Гюргеваю исъ Суждаля». 1158 г.: «В то же веремя бяше привелъ Гюрги Ивана Ростиславича».[3]

Пользуясь филологической находкой В. Ю. Франчук, можно уверенно утверждать, что после 1157 г. летописные тексты написаны уже другим летописцем. Известия о великом княжении Изяслава Давидовича (до 1159 г.) содержат совершенно иные речевые стереотипы. Там, где предыдущий летописец писал: «в то же веремя», новый пишет: «том же лѣтѣ» или «того же же лѣта». «Томъ же лѣтѣ Изяславъ иде къ Каневу» (1158 г); «Того же лѣта выгнаша Новгородьци Мстислава» (1158 г.); «Том же лѣте иде Рогъволодъ Борисовичъ от Святослава от Олговича» (1159 г.).[4]

Новая стилистическая особенность письма, обозначившаяся в летописи великого княжения Изяслава Давидовича, характеризует также и великокняжескую хронику Ростислава Мстиславича (1159–1167 гг.), что, вероятно, указывает на единого автора. Еще одним объединяющим признаком летописания 1157–1167 гг. является участившееся обращение летописца к церковно-религиозным сюжетам. Чувствуется, что здесь перед нами не боярин, скачущий по Руси вместе со своим князем, но благочестивый монах. Его выдает уже первая фраза летописи Изяслава Давидовича: «Изяславъ же Давыдовичь вниде в Киевъ месяца мая въ 15 в неделю пянтикостьную».[5] Рассказывая о вокняжении в Ростове, Суздали и Владимире Андрея Юрьевича, летописец замечает, что он был любим всеми за его добродетели, среди которых выделяется любовь к Богу, выразившаяся в завершении строительства церкви святого Спаса и закладке во Владимире церкви святой Богородицы. «Зане бѣ прилюбимъ всим за премногую его добродѣтель, юже имѣше преже к Богу и къ всим сущимъ под нимъ, тѣм же и по смерти отца своего велику память створи, церкви оукраси и монастыри, постави и церквь сконца, иже бѣ заложилъ переже отець его святого Спаса камяну, князь

[1] *Франчук В. Ю.* Киевская летопись. С. 29.

[2] Тут содержится ошибка переписчика. Надо читать не «Ярослав», а «Ростислав».

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 471, 476, 480, 488.

[4] Там же. Стб. 490, 491, 493.

[5] Там же. Стб. 490.

же Андрѣи самъ оу Володимири заложи церковь камяну святои Богородици».[1]

Из летописной статьи 1158 г., повествующей о смерти дочери Ярополка Изяславича и погребении ее в Печерском монастыре, можно заключить, что написана она печерским летописцем. Он бесспорно современник события, знает, что умерла княгиня 3 января, а 4 января в час ночи была положена в гроб и погребена «съ княземъ въ гробѣ оу святаго Феодосия». В тексте воздается хвала княгине за ее великую любовь к святой Богородице и к Феодосию Печерскому, выразившуюся в том, что она вместе с мужем Глебом Всеславичем дала Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 гривен золота. После его смерти передала в монастырь еще 100 гривен серебра и 50 гривен золота, а также завещала 5 сел с челядью. Разумеется, такие бухгалтерские подробности мог знать только летописец Печерского монастыря.

Церковная тема, как кажется летописцу, являлась камнем преткновения при обсуждении вопроса о переходе на киевский стол Ростислава Мстиславича. На приглашение племянника Мстислава Изяславича смоленский князь выставил условие: удаление с митрополичьей кафедры Клима Смолятича и возвращение на нее митрополита — грека Константина. После долгих препирательств дядя и племянник сошлись на том, что оба митрополита не могут быть реабилитированы, а кафедру должен занять новый человек. «И тако отложиста оба яко не сѣсдти има на столѣ митрополитьстемь и на томъ цѣловаста хрестъ, яко иного митрополита привести им исъ Царягорода».[2]

У Ростислава Мстиславича были и другие причины не спешить с принятием приглашения Мстислава, он хотел получить от вассальных князей заверения в их беспрекословном послушании великому князю, однако летописец, будучи лицом духовным, выставил на первый план спор о митрополичьей кафедре.

И в дальнейшем летописец внимательно следит за церковными событиями и скрупулезно заносит сведения о них на страницы своей хроники. Под 1162 г. он сообщает об изгнании из Суздаля Андреем Боголюбским епископа Леона, под 1164 г. говорит о преставлении митрополита Федора, под 1164 г. — о прибытии в Русь митрополита Иоанна, под 1165 г. — о поставлении епископа новгородского Ильи. Умерший в 1166 г. князь Ярослав Юрьевич назван «благоверным и христолюбивым».

Особенно отчетливо облик летописца просматривается в летописной статье 1168 г., рассказывающей о болезни и кончине Ростислава

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 490–491.
[2] Там же. Стб. 503–504.

Мстиславича. Великий князь предстает перед читателем в образе праведника, мечтавшего провести остаток дней в Печерском монастыре. Об этом он как будто бы неоднократно говорил с игуменом Поликарпом, просил его поставить ему келию. «Молвяще же и то всегда къ игумену постави ми игумене келью добру, боюся напрасныя смерти, а что си о мнь Богъ оустроить и ваша молитва».[1] Летописец отмечает любовь Ростислава к святой Богородице и к святому отцу Феодосию, его желание «освободиться от маловременного и суетного свѣта сего и мимотекущего и многомятежного житья сего».[2] С аналогичными мыслями Ростислав обращался также и к Семеону «попови отцю своему духовному».

Рассказав о несостоявшейся попытке Ростислава постричься в монастырь, летописец возвращается к его последним дням, при этом употребляет традиционное выражение: «Мы же на прѣднее възвратимся». Подробное описание болезни великого князя, пересказ его молитвы перед иконой святой Богородицы, а также сообщение о просьбе Ростислава похоронить его в Киеве, в монастыре святого Федора, позволяют предположить, что написал обо все этом свидетель событий, находившийся в его свите. Он видел слезы князя, которые стекали из его глаз, «яко женчюжныя зерна», наблюдал, как он вытирал их «оубрусцемъ». Когда Ростислав, уже будучи смертельно больным, продолжил путь из Смоленска в Киев, летописец заметил: «И поидоша съ ним».

Разумеется, нас интересует, кто был автором статьи 1168 г.? Прямых свидетельств на этот счет в летописи нет, но есть косвенные, которые дают возможность хотя бы приблизиться к ответу на этот вопрос. Кроме самого Ростислава в тексте статьи названы: игумен Печерского монастыря Поликарп, духовник великого князя поп Семеон, покладник Иванко Фролович, а также Борис Захарьич, возможно, тысяцкий князя. Церковный характер статьи не оставляет сомнения, что автора надо искать среди духовных лиц. О Поликарпе говорится в третьем лице, как о человеке, с которым Ростислав много беседовал до своей болезни о спасении души через пострижение в монастырь. Летописец уточняет, что Поликарп был тогда уже игуменом Печерского монастыря. Не позволяет считать Поликарпа автором повести о смерти Ростислава и то обстоятельство, что он не был в свите великого князя во время его путешествия от Великих Лук до Киева и не мог быть свидетелем медленного умирания Ростислава. Остается поп Семеон, духовник князя. Он тоже назван в третьем лице, но, поскольку неотлучно находился при Ростиславе, есть основания именно его считать ав-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 529.
[2] Там же. Стб. 530.

тором этой повести. Не исключено, что впоследствии она была отредактирована печерским летописцем.

Здесь мы подошли к вопросу об авторстве великокняжеских летописей Изяслава Давидовича и Ростислава Мстиславича. Среди возможных претендентов исследователи называют Поликарпа, который начинал свою летописную деятельность как секретарь Святослава Ольговича, а завершал ее в стенах Киево-Печерского монастыря как его архимандрит, продолжая проявлять симпатии к новгород-сиверскому князю. Считается, что авторство Поликарпа определяется частым упоминанием его имени на страницах летописи в конце 60-х — начале 70-х годов XII в. Летописная статья 1168 г., о чем шла речь выше, свидетельствует о беседах Поликарпа с Ростиславом Мстиславичем, в статье 1170 г. рассказывается об участии Поликарпа в погребении князя Ярополка Изяславича, внука Мстислава Великого, в статье 1171 г. речь идет о сопровождении (от Вышгорода до Киева) Поликарпом тела князя Владимира Андреевича, в статье 1174 г. описывается торжественная встреча великого князя Романа Ростиславича, в которой наряду с митрополитом участвовал и архимандрит Печерский Поликарп.

Н. И. Костомаров, раздумывая над тем, кто описал торжественное действо перенесения тела Владимира Андреевича, пришел к выводу, что это был игумен Андреевского монастыря в Киеве Семеон. Основанием этому послужили такие соображения. Князь Глеб отправил к Вышгороду двух игуменов — Печерского Поликарпа и Андреевского Семеона, но поскольку о Поликарпе говорится в третьем лице («Игуменъ же рече Поликарпъ»), автором рассказа должен быть игумен Семеон.[1]

Предположение Н. И. Костомарова не лишено вероятия. Нам представляется, что игумен Андреевского монастыря был тем самым Семеоном, который раньше являлся духовником Ростислава Мстиславича и, видимо, оставил потомкам подробное описание последних дней своего князя. Поскольку захоронение Владимира Андреевича было произведено в Андреевском монастыре, можно думать, что в его стенах была сделана и запись об этом действе.

Анализ манеры изложения событий в киевском летописании 60–70-х годов XII в. обнаруживает характерную особенность: присутствие Поликарпа во всех случаях зафиксировано в нем только в третьем лице. «И тако ему (Ростиславу. — *П. Т.)* повѣстящю с Поликарпом игуменом и рече ему игуменъ».[2] «И посла Мьстиславъ къ игумену Поликарпови и къ Данилови попови своему, веля има ѣхати къ брату Ярополку».[3]

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 40.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 531.
[3] Там же. Стб. 539.

«И посла Гл҃бъ князь игумена святыя Богородица Печерского монастыря Поликарпа».[1]

Б. А. Рыбаков считает, что поскольку летописец ни разу не говорит о своих возможных информаторах келейных разговоров Поликарпа с Ростиславом Мстиславичем, остается признать автором летописи самого Поликарпа, который в 1164 г. стал игуменом Киево-Печерского монастыря.[2]

Конечно, упоминания себя в третьем лице можно отнести на счет манеры летописания Поликарпа, однако фразы в статьях 1168 и 1171 гг. — «Мы же на передьнее въвратиъся» и «Веля има ехати» — указывают на то, что свидетельства об участии игумена Поликарпа в событиях конца 60–70-х годов XII в. поданы не им. В полном стилистическом соответствии с приведенными выше фразами читается и статья 1182 г., в которой речь идет о смерти Поликарпа: «В то же л҃то преставися блаженныи аньхимандритъ, игоуменъ Печерьскои именемь Поликарпъ, месяца июня в 24 день, в день святоу мученику, праздника Бориса и Гл҃ба».[3]

Изложенные выше наблюдения дают основания предполагать, что печерское летописание 60–70-х годов XII в. находилось под непосредственным наблюдением Поликарпа, но велось другим лицом. При той огромной популярности печерского архимандрита, который не боялся входить в конфликт с самим митрополитом, имя его не могло не попасть на страницы летописи даже и в том случае, если бы он не имел к нему никакого отношения.

Разумеется, было бы ошибкой в поисках авторства летописных текстов ограничиваться лишь двумя-тремя игуменами, которые попали на страницы летописи. Круг летописцев 60–70-х годов XII в. был шире, причем не ограничивался только книжниками Печерского монастыря. В условиях жесткого соперничества князей за Киев и поочередного владения им Мономаховичами и Ольговичами, отражения этих политических соревнований могли выходить за рамки дуэли известных нам летописцев. Бесспорным может быть только то, что все они принадлежали к кругу духовных лиц, о чем свидетельствует наполненность летописи церковными текстами и изречениями.

Выше уже отмечалось, что характерной особенностью летописания Петра Бориславича (до 1154 г.) было употребление полногласного существительного «веремя». Следующий после него летописец пользовался при определении того же понятия словосочетанием «того же л҃та» или «томъ же л҃т҃ъ». Примерно с 1173 года в летописи употреб-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 546.

[2] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 53.

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 626.

ляются оба эти временные определения. Правда, существительное «время» теперь теряет свою полногласность: «В то же время преставилъся бяшеть брат его м'ѣньшии», «В то же время с'ѣдящю Святославу Всеволодичу в Чернигов'ѣ», «В то же время прислашася Ростиславичи».

Согласно Б. А. Рыбакову, в летописи после 1171 г. заметны три струи: хроника Ростиславичей, хроника южнорусской ветви Юрьевичей и летопись неизвестного автора-киевлянина, связанного с церковью.[1] Видимо, это справедливо, что подтверждается идейной разноголосицей летописи. Летописец Ростиславичей определенно симпатизирует Мстиславу и Рюрику и не скрывает своего негативного отношения к Андрею Боголюбскому. Когда силы двадцати князей, брошенные Боголюбским на Киев в 1173 г., потерпели поражение, он откровенно радовался этому. «И тако вьзвратишася вся сила Андр'ѣя князя Суждальского, совокупилъ бо бяшеть вс'ѣ земл'ѣ и множеству вои не бяше чила, пришли бо бяху высокомысляще, а смирении отидоша в домы своя».[2]

Другой летописец, рассказывая в статье 1172 г. об изгнании из Владимира «злого и пронырливого, и гордого льстеца, лживого владыку Федорьца», высоко аттестует Андрея Боголюбского, называет его правдивым и благоверным, спасшим людей «высокою рукою благочестивою царскою» от злого Федорца. В действительности, большая заслуга в избавлении владимирцев от произвола Федорца принадлежит митрополиту Константину, приказавшему казнить самозванного владыку на Песьем острове под Киевом, но летописец восторгается Боголюбским. Видимо, этому автору принадлежат также тексты, повествующие о великом княжении Глеба Юрьевича и его смерти. Отношение летописца к князю вполне сочувственное. В посмертном панегирике он называет Глеба благоверным, братолюбцем и благонравным: «В то же время преставися благов'ѣрный князь Гл'ѣбъ, сынъ Юрьевъ, внукъ Володимерь, въ Ки'ѣв'ѣ княжив два л'ѣта, сей б'ѣ князь братолюбець, къ кому любо кр'ѣстъ ц'ѣловашеть, то не ступашеть его и до смерти, бяше же кротокъ, благонравенъ, манастыр'ѣ любя ч'ѣрн'ѣцькии чинъ чтяше, нищая добр'ѣ набдяше».[3]

Если принять во внимание, что Глеб Юрьевич умер не своей смертью, а был отравлен боярами Григорием Хатовичем, Олексой Святославцем и Степаньцем, за что Андрей Боголюбский обвинил Ростиславичей, такую высокую аттестацию князя можно расценить как попытку отвести от киевлян подозрения в его убийстве. Разве могла у кого-то подняться рука на такого благочестивого и всеми любимого князя?

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 77.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 578.
[3] Там же. Стб. 563.

После смерти Глеба Юрьевича на киевском столе за пять лет (1171–1176 гг.) сменилось шесть князей: Владимир Мстиславич, Роман Ростиславич, Всеволод Юрьевич, Рюрик Ростиславич, Святослав Всеволодич, Ярослав Изяславич. Некоторые из них — Ярослав Изяславич, Святослав Всеволодич и Роман Ростиславич — княжили в Киеве дважды. Конечно, уследить за таким количеством великих князей, а тем более обстоятельно описать их киевские деяния было очень сложно. Видимо, не случайно летописные записи в это время сокращаются в размерах и не отличаются особой информативностью. И вряд ли следует объяснять отсутствие полнокровных великокняжеских летописей ряда князей за эти годы в Киевском своде XII в. идеологической предвзятостью позднейших летописцев или их сюзеренов. Наверное, какие-то потери имели место, но главной причиной было то, что эти летописи просто не были написаны.

Составной частью Киевского свода является «Повесть об убиении Андрея Боголюбского». В киевской летописи она помещена под 1175 г. и по объему составляет большую часть летописной статьи. Авторство ее чаще всего приписывают Кузьмищу Киянину, одному из действующих лиц Боголюбовской трагедии 1174 г.[1]

Ниже мы специально остановимся на проблеме авторства «Повести», сейчас же перейдем к ее анализу.* Начинается она традиционным в подобных случаях сообщением о смерти князя. Боголюбский назван сыном Юрия и внуком Владимира, что соответствует стилистическому приему владимиро-суздальских летописцев. Дальше без логической связи с известием о смерти рассказывается об основании князем города «именем Боголюбый», который находился на таком расстоянии от Владимира, как Вышгород от Киева. Аналогия Боголюбова с Вышгородом обусловлена, по-видимому, не только совпадением их удаленности от столиц княжеств, но также и тем, что до ухода на северо-восток Руси Андрей Юрьевич был вышгородским князем.

Затем летописец поместил похвалу Боголюбскому, которая воздается за его любовь к Богу и Пречистой Матери, за строительство храмов в Боголюбове и Владимире и их необыкновенное убранство иконами, церковными сосудами, золотой ковкой и другими украшениями. Деяния князя кажутся автору «Повести» столь значительными, что он считает возможным сравнить их с Соломоновыми свершениями: «Уподобися царю Соломону, яко дом Господу Богу и церковь преславну свя-

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 78.

* Речь будет идти о «Повести» в ее пространном варианте, содержащемся в Ипатьевской летописи.

тыя Богородица и удиви ю паче всихъ церквии, подобна то҃ѣ Святая Святыхъ юже б҃ѣ Соломонъ царь премудрый создалъ».[1]

Описание пятиглавого Успенского собора во Владимире, как справедливо считает Б. А. Рыбаков, следует считать позднейшей вставкой, которая явно подражает основному тексту «Повести». Она могла быть сделана не раньше 1189 г., когда Всеволод Большое Гнездо перестроил храм и добавил ему еще четыре купола.[2]

Вслед за описанием строительной деятельности Андрея Юрьевича в Боголюбове (и Владимире) автор «Повести» говорит о создании им многих монастырей, о попечении монашествующих, заботах о больных и нищих. Он как второй мудрый Соломон был добродетельный: «Веляшеть по вся дни возити по городу брашно и питье различное болнымъ и нищимъ на потребу, и видя всякого нищего приходящего к соб҃ѣ просить, подавая имъ, прошенья ихъ».[3]

Эта часть «Повести» явно перекликается с летописной статьей 996 г., рассказывающей о благодеяниях Владимира Святославича после завершения строительства Десятинной церкви. Там тоже летописец ссылается на пример Соломона, который говорил: «Вдаяй нищему, Богу в заимъ даеть». Владимир Святославич, заботясь о бедных, приказывал своим слугам грузить хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед, квас на телеги и развозить по городу: «Кде больнии и нищь, не могы ходити, т҃ѣмъ раздаваху на потребу».[4] Такое впечатление, что автор «Повести» списывает портрет Боголюбского с портрета его знаменитого прапрадеда Владимира Святого.

В представлении автора «Повести» Андрей Боголюбский такой же страстотерпец, как святые братья Борис и Глеб. Он будто бы знал о готовящемся покушении («Князь же Андр҃ѣи вражное оубийство слышавъ напередъ»), но ничего не предпринял, чтобы предотвратить его. Таким образом, отдал жизнь «не за друга, но за самого творца, создавшаго всячьская от небытья въ бытье, душю свою положи т҃ѣмъ в память убьенья твоего страстотерпьче княже Андр҃ѣю».[5] Летописец обращается к нему с просьбой, как это делали его предшественники по отношению к святым Борису и Глебу, молиться за свой народ и землю Русскую. «Ты же, страстотерпче, молися ко всемогущему Богу о племени своемь, и о сродниц҃ѣхъ, и о земл҃ѣ Руськои дати мирови миръ».[6]

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 581.
[2] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 93.
[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 584.
[4] ПВЛ. Ч. 1. С. 86.
[5] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 585.
[6] Там же.

Произнеся восторженную похвалу Андрею Боголюбскому и, по существу, причислив его к сонму русских святых, автор «Повести» затем возвращается к прерванному рассказу о самом убийстве. Делает он это при помощи традиционного речевого оборота: «Мы же на преднее възвратимся». Эту фразу летописец произнесет еще раз после того, как последовательная ткань рассказа будет разорвана словами апостола Павла о повиновении всякой души властям и Иоанна Златоуста: «кто противится власти, противится закону Божью».[1]

В описании убийства Андрея Боголюбского есть место, которое как бы объединяет трагическую кончину владимиро-суздальского князя и святого Глеба. Обращаясь к убийцам, Боголюбский сказал: «О горе вамъ нечестивыи, что уподобистеся Горясѣру что вы оучинихъ, аще кровь мою прольясте на землѣ».[2] Вряд ли эта фраза провозглашена князем, скорее всего она имеет литературное происхождение и принадлежит самому автору «Повести», постоянно обращающемуся к южнорусским историческим параллелям.

К их числу относятся также слова оплакивавших своего князя горожан Владимира: «Уже ли Киеву поѣха господине в ту церковь, теми Золотыми вороты, их же дѣлать послалъ бяше тои церкви на Велицем дворѣ на Ярославлѣ, а река: хочю создати церковь таку же, ака же ворота си золота, да будеть память всему отечьству моему».[3]

Б. А. Рыбаков считает, что Андрей Боголюбский незадолго до своей смерти послал мастеров в Киев ремонтировать или украшать Золотые ворота Ярославова города, а также украсить золотом какую-то церковь внутри Ярославова двора. Скорее всего, как думал Б. А. Рыбаков, речь идет о Георгиевской церкви у Золотых ворот, которая была построена Ярославом Мудрым в честь своего христианского патрона, который был патроном и Юрия Долгорукого.[4]

Думается, слишком буквальное прочтение приведенной выше фразы неприемлемо. Мастеров в Киев Андрей Боголюбский посылал не для строительства там храма «в память всему отечеству», которого историческая топография Киева и не знает, а для заимствования образцов, достойных быть воспроизведенными во Владимире. Наверное, здесь речь идет об Успенском соборе и Золотых воротах Владимира, прототипами которым послужил Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Как когда-то Киев строился по константинопольскому образцу, так Владимир времен Андрея Боголюбского, конкурируя с Киевом в политиче-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 592.
[2] Там же. Стб. 587.
[3] Там же. Стб. 593.
[4] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 99.

ской жизни, пытался во всем наследовать киевский пример. В этом явлении сказывалось закономерное желание просвещенного, с одной стороны, дистанцироваться от просветителя, а с другой — во всем походить на него.

В заключительной части «Повести» автор вновь выходит на обобщение, прославляющее Андрея Боголюбского за его мученическую смерть. Он убежден, что Андрей единодушно будет причислен к Божьим угодникам, как святые Борис и Глеб: «И со братома своима с Романомъ и съ Давыдомъ единодушно ко Хресту Богу притче, и в райстии пищи водворяясь неизреченьно с нима».[1]

Кто же написал эту драматическую повесть? Согласно Б. А. Рыбакову, детализация историко-топографических ориентиров Боголюбова, а также ссылки на южнорусские и киевские аналогии свидетельствуют, что «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» в ее Ипатьевском варианте писалась для киевлян. Ее язык указывает на южнорусское происхождение автора, однако не столько киевское, сколько черниговo-сиверское. Основанием для этого служит характерное употребление местоимений «та» и «тот», а также замена «въ» на «у», что присуще якобы чернигово-сиверскому диалекту древнерусского языка.[2]

Наличие в тексте «Повести» южнорусизмов отмечал также Н. Н. Воронин. К таковым он относил слова «паробок» и «паробцы», употребленные автором в рассказе о плаче Кузьмища Киянина, а также в диалоге Андрея Боголюбского с убийцами.[3] Видимо, к южнорусизмам следует отнести и слово «оксамит», которое впоследствии вошло в лексический фонд украинского языка.

Что касается имени автора «Повести», то в историографии высказаны на этот счет несколько точек зрения. Согласно наиболее распространенной, «Повесть» написана Кузьмищем Киянином, одним из ее ключевых персонажей. Впервые она была предложена К. Н. Бестужевым-Рюминым, полагавшим, что Кузьмище Киянин был лицом приближенным к князю и безусловно преданным ему. «Повесть» представляет собой целостное литературное произведение, не имеющее признаков составления ее из разных частей.[4] Вывод о Кузьмище Киянине как авторе «Повести» был поддержан затем И. Хрущовым, который, однако, не считал,

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 594.

[2] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 79.

[3] *Воронин Н. Н.* Повесть об убийстве Андрея Боголюбского и ее автор // История СССР. № 3. 1963. С. 88.

[4] *Бестужев-Рюмин К. Н.* О составе русских летописей до конца XV века. СПб.,1868. С. 105–107.

что все произведение принадлежит ему. «Похвала» была составлена позже и, очевидно, владимирцем.[1] Кузьмища Киянина считали автором «Повести» Д. С. Лихачев, М. Н. Тихомиров, а также Б. А. Рыбаков, посвятивший этой проблеме специальное исследование.[2]

М. П. Погодин и М. Д. Приселков склонялись к мысли, что автором «Повести» был церковник владимирского Успенского собора, который вел летописные записи в княжение Андрея Боголюбского и был составителем владимирского летописного свода 1177 г. М. Д. Приселков назвал и имя этого летописца. Это «игумен» Успенского собора Феодул, упомянутый в краткой версии «Повести», содержащейся в Лаврентьевской летописи.[3]

Оригинальное решение проблемы авторства «Повести» предложила В. П. Адрианова-Перетц. По ее мнению, текст Ипатьевской летописи сложился под пером составителя Киевского свода 1200 г., который соединил житийно-панегирический некролог Лаврентьевской летописи с рассказом Кузьмищи Киянина, полным страсти и не всегда реалистических подробностей. К числу домыслов автора В. П. Адрианова-Перетц относила сюжеты о пьянстве заговорщиков в медуше, об упреках Андрея убийцам, о его попытке скрыться под лестницей.[4]

Н. Н. Воронин в обстоятельном исследовании «Повести» пришел к выводу, что, во-первых, она представляет собой сложное произведение, состоящее из нескольких частей, а во-вторых, автором ее был никак не Кузьмище Киянин, а поп Микула, также упоминаемый в ней.[5] Решающим аргументом в пользу такого вывода Н. Н. Воронин считал наличие южнорусизмов в «Повести», которые будто бы принадлежат попу Микуле, пришедшему в свое время на северо-восток со своим князем из Вышгорода. Что касается состава «Повести», то в ней кроме собственно авторского материала, который обличает в ее составителе давнего и близкого советника князя, он использовал данные следствия по делу заговорщиков, в допросе которых, возможно, участвовал и сам.[6]

---

[1] *Хрущов И. П.* О древнерусских исторических повестях и сказаниях XI–XII столетий. К., 1878. С. 138–143.

[2] *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 241–246 ; *Тихомиров М. Н.* Городская письменность в древней Руси XI–XIII вв. Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. IX. 1983. С. 65–66; *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 79–104.

[3] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. С. 76.

[4] *Адрианова-Перетц В. П.* О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI–XV вв.). ТОДРЛ. Т. XVI. С. 15–17.

[5] *Воронин Н. Н.* Повесть об убийстве... С. 87–88.

[6] Там же.

Из краткого пересказа мнений исследователей относительно автора «Повести об убиении Андрея Боголюбского» можно сделать вывод, что проблема эта не имеет однозначного решения. Какие бы аргументы ни приводились в пользу той или иной точки зрения, всегда найдется достаточное количество таких, которые поставят их под сомнение. Например, вывод Н. Н. Воронина о том, что южнорусизмы языка «Повести» свидетельствуют в пользу авторства попа Микулы, выходца из Вышгорода, легко опровергается тем, что и Кузьмище, судя по своему прозвищу «Киянин», имел южнорусское происхождение. То же самое относится и к упоминанию Вышгорода, которое в равной степени может быть отнесено как к Микуле, так и к Кузьмище Киянину. К тому же, если признать, что параллель Боголюбов—Вышгород могла преследовать цель уподобить нового «мученика» святым Борису и Глебу, то ее появление в тексте вообще не обязательно должно связываться с лицом южнорусского происхождения. Не имеет Микула преимущества перед Кузьмищем и по количеству упоминаний их имен в «Повести»: первый назван в ней два раза, тогда как второй — шесть.

Все аргументы Н. Н. Воронина в пользу авторства Микулы были убедительно отведены Б. А. Рыбаковым, полагающим, что нет решительно никаких оснований подвергать сомнениям традиционную точку зрения. Не казалась Б. А. Рыбакову продуктивной и точка зрения, считающая, что над «Повестью» трудились два автора. Он не отрицает присутствия в ней двух разнородных стилей — простого описательно-разговорного и несколько приподнято-патетического, но полагает, что обоими мог владеть один автор. При всем различии обоих стилей, как думал Б. А. Рыбаков, их нельзя рассматривать как результат искусственного слияния двух разных по языку произведений.[1]

Действительно, права Кузьмища Киянина на авторство выглядят значительно предпочтительнее, чем других персонажей «Повести». Он первым вступился за убитого и поруганного князя, был прекрасно осведомлен обо всем, что делалось в замке. Он долго прожил при дворе Боголюбского и хорошо знал его милостников. Когда ключник Амбал на просьбу Кузьмища положить тело князя на ковер и прикрыть его корзном ответил, что они вообще хотят выкинуть тело на съедение псам, тот обрушил на него гневную речь. В ней он напомнил Амбалу, в каких портках тот пришел к Боголюбскому и в какие оксамиты одет теперь. «Помнишь ли Жидовине въ которыхъ порътѣхъ пришелъ бяшеть, ты нынѣ в оксамитѣ стоиши, а князь нагъ лежитъ».[2] Кузьмище добился того, чтобы Амбал дал ковер и корзно, в которые он обернул тело князя

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 85–86.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 590–591.

и занес в притвор храма. Вероятно, не без участия Кузьмища пришел на третий день к бездыханному телу Боголюбского игумен монастыря святых Кузьмы и Демяна Арсений, чтобы отпеть князя и положить его в гроб.

Таким образом, из содержания «Повести» явствует, что именно Кузьмище Киянин был наиболее осведомлен о трагических событиях, связанных с убийством Боголюбского, и несомненно рассказал о них современникам и потомкам. По существу, с этим был согласен и Н. Н. Воронин, который, однако, отводил Кузьмищу роль устного рассказчика, фактически информатора. Литературно его рассказ был обработан составителем «Повести» и дополнен конкретными подробностями, которых будто бы не мог знать пришлый «киянин».[1]

Если бы «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» не имела других текстов кроме тех, что повествуют о разыгравшейся в Боголюбове трагедии, наверное, авторство Кузьмища Киянина было бы вне подозрений. Но она содержит также торжественный панегирик Боголюбскому, который как бы обрамляет страшный рассказ рассуждениями о заслугах князя перед христианской верой и церковью, о его христолюбии и благоверии, о деяниях, равных Соломоновым, о мученической смерти и богоугодности. Панегирик изобилует цитатами из священных писаний, молитвенными обращениями к Богу и Пречистой Богородице. Особенно впечатляет молитва раненого князя, в которой он просит Бога простить ему грехи, смирить его душу и причислить к лику святых мучеников. «Господи призри на немощь мою и вижь смиренье мое и зьлую мою печаль, и скорбь мою одержащюю мя нын'ѣ, да уповая терьплю, о всихъ сих благодарю тя Господи, яко смирилъ еси душю мою и в царствии твоемь причастьника мя створи, и се нын'ѣ Господи аще и кровь и мою прольють, а причти мя вь лики святехъ мученикъ твоихъ».[2]

Приведенный отрывок не оставляет сомнения в том, что панегирик Боголюбскому и его молитва написаны духовным лицом, обладавшим широкой богословской эрудицией и хорошим литературным талантом. Кузьмище Киянин, судя по свидетельству «Повести», отношения к церковному клиру не имел и вряд ли мог сподобиться на такое сочинение. Из пяти действующих персонажей боголюбовской трагедии, участвовавших в посмертной судьбе Боголюбского, четверо были духовными лицами: игумены Арсений и Федул, поп Микулица и деместник Лука. Наверное, из соискателей авторства панегирика и моления можно исключить регента церковного хора Луку, а также Арсения, не принадлежавшего, судя по его собственному заявлению, к старейшим игуменам

[1] *Воронин Н. Н.* Повесть об убийстве... С. 86.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 588–589.

Владимира. Выбор, таким образом, сузился до двух возможных претендентов — «игумена Святой Богородицы Володимирскои» Федула, ездившего с владимирскими клирошанами в Боголюбово за телом Андрея, и попа Микулицы, организовавшего торжественную встречу тела князя у Серебряных ворот и народный «плач» по нему.

М. Д. Приселкову казалось, что автором «Повести» был игумен Федул, единственный из пяти перечисленных выше лиц упомянутый в ее кратком варианте, содержащемся в Лаврентьевской летописи, Н. Н. Воронин отдавал предпочтение попу Микуле.[1] Прямых данных на этот счет у нас нет, косвенные говорят лишь о том, что панегирик Андрею Боголюбскому пишет лицо из близкого окружения князя, знающее его не только по Владимиру, но и по более раннему периоду. Об этом говорит уже первая фраза «Повести»: «Сый благов'ѣрный и христолюбивый князь Андр'ѣи от млады версты Христа возлюбивъ и Пречистую его Матерь».[2]

Панегирик и молитва проникнуты состраданием автора к трагическому завершению земного пути Андрея, а также уверенностью, что за свою мученическую смерть он достоин причисления к лику святых. Конечно, так писать мог только человек, очень близкий к Боголюбскому, переживший его смерть как свою личную трагедию. Наверное, это был игумен Федул. Погребение Боголюбского в Успенском храме как бы обязывало его придать этому событию торжественный характер, показать убиенного князя как защитника веры Христовой и великомученика, равного Борису и Глебу. Конечно, у Федула, занимавшегося летописанием, для сочинения панегирика были все возможности. Что касается особой близости автора к князю, то у нас нет данных, которые бы говорили о преимуществе в этом плане Микулы перед Федулом.

Когда и где написана «Повесть об убиении Андрея Боголюбского»? Н. Н. Воронин полагал, что подобные биографии выдающихся деятелей писались обычно вскоре после их смерти. Исходя из этой посылки, а также принимая во внимание наличие в «Повести» реальных подробностей, горячность и взволнованность стиля, он пришел к выводу, что она написана в пылу еще не остывших впечатлений, по свежим следам событий, возможно в конце лета 1174 г.[3] М. Д. Приселков полагал, что временем создания «Повести», вероятно, следует считать 1177 г., когда составлялся Владимирский летописный свод.[4] И. Хрущов датировал ее

[1] *Воронин Н. Н.* Повесть об убийстве... С. 87.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 580.
[3] *Воронин Н. Н.* Повесть об убийстве... С. 92.
[4] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 64–65, 71.

временем между 6 июля 1175 г. и 27 июня 1177 г.[1] Согласно Е. Ю. Перфецкому, создание «Повести» относится к концу 70-х годов, когда Всеволод в борьбе за власть пытался канонизировать убитого брата.[2]

Почти единодушное признание исследователями того факта, что «Повесть» написана во время, близкое к событию, по существу не оставляет сомнения в ее владимирском происхождении. По стилю она перекликается с киевской литературной традицией, однако идейно совершенно расходится с ней. В Киеве в 1174 г. о Боголюбском, осуществившем два разорительных похода в Южную Русь, невозможно было услышать не то что восторженных, но и просто сочувственных высказываний. Наоборот, в летописной статье 1174 г. Ипатьевской летописи киевский автор с нескрываемым сарказмом характеризует Андрея, который «исполнившись высокоумья» и «разгордевься велми», а также «погуби смысл свой невоздержанием».[3]

Пытаясь ответить на вопрос, когда эта панегирическая «Повесть» оказалась в Южной Руси, Н. Н. Воронин высказал оригинальное, хотя и ничем не подкрепленное мнение, что ее принес туда сам автор — поп Микула. Под давлением Всеволода Большое Гнездо «Повесть» была якобы внесена в Киевскую летопись и должна была служить авторитету владимирской династии.[4] Странно, что Всеволод не проявил аналогичной обеспокоенности относительно владимирского летописания и не настоял, чтобы и в него был внесен полный текст «Повести». М. Д. Приселков полагал, что она попала в Киевский свод конца XII в. в 1200 г. через черниговского летописца Святослава Ольговича и его потомков.[5] В. П. Адрианова-Перетц представляла себе историю ипатьевского текста «Повести» как результат редакторской работы составителя Киевского свода 1200 г., соединившего в одно произведение житийно-панегирический некролог Лаврентьевской летописи с рассказом Кузьмище Киянина.

Видимо, мы должны смириться с тем, что на основании имеющихся свидетельств нам не удастся определить, когда и какими путями «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» оказалась в Южной Руси. Более или менее уверенно можно только утверждать, что киевские летописцы не имели к ее составлению и редактированию никакого отношения. Соединение двух частей «Повести» безусловно является твор-

---

[1] *Хрущов И.* Древнерусские исторические повести... С. 142.

[2] *Перфецкий Е. Ю.* Русские летописные своды и их взаимоотношения. Братислава, 1922. С. 47–50.

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 572–577.

[4] *Воронин Н. Н.* Повесть об убийстве... С. 97.

[5] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 95.

чеством владимирского летописца, а киевский (наверное, это был игумен Моисей) только поместил ее под соответствующим годом в своем своде.

Очевидно, и давления никакого не было со стороны Всеволода Юрьевича, как думал Н. Н. Воронин. Скорее всего, он вообще не знал, что где-то в далеком от него Киеве над сведением отдельных летописных повестей трудится игумен Моисей. Если предположить цензорский надсмотр над созданием Киевского свода со стороны Всеволода, тогда невозможно объяснить, почему он настоял на включении в него «Повести» и не позаботился, чтобы были сглажены или изъяты отрицательные характеристики Боголюбского в других местах летописи. Ведь идеологически они диссонируют с общей тональностью «Повести» и последняя кажется среди соседствующих с ней текстов несколько чужеродной. Известно, что Моисей был приверженцем великого киевского князя Рюрика и всего рода Ростиславичей, но это не помешало ему включить в летопись панегирическую повесть о Боголюбском. Наверное, этот пример свидетельствует о большей идеологической лояльности летописцев к чужим текстам, чем кажется современным историкам.

Судя по продолжению летописной статьи 1175 г., в которой рассказывается о наступившей после смерти Боголюбского княжеской междоусобице во Владимиро-Суздальской земле, а также по статьям 1176 и 1177 гг., повествующим о перипетиях борьбы за наследие Андрея, кроме «Повести» в руках киевского сводчика летописи были и другие владимирские записи. Б. А. Рыбаков, будучи убежденным, что вся «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» написана Кузьмищем Киянином, полагал, что именно ему принадлежат тексты о событиях во Владимирской земле в 1174–1177 гг. Больше того, Кузьмище являлся также автором текстов, рассказывающих о черниговских делах. При этом свои прославления брата Андрея Михалка Юрьевича и Святослава Всеволодича Кузьмище будто бы составил в Чернигове, куда он, как предполагает Б. А. Рыбаков, прибыл в 1174–1175 гг.[1]

Внелетописных данных для подтверждения высказанного предположения нет, летописные совершенно не свидетельствуют в его пользу. Пространные и достаточно подробные тексты о владимирской усобице князей Михалка Юрьевича и Ярополка Ростиславича указывают на то, что описывает их непосредственный свидетель. Был ли это Кузьмище Киянин или игумен Федул, сказать определенно сложно. Некоторое предпочтение можно отдать Федулу на том основании, что в тексте содержатся постоянные обращения к Святой Богородице. Крестное целование утверждается Святой Богородицей, утверждение Ярополка

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 119–120.

Ростиславича во Владимире уточнено ссылкой на то, что сел он «на столѣ въ святѣи Богородице». Когда молодые князья Ростиславичи дали волю своим боярам, летописец отмечает, что пострадала от них прежде всего Святая Богородица (Успенский собор). «Намногое имание святѣ Богородицѣ Володимѣрьскоѣ злато и серебро вьзяста, первыи день ключи полатни церьковныхъ отяста и городъ ая и дани, что бяше далъ церкви тои князь Андрѣи».[1] Конечно, такая подробность, как изъятие ключей от церковной ризницы Ростиславичами в первый день их пребывания на владимирском столе, могла быть ведома только лицу, который ведал этими ключами, — игумену Федулу.

Что касается небольших текстов о черниговских делах, то они не обязательно должны принадлежать владимирскому летописцу. О них, несомненно, хорошо были осведомлены в Киеве. К тому же летописные статьи 1175–1177 гг. содержат и другие известия, сообщающие о событиях в Смоленской и Волынской землях.

В Южной Руси тем временем продолжалась борьба за владение великокняжеским столом. После Романа Ростиславича киевским князем стал Святослав Всеволодич. Летописная статья 1177 г. сообщает, что смена князей произошла мирно. Под предлогом нежелания губить Русскую землю Роман отдал Киев Святославу, а сам ушел в Смоленск. В действительности Ростиславичи не отказались от своих прав на Киев и вскоре добьются от Святослава согласия на то, чтобы киевский стол занимали одновременно два князя: Святослав Всеволодич и Рюрик Ростиславич. Летописец инициативу этого мудрого решения отдает Рюрику, который после совета со своими боярами объявил о нем Святославу. «И размысливъ с мужи своими, угадавъ бѣ Святославъ старѣи лѣты и урядився с нимь, съступи ему старѣшинства и Киева, а собѣ взя всю Рускую землю».[2] Это оригинальное соправительство продолжалось до смерти Святослава (1194 г.) и достаточно подробно освещено в летописи.

Характерной особенностью киевского летописания этого периода являлось то, что хроники жизни и деятельности двух великих князей велись двумя разными летописцами. В Киевском своде 1200 г. они слились в одну летопись, но внимательное прочтение обнаруживает информативное и идеологическое различие ее отдельных частей. Летописец Святослава Всеволодича, прославляя великого князя, одновременно интересуется делами всего клана черниговских князей, сообщает об их съездах и совещаниях. Можно думать, что свою летопись он вел в родовом гнезде черниговских князей на Дорогожичах, где находились

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 598–599.

[2] Там же. Стб. 624.

Кирилловский монастырь и «Новый» княжий двор.[1] Летописец Рюрика Ростиславича вел свою хронику в Выдубицком монастыре или же в Белгороде Киевском, являвшемся по существу его великокняжеской резиденцией.

Соперничество князей закономерно отразилось и на их летописцах. В то время как летописец Святослава стремится везде поставить на первое место своего князя, что было близким к реальности, летописец Рюрика подчеркивал, что именно его князь является хозяином Русской земли. Соединенные Моисеем в единый текст, отдельные свидетельства кажутся не очень четкими и даже несколько курьезными. К таковым, например, относится следующий его стилистический штамп: «Того же лѣта Богъ вложи въ сердце Святославу князю Киевскому и великому князю Рюрикови Ростиславичю».[2] Не может быть сомнения, что здесь объединены тексты двух разных летописцев: первый взят из летописи Святослава, а второй из летописи Рюрика. При этом понижение статуса Святослава, видимо, принадлежит Моисею. В тех местах, где летопись Святослава включена без изменений, он также называется великим князем: «В то же время великый князь Всеволодичь Святославъ шелъ бяшеть в Карачевъ».[3]

В ряде мест куски летописей Святослава и Рюрика вставлены в общий текст без редакционных изменений. Свидетельством этому может быть статья 1184 г., в которой говорится об освящении на Великом дворе Киева церкви св. Василия. Перечислив всех участников торжественного действа, летописец заметил, что сооружена она Святославом Всеволодичем. Он же устроил пир по этому поводу, на котором присутствовали митрополит Никифор, епископы, игумены и кияне. Не было среди участников праздника только Рюрика Ростиславича. В статье 1190 г., сообщающей о поставлении епископа Белгороду, говорится лишь о Рюрике и совершенно ничего не сказано об участии в этом ритуале Святослава. «Того же летѣ преставися епископъ Бълогородьскии Максимъ. Рюрикъ же в него мѣсто постави епископомъ отца своего духовнаго игумена святаго Михаила Андрѣяиа Выдобычиского».[4]

В этом сообщении особый интерес представляет уточнение, что игумен Андриан был духовником Рюрика Ростиславича. Не дает ли это нам основание предполагать, что Андриан являлся не только духовником, но и летописцем великого князя? Более информированного о жизни и деятельности Рюрика лица найти невозможно. Андрианову летопись

[1] *Толочко П. П.* Древний Киев. К., 1983. С. 202–204.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 630.
[3] Там же. Стб. 644–645.
[4] Там же. Стб. 666.

продолжил игумен Моисей, оставивший о своем предшественнике добрые слова в статье 1198 г. Рассказав о торжественном освящении церкви св. Апостолов в Белгороде как епископского храма, на котором присутствовали Рюрик Ростиславич, митрополит Никифор и епископ Андриан, летописец заметил: «епископомъ Андрѣаномъ тоя церкви столъ добрѣ правяща».[1]

Б. А. Рыбаков, пытаясь ответить на вопрос, кто был летописцем великого киевского князя Рюрика Ростиславича, пришел к неожиданному и даже парадоксальному выводу, что это Петр Бориславич. После смерти Изяслава Мстиславича в 1154 г. он будто бы не перестал вести своих записей, но теперь они стали для него личной летописью.[2] После утверждения на киевском столе Мстислава Изяславича в 1167 г. Петр Бориславич ведет уже не личные заметки, а великокняжескую летопись. В 1168 г. произошел конфликт Мстислава с братьями Бориславичами и Петр вновь становится частным летописателем. Тем не менее он продолжает делать заметки о Мстиславе до самой его смерти 19 августа 1170 г., хотя тон их меняется. Ни почтительности, ни благожелательности в них уже нет. В 1170–1171 гг., судя по обилию в летописи мелких провинциальных заметок, как предполагал Б. А. Рыбаков, Петр Бориславич покинул Киев и переселился на Волынь. Вновь востребованным он оказался в годы соправительства на киевском столе Рюрика Ростиславича и Святослава Всеволодича. С 1180/81 г. и до конца своих дней (умер в 1196 г.) Петр Бориславич оставался летописцем Рюрика.[3]

Разумеется, перед нами не реальная биография летописца, восстановленная на основании документальных данных, а предполагаемая, явившаяся результатом творческого вдохновения Б. А. Рыбакова. Теоретически так могло быть, а практически доказать это невозможно. И речь не об необычном долголетии Петра Бориславича и его политической непотопляемости при всех режимах. Древнерусская история знает такие примеры. Речь о том, что нет ни одного факта в пользу такой версии. После 1168 г. имя Петра Бориславича не встречается на страницах летописи, что, продолжай он вести частную и великокняжескую летописи еще в продолжение 32 лет, кажется невероятным. Да и в 1168 г. имя Петра Бориславича занесено на страницы летописи не им, а летописцем Печерского монастыря Поликарпом или его помощником.

Кажется также странным, чтобы такой многоопытный летописец, каким предстает перед нами Петр Бориславич в изображении Б. А. Ры-

---

[1] ПСРЛ. *Т. 2.* Стб. 706.

[2] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 386 и сл.

[3] Там же. С. 390.

бакова, не позаботился об изъятии из летописи позорящего его рассказа о краже коней и клевете на Мстислава Изяславича. Б. А. Рыбаков объясняет это тем, что в своей летописно-редакционной работе в 1180-е годы Петр Бориславич не воспользовался сводом Поликарпа.[1] Но почему не воспользовался? Не имел доступа к нему, что, учитывая его придворность, кажется маловероятным или же не интересовался им, что для летописца — редактора с многолетним стажем кажется и вовсе необъяснимым? Ведь Моисей, как утверждает Б. А. Рыбаков, включил в свой свод не только летопись Поликарпа, но и частные киево-дорогобужские заметки Петра Бориславича. Кстати странно, что этого не сделал сам Петр, который якобы редактировал летопись в 1190 г.[2]

Анализируя группу статей 1181–1196 гг., Б. А. Рыбаков пришел к выводу, что она почти неотличима от массива летописных статей за 1146–1154 гг. Их близость прослеживается в четкости языка, лишенного каких-либо диалектизмов, светском характере текстов, киевской приуроченности хроники, внимании ее к Черным Клобукам и др.[3]

В действительности неотличимой близости нет. Летописец Рюрика значительно более лапидарен, чем летописец Изяслава Мстиславича. Его хроника за 16 лет великого княжения Рюрика составляет едва ли третью часть летописи Изяслава, описывающей период вдвое короче. Что касается языка, то его четкость в обоих массивах статей не может являться свидетельством принадлежности одному автору. Заметно отличаются хроники одна от другой в употреблении слов, а также летописных клише, рядом других особенностей. Выше уже отмечалось как характерная манера письма Петра Бориславича употребление полногласного существительного «веремя»: «В то же веремя приб҃гоша из Руси д҃цкы» или «В то же веремя Изяславъ посла посолъ свои къ Ростиславу». Ничего похожего в летописи Рюрика нет. Существительное «веремя» в ней не употребляется вообще, а начало предложений с временным определением имеет совершенно иное клише: «В то же л҃то»; «Того же л҃та». Примерно со статьи 1190 г. наряду с приведенными широко входят в летописные тексты выражения, начинающиеся словами: «Тое же зимы», «Тое же осени».

При внимательном прочтении летописи Рюрика Ростиславича не находит подтверждения и тезис Б. А. Рыбакова о светском характере ее автора. Вот как читается статья 1180 г., рассказывающая о согласии

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 303.
[2] Там же. С. 176 и сл.
[3] Там же. С. 279.

Рюрика быть соправителем Святослава. «Рюрикъ же аче побѣду возма, но ничто же горда учини, но возлюби мира паче рати, ибо жити хотя въ братолюбьи, паче же и хрестьянъ дѣля, ... и урядився с нимь (Святославом. — *П. Т.)* съступи ему старѣшиньства и Киева, а собѣ взя всю Рускую землю и утвердившеся крестомъ честнымъ».[1]

Определенно духовным лицом написана статья 1189 г. о нашествии на Русь половцев и походе на них русских дружин, водимых Святославом Всеволодичем и Рюриком Ростиславичем. В статье имеются все признаки, которые, согласно Б. А. Рыбакову, характеризуют руку Рюриковского летописца (перечисление князей, отправившихся в поход, внимание к Черным Клобукам) и вместе с тем присутствует церковная риторика. Нападение половцев на Русь имеет точную церковную дату: «Месяца февраля, въ 23, въ первую неделю поста». Половцы названы «безбожными Измаильтянами», их ханы Кончак и другие — «окаянными», а победа русских дружин объясняется «Божьемь заступлениемь».[2] Разумеется, эту запись мог сделать и летописец Святослава Всеволодича, но, если это так, тогда на него следует перенести и те специфические черты летописного стиля, которые якобы характеризуют письмо Рюрикового летописца.

Когда в 1194 г. Рюрик Ростиславич после смерти Святослава занимал киевский стол, то «изидоша противу ему со кресты митрополитъ, игумени вси, и Кияне вси от мала и до велика с радостью великою Рюрикъ же вшедъ во святую Софью и поклонися святому Спасу и святѣи Богородицѣ».[3] Несомненно, эта запись сделана летописцем Рюрика.

Б. А. Рыбакову, чтобы подтвердить свое предположение о светскости летописца Рюрика и отсутствии в его текстах церковной фразеологии, пришлось «отдать» все записи, где таких выражений много, игумену Моисею.[4]

Речь идет, в частности, о некрологах князьям Ростиславичам. Наверное, о чем скажем ниже, Моисей прошелся по некроложным известиям первого Рюрикового летописца своей редакторской рукой, однако полагать, что до него их в летописи вообще не было, невозможно. Такие записи, как «престави же ся князь Мьстиславъ, сынъ Ростиславль, внукъ великого князя Мстислава месяца июля въ 13 (день), святыя мученица Анкюлины, въ день пятничныи и возма причащение на святои литургии, и тако спрятавше тело его съ честью и съ благохваль-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 623–624.
[2] Там же. Стб. 628.
[3] Там же. Стб. 681.
[4] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 132–133.

ными песнями, и с кадилы благоуханьными»,[1] несомненно, должны были быть сделаны сразу же после события.

О летописце Святослава можно сказать, что он был духовным лицом, но назвать хотя бы предположительно его имя нет никакой возможности. Ни в одном из принадлежащих ему текстов нет и намека на именное его присутствие. Летопись его достаточно объемна и вряд ли следует подозревать игумена Моисея, что он из идеологических соображений при составлении свода использовал из нее только какую-то часть текстов. Она никак не меньше летописи Рюрика за те же годы, а уж ее-то Моисей определенно не сокращал. Ссора между Рюриком и Святославом, случившаяся в 1190 г. и, по мнению Б. А. Рыбакова, послужившая основанием для выборочного использования Моисеем летописи Святослава, по существу в их отношениях ничего не изменила. Не разошелся идеологически с летописанием Рюрика и летописец Святослава, продолжавший относиться к соправителю своего сюзерена так же лояльно, как и прежде.

В летописной статье 1185 г. содержится «Повесть о походе Игореве». Она состоит из трех частей: собственно повести о походе Игоря в степь; описания последствий для Южной Руси поражения новгород-сиверских дружин; рассказа о пребывании Игоря в половецком плену и его побеге в Русь. «Повесть» не производит впечатления цельного произведения, написанного по единому замыслу. Каждая ее часть писалась отдельно по мере разворачивания событий и получения о них информации.

Согласно Б. А. Рыбакову, посвятившему анализу летописной «Повести о походе Игореве» специальное исследование, она составлена из текстов разных авторов, к тому же плохо объединенных редактором.[2] Первая часть (поход, две битвы) написана летописцем Рюрика, которого якобы выдают здесь подробности в описании маршрута похода, точная дислокация полков, имена князей и воевод, ход двух битв с половцами и восхваление рыцарской доблести Игоря.[3] Вторая часть, рассказывающая об ужасных последствиях поражения Игоря для Южной Руси и действиях Святослава Всеволодича по организации обороны от половецких вторжений, принадлежит перу летописца Святослава.[4] Третья часть «Повести» (плен и побег Игоря) написана без привлечения Рюриковой летописи. В ней нет признаков стиля ее автора, к тому же

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 609.

[2] *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971. С. 172–201.

[3] Там же. С. 174.

[4] Там же. С. 175.

присутствуют фрагменты текста, недоброжелательного Игорю, резко противоречащие содержанию и духу всего повествования. Да и сама третья часть внутренне противоречива. Особенно это будто бы проявлялось в отношении побега Игоря из половецкого плена. Один автор считал, что побег необходим, а другой — видел в этом неразумное мальчишество, объясняемое юностью князя.[1]

В целом «Повесть о походе Игореве», по мнению Б. А. Рыбакова, составлена позднейшим редактором — доброжелателем Игоря — из текстов не менее чем четырех авторов. Свое авторское участие он обозначил благочестивыми сентенциями, всегда благорасположенными к Игорю.[2]

Кто же этот загадочный автор — редактор летописной «Повести о походе Игореве»? Б. А. Рыбаков не склонен был приписывать ее ни одному из двух великокняжеских хронистов. Летописец Святослава был благочестив и любил церковность, но не был сторонником Игоря, летописец Рюрика был расположен к новгород-сиверскому князю, но не был благочестив.[3] На этом основании Б. А. Рыбаков делает вывод, что «Повесть» писал кто-то третий. Наличие в тексте следов галицкого наречия указывает будто бы на его галицкое происхождение. Под 1205 г. в Галицкой летописи упоминается книжник Тимофей: «Бѣ бо Тимофѣи в Галичѣ премудръ книжникъ».[4] Таким образом, заключает Б. А. Рыбаков, «Повесть» могла быть написана Тимофеем по поручению летописца Рюрика Ростиславича. Наиболее вероятной датой составления «Повести» представляются годы 1189–1190, когда составитель мог воспользоваться летописями обоих соправителей, что после ссоры Рюрика и Святослава в 1190 г. сделалось якобы невозможным.[5]

Можно считать, что все в этой красивой версии на грани допустимого. Прежде всего вызывает сомнение трактовка слова «победа» в смысле поражения и отнесения его к галицкому наречию:

1. «Се Богъ силою своею возложилъ на врагы наша побѣду, а на нас — честь и славу».
2. «Игорь же Святославичь тотъ годъ бяшеть в Половцехъ и глаголяше: "Азъ по достоянью моему восприяхъ победу от повеления твоего, Владыко, Господи"».[6]

В первом случае никакого обратного значения слово «победа» не имеет. Оно употреблено в самом что ни есть прямом значении. К не-

[1] *Рыбаков Б. А.* Слово о полку Игореве. С. 176.
[2] Там же. С. 178.
[3] Там же. С. 183.
[4] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 722.
[5] *Рыбаков Б. А.* Слово о полку Игореве. С. 193.
[6] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 640, 649.

счастью для русских, Бог возложил победу не на них, а на их врагов. Во втором тексте предложенная трактовка Б. А. Рыбакова возможна, если только в нем не пропущены слова «врагов наших». Не исключено, что первоначально фраза читалась так: «Азъ по достоянию моему восприях победу враги наша».

Что касается параллелей в Галицкой летописи, то они также небезусловны. Выражение «Бысть побѣда на вси князи Рускыя» вполне воспринимается в прямом значении, как «бысть побеждены вси князи Рускыя». Обратный смысл был бы, если бы летописец сказал: «Бысть побьда всих князии Рускыхъ», то есть их победа, а не над ними. Б. А. Рыбаков приводит также пример из летописной статьи 1268 г., где говорится: «И тако побѣдиша Ляховѣ Русь и убиша от нихъ многих».[1] Но и здесь нет обратного значения слова «победа». Тут ясно говорится о победе Руси: «Победиша Ляхов Русь».

К особым приметам галицкого наречия Б. А. Рыбаков отнес слова «уность» и «днина», с чем также трудно согласиться. Первое слово в различных вариантах многократно встречается на страницах киевской летописи, второе, вероятно, может быть вообще южнорусизмом.

В летописной статье 1205 г., сообщающей о мудром книжнике Тимофее, есть любопытное замечание, что родом он из Киева: «Отечество имѣя во градѣ Кыевѣ».[2] «Мудрым» он мог стать уже в Галиче, но воспитание и книжную образованность, несомненно, получил в Киеве. Поэтому искать в летописи галицизмы и на этом основании высказывать предположение о принадлежности текстов Тимофею вряд ли продуктивно. К тому же если учесть, что летописанием он занимался до 1228 г., о чем пойдет речь ниже, то трудно предположить, чтобы к 1187–1189 гг. он уже был галичанином и каким-то образом вновь оказался в Киеве.

Думается, это слишком сложный анализ. В реальной жизни все было проще. Прежде всего, у нас совершенно нет оснований считать, что первая часть «Повести» написана летописцем Рюрика Ростиславича. Приметы, о которых сказано выше, не могут быть отличительной особенностью только его стиля. Они продиктованы ведь не какой-то особой манерой письма, а характером события. Рассказать о военном походе без того, чтобы не указать состав его участников, маршрут движения, место и ход сражения, не смог бы ни один летописец. К тому же, не будучи участником похода, он всецело зависел от информатора. Мы знаем, что таковым был Беловолод Просович, спасшийся во время битвы на Каяле и прибежавший к Святославу Всеволодичу с трагическим известием. «Приб҃ѣже Б҃ѣловолодъ Просовичъ и повѣда Святославу

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 867.
[2] Там же. Стб. 722.

бывшее о Половц'ѣхъ».[1] Можно предположить, что одним из слушателей этого рассказа был летописец Святослава, который и осуществил его литературную запись. Он свидетель того, как Святослав, выслушав Беловолода и тяжко вздохнув, произнес такие слова: «О люба моя братья и сынов'ѣ, и муж'ѣ земл'ѣ Руско'ѣ, дал ми Богъ притомити погаными, но не воздержавше уности, отвориша ворота на Русьскую землю».[2]

По существу, мысль о том, что легкомысленный поход Игоря на половцев обернулся злом для Русской земли, отчетливо проведена летописцем в первой части «Повести». Зная об отношении Святослава к Игорю («жаль ми бяшеть на Игоря, тако нын'ѣ жалую болми по Игор'ѣ»), летописец вводит в текст покаяние новгород-сиверского князя. В нем тот исповедуется перед Богом в своих грехах, которые считает столь большими, что и жить после их свершения не стоит: «Рече Игорь: "недостойно ми бяшеть жити, и се нын'ѣ вижю отм'ѣстье от Господа Бога моего"».[3] Стилистически покаяние Игоря целиком соответствует манере летописца Святослава Всеволодича, идеологически созвучно второй части «Повести», где великий князь нелицеприятно отзывается о легкомысленном поступке Игоря. Собственно, позиция Святослава, по-видимому, и спровоцировала летописца на сочинение такого покаяния.

Б. А. Рыбаков также считал, что вставки с благочестивой риторикой не могут принадлежать летописцу Рюрика, однако и к авторству летописца Святослава их не отнес. Он полагает, что их сделал третий автор, вероятно составитель и редактор «Повести о походе Игореве в 1185 г.».[4]

Об авторстве второй части Б. А. Рыбаков высказался однозначно. Конечно, это летописец Святослава. Странно только, что он не заметил в ней содержательного повтора с первой частью о последствиях поражения Игоря для южной Руси. Здесь уместно привести две характерные выдержки из второй и первой частей «Повести».

Вторая часть: «И бысть скорбь и туга люта, яко же николи же не бывала во всемь Посемьи и в Нов'ѣгород'ѣ С'ѣверьскомъ и по всеи волости Черниговьскои, князи изымани и дружина изымана, избита и мятяхуться акы в мутве».[5]

Первая часть: «И все смятено пл'ѣномъ и скорбью тогда бывшюю, живии мертвымъ завидять»; «Гд'ѣ нын'ѣ возлюбленыи мои братья, гд'ѣ

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 645.
[2] Там же.
[3] Там же. Стб. 643.
[4] *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве»... С. 175.
[5] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 645.

нынѣ брата моего сынъ, гдѣ чадо рожения моего, гдѣ бояре думающеи, гдѣ мужи храборьствующеи, гдѣ рядъ полъчныи, гдѣ кони и оружья многоцѣньная, не ото всего ли того обнажихся».[1]

Нет сомнения в том, что эти взволнованные слова о драматических последствиях поражения новгород-сиверских дружин на Каяле принадлежат одному автору. Также как и благочестивые заклинания, что эти испытания посланы Богом за грехи.

Первая часть: «Се возда ми Господь по безаконию моему и по злобѣ моеи на мя, и снидоша днесь грѣси мои на главу мою».[2]

Вторая часть: «Се Богъ казня ны грѣхъ ради нашихъ, наведе на ны поганыя».[3]

Не выпадает из общей тональности и третья часть «Повести». Б. А. Рыбаков полагает, что рассказ о свободной и привольной жизни Игоря в половецком плену резко диссонирует со всем предшествующим описанием результатов его похода для новгород-сиверских и черниговских земель. Если бы автор описания жизни Игоря в половецком плену был единомыслен с автором основного текста, то ему лучше было бы умолчать о привольном житье половецкого пленника.[4] Конечно, на фоне того горя, которым обернулся поход Игоря для Руси, рассказ о добром к нему отношении победителей не прибавляет к образу князя положительных черт. Но ведь летописец писал повесть, а не политический портрет. Он и в первой части был в такой же степени объективен. Через покаяние Игоря напомнил современникам, что тот вовсе не был образцом благочестия. Вместе с союзными ему половцами он взял на щит город Глебов возле Переяславля и принес множество страданий его жителям. «Тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьяни».[5]

Это только так кажется, что в одной части «Повести» летописец благоволит Игорю, а в другой относится к нему критически. В действительности отношение к Игорю одинаковое во всех частях. Оно находится в полном соответствии с оценкой Игоревого поступка Святославом Всеволодичем.

Не следует приписывать двум различным авторам и рассказ о душевных терзаниях Игоря относительно побега из половецкого плена. Разве не естественны его желание бежать в Русь и сомнение в рыцарственности такого поступка? Игорь ведь был пленен не один и ему не безразлично, что могли подумать о нем его дружинники. «Азъ славы

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 643–644.
[2] Там же. Стб. 644.
[3] Там же. Стб. 648.
[4] *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве»... С. 176.
[5] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 643.

дѣля не бѣжахъ тогда от дружины, и нынѣ не славнымъ путемь не имамъ поити».[1] К тому же Игорь получал неоднозначные советы относительно побега. Сын тысяцкого и конюший горячо поддержали его, тогда как «думци» назвали его мысль «высокой» (самонадеянной) и не угодной Богу. Они резонно замечают князю, что этот побег может закончиться его поимкой и избиением пленных русичей. И тогда «не будеть славы тобѣ, ни живота».

Мысль о побеге в летописи связывается с юностью князя. Б. А. Рыбаков видит в этом стремление летописца дискредитировать Игоря. Слово «уный» будто бы не приложимо к тридцатилетнему князю. Но ведь во второй части это слово уже было приложено к нему. Святослав Всеволодич назвал поход Игоря в степь «невоздержанием уности». Ничего в этом оскорбительного для новгород-сиверского князя нет. По сравнению со Святославом он, конечно же, был «уным» и по годам, и по занимаемому положению. Однако какой бы смысл ни вкладывался в это слово, для нас важно то, что произнес его один и тот же летописец, бесспорно Святославов.

Подробный рассказ о подготовке и побеге Игоря свидетельствует, что он сам был информатором об этом драматическом событии. Только он мог знать о тех внутренних муках, которые предшествовали принятию им решения о побеге. Только он мог рассказать о том, как вместе с половчином Лавром они скакали на лошадях через половецкие становища, а затем, загнав коней, 11 дней шли пешком до города Донца.

Лицом, слушавшим рассказ Игоря Святославича и записавшим его, мог быть только летописец Святослава. Вывод этот совершенно отчетливо вытекает из заключительных фраз «Повести». Из Новгород-Сиверска Игорь направился к брату Ярославу в Чернигов, а затем к великому князю Святославу в Киев: «Игорь же оттолѣ ѣха ко Киеву к великому князю Святославу, и радъ бысть ему Святославъ».[2] В самом конце летописной статьи 1185 г. сказано, что прибытию в Киев был также рад и Рюрик, однако эти слова являются, несомненно, позднейшей вставкой.

Среди дополнительных аргументов в пользу авторства «Повести» Тимофея Б. А. Рыбаков приводит и тот, что литературно она получилась нескладной, очевидно по молодости и неумению ее автора. Разделить этот вывод нельзя. Повесть отличается ясностью и логичностью изложения, образностью литературного мышления автора: «И все смятено плѣномъ и скорьбью тогда бывшюю, живии мертвымъ завидят». Бояре в летописца «думающии», мужи «храбрствующии», оружие «многоценно». Ничего общего с галицким летописанием «Повесть» не име-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 650.

[2] Там же. Стб. 651.

ет. Конечно, она не выдерживает сравнения со «Словом о полку Игореве», высокой меркой которого ее, очевидно, и мерил Б. А. Рыбаков, но безусловно одна из лучших в ряду летописных повестей.

Церковная фразеология выдает в авторе духовное лицо. И определенно «Повесть» написал не юноша, которому многие изречения, присутствующие в ней, не могли бы и в голову придти. Это умудренный опытом летописец Святослава Всеволодича, огорченный, как и его князь, юношеским легкомыслием Игоря. В последующем она не избежала, вероятно, редакторских вмешательств составителя свода, но считать ее плодом коллективного творчества многих, к тому же идеологически разных летописцев нет оснований.

С 1185 и до 1194 г. (года смерти Святослава Всеволодовича) великокняжения киевская летопись составлена из погодных записей летописцев Рюрика Ростиславича и Святослава Всеволодовича. Вычленить тексты каждого из них непросто, поскольку и тот и другой вполне лояльно относились к соправителю своего князя. Собственно, они лишь отражали характер взаимоотношений своих сюзеренов, которые были не только служебными, но и родственными. Около 1182 г. Святослав женил своего сына Глеба на дочери Рюрика. Летописцы охотно подчеркивали сватовство князей в зачинах погодных статей: «Сдумавъ князь Святославъ со сватомъ своимъ с Рюрикомъ».

Б. А. Рыбаков полагал, что инициатива такого представления князей принадлежала Рюриковому летописцу, но стопроцентной уверенности в этом нет. Первое место в перечне дуумвиров Святослава Всеволодича как будто позволяет отдавать предпочтение его летописцу. Нельзя также утверждать, что после 1186 г. в летописи вообще не ощущается присутствие Святославого летописца. Несомненно, им написан некролог великому князю, ему же, по-видимому, принадлежит часть статьи 1193 г., рассказывающей о переговорах Святослава и Рюрика с половцами и между собой. Узнав, что Рюрик хочет идти в Литву, Святослав обратился к нему с просьбой не покидать в этот трудный час Русскую землю. При этом себе такую вольность он считал возможным позволить: «Святослав же нелюбьемь рече ему (Рюрику. — *П. Т.)*: «Брате и свату ажь ты идешь изо отчины своея на свое орудье, а азь паки иду за Дн҃ѣпръ своихъ деля орудьи, а в Рускои земл҃ѣ кто ны ся останеть».[1] Уточнение, что Рюрик прислушался к совету Святослава, свидетельствует, что пишет об этом летописец последнего. Летописная статья 1194 г. о съезде князей Ольговичей в Карачеве, а также о болезни Святослава также принадлежит его летописцу.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 676.

После смерти Святослава Всеволодича тон киевской летописи резко меняется. Теперь все внимание летописца сосредотачивается на Рюрике Ростиславиче. Казалось бы, обычное событие, единоличное утверждение его на киевском столе, на котором он был и раньше, преподносится как торжественный акт, с необычайной радостью встреченный всей Русской землей. «И по҃ѣха Рюрикъ Кыеву, изидоша противу ему со кресты митрополитъ, игумени вси, и Кияни вси от мала и до велика с радостью великою. Рюрикъ же вшедъ во святую Софью, и поклонися святому Спасу и свят҃ѣи Богородиц҃ѣ и с҃ѣде на стол҃ѣ д҃ѣда своего, и отца своего, славою и съ честью великою, и обрадовася вся Руская земля».[1]

Еще большим пафосом отмечена летописная статья 1199 г., в которой содержится похвала Рюрику игумена Выдубицкого монастыря Моисея, по поводу завершения строительства подпорной стены у Михайловской церкви. Летописец восторгается новым сооружением Милонега, но это только повод, чтобы воздать должное князю Рюрику. Со времен боголюбивого Всеволода, создавшего церковь св. Михаила, сменилось четыре поколения князей и не один не наследовал будто бы такой любви к этому месту. Только пятый — христолюбец Рюрик с благоволения Бога свершил ту стену. Моисей награждает своего князя всеми наилучшими качествами: от Иосифа у него целомудрие, от Моисея — добродетель, от Давида — кротость, от Константина — православье. А еще Рюрик имел «хот҃ѣние же к монастыремъ и ко всимъ церквамъ, и любовь несытну о зданьихъ».[2] Аналогично аттестуется и жена Рюрика Анна, названная христолюбивой, которая всю свою жизнь посвятила попечительству о церквах, малоимущих и всех бедствующих. Моисей замечает, что Рюрик и Анна вместе «патриаршеский труд свѣршающи» и за это заслужили «в҃ѣнѣць от мздыдавця общий».

Свершение стены вылилось в грандиозный праздник, на котором присутствовал князь Рюрик с женою, сын Ростислав с женою, Владимир Святославич, дочь Рюрика Предслава, киевский церковный клир, а также верные киевляне. Для всех был устроен пир, как замечает летописец, «не малъ», на котором накормленными оказались все: «от первыхъ даже и до послѣднихъ».

Выдубицкие монахи во главе с Моисеем, воздав хвалу Богу и святому Михаилу, поблагодарили Рюрика Ростиславича «яко едиными усты глаголюще». Возможно, исполнили торжественную кантату, отрывок которой помещен в летописи: «Отсель бо не на брез҃ѣ ставше, но на ст҃ѣн҃ѣ твоего создания, пою ти песнь поб҃ѣдную, аки Мариамъ древле».[3]

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 681.
[2] Там же. Стб. 710.
[3] Там же. Стб. 714.

Своеобразным апофеозом подобострастного возвеличивания «благомудрого» князя Рюрика являются слова Моисея о создании державы самовластной, известность о которой перешагнула пределы Русской земли. «И дѣла благолюбна, и держава самовластна ко Богу изваяная славою паче звѣздъ небеснахъ, не токмо и в Рускых концехъ вѣдома, но и сущимъ в морѣ далече».[1] Сооружение стены ему кажется новым чудом, которое сподобит верных киевлян больше любить Выдубицкий монастырь и будет привлекать к нему «ото всюду веселие души». Стоящим на этой стене людям покажется, что они «яко аера достигше».

Беспрецедентная прижизненная похвала, в общем-то, не самому выдающемуся князю Руси производит впечатление некоторого подражательства аналогичным произведениям. Моисей, видимо, имел к этому времени в своих руках «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» и задался целью создать произведение, не уступающее ей. Определенное сходство наблюдается в изображении князей как строителей храмов и попечителей церковной монастырской жизни, а также как выдающихся государственных деятелей. Перекликаются оба произведения своей богословской фразеологией, обращением к церковным авторитетам: «Рече великий Златоустець» (Повесть) — «Помяну писание Златоустаго» (Похвала); «И всею добродѣтелью бѣ украшен вторыи мудрыи Соломон» (Повесть) — «Яко же веща Соломон» (Похвала). Андрей Боголюбский за свои благодеяния заслужил от Бога «побѣдный венець». Рюрик за свой патриарший труд также удостоился аналогичной чести: «Да и вѣнѣць от мздыдавця... восприимета».

Похвала игумена Моисея, несомненно, зависима также и от «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. Ее фраза о державе самовластной, известной «не такмо в Рускых концехъ, но и сущимъ в море далече, во всю бо землю изидоша» очень напоминает изречение Илариона о том, что Русь уже в старые времена была «вѣдома и слышима всеми четырми конци земли».

Кроме «Похвалы» великому князю Рюрику Ростиславичу, Моисею принадлежат и другие записи в Киевском летописном своде. Это прежде всего погодные записи, которые предшествуют «Похвале», а также ряд редакционных вставок, в которых заметно выступают симпатии летописца к княжескому роду Ростислава Мстиславича.

На основании характерных некрологических штампов — «приложися ко отцем своим и дедом своим, отдав общий долг, его же несть убежати всякому роженому» и «злата и сребра не собирал, но давал дружине», подмеченных М. Д. Приселковым и Б. А. Рыбаковым, последний

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 713.

отнес к перу Моисея около десяти некрологов Ростиславичей за 1167–1197 г.[1]

Б. А. Рыбаков сомневался в том, были ли некрологи написаны точно в год смерти того или иного князя или же они, как редакторские вставки, включены в момент составления свода. Знакомство со всеми, относимыми к творчеству Моисея некрологами не оставляет сомнения в том, что писались они в год смерти князей, однако позже прошли его литературную обработку и, вероятно, были дополнены новыми текстами. Сказанное хорошо иллюстрируют некрологи сыновьям Ростислава — Святославу, Мстиславу, Роману и Давиду. Все они состоят как бы из двух частей или, что точнее, из двух отдельных некрологов. Первый содержит подробности о времени смерти, месте погребения, а также конкретные заслуги князя перед землей, второй — восторженный панегирик, характеризующийся определенной трафаретностью. И по содержанию, и по стилю они принадлежит разным авторам.

Некролог Мстиславу (первая часть): «Престави же ся князь Мстиславъ, сынъ Ростиславль, внукъ великаго князя Мьстислава, месяца июня въ 13 (день) святыя, мученица Анкюлины, въ день пятничныи и тако спрятавше тѣло его съ чѣстью и с блахвальными пѣснями, и с кадилы благоуханьными Илья епископъ ... и положиша тело его в тои же гробници, идеже лежить Володимеръ, сынъ великаго князя Ярослава Володимѣрича». Завершается эта часть некролога плачем новгородцев, а также сообщением о поминальном обеде, после которого все «розидошася во своя домы».

Не может быть сомнения в том, что перед нами текст современника события. Не будь эта запись сделана сразу же после смерти князя, вспомнить о всех подробностях, содержащихся в ней, через 20 лет невозможно.

Вторая часть производит впечатление своеобразного дополнения к первой, написанного другим летописцем, которому показалось, что современники недооценили Мстислава. «Сии же благовѣрнии князь Мьстиславъ, сынъ Ростиславль възрастомъ середнии бѣ и лицемь лѣпь и всею добродѣтелью украшенъ, и благонравенъ, и любовь имяше ко всимъ, паче же милостини прилежа, манастырѣ набдя, чѣрньцѣ утѣшивая и всѣ игумены утешивая».[2] Дальше в тексте содержатся два летописных штампа («Не собирашеть злата ни сребра, но даяше дружинѣ своеи» и «приложися къ отцемь своимъ и дѣдомъ своимъ, отдавъ общии долгъ, его же нѣсть убѣжати всякому роженому»), которые при-

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 64–65.

[2] Там же. Стб. 610–611.

писываются Моисею. По существу, это безличностная характеристика, которая может быть приложима к любому князю. Моисею показалось недостаточно, чтобы Мстислава оплакивала только Новгородская земля, и он распространяет этот плач на всю Русь: «И плакашася по немь вся земля Руская».[1]

Практически полная аналогия некрологов Роману и Давиду Ростиславичам с описанным выше их брату Мстиславу избавляет нас от необходимости подробного текстологического анализа. Они тоже составлены из двух текстов, современного событию и написанного по истечении значительного времени. Трафаретный его зачин — «Сии же благовѣрныи князь Романъ (или «князь Давидѣ») возрастом высокъ (или «среднии») лицемь красенъ (или «образом лѣпъ), а также наличие в тексте штампов — «приложися к отцем» и «не собирашеть злата», указывают на то, что все три некроложные дополнения принадлежат одному летописцу.

В некрологе князю Давиду имеется запись, которая с большей уверенностью позволяет приписывать его авторство именно Моисею. Речь идет о похвале Давиду Ростиславичу за создание необыкновенной красоты церкви св. Михаила в Смоленске. «Самъ бо сяковъ обычае имѣеть, по вся дни ходя ко церкви святаго архистратига Божия Михаила, юже бѣ самъ создалъ во княженьи своемь, такое же нѣсть в полунощнои странѣ и всимъ приходящимъ к неи дивитися изряднѣи красоте ея, иконы златомь и жемчюгомъ и камениемъ драгимъ украшены и всею благодатью исполнена».[2]

В цитированном тексте отчетливо прочитывается параллель со «Словом» митрополита Илариона, аналогичным образом аттестовавшим Софию Киевскую. Если учесть, что обращение к «Слову» имеет место и в «Похвале Рюрику Ростиславичу», можно сделать вывод, что оба произведения написаны одним и тем же автором.

Видимо, прошелся Моисей своим редакторским пером и по некрологу еще одного сына Ростислава — Святослава, умершего в 1170 г. во время военного похода в Новгородскую землю. Он небольшой, но в нем присутствуют все те словесные штампы, что и в некрологах, рассмотренных выше. После сообщения о смерти и погребении князя в церкви св. Богородицы в Смоленске помещен яркий панегирик, начинающийся и завершающийся традиционными для летописца выражениями: «Сии же благовѣрнии князь Ростиславич Святославъ», а также «не собираше сребра» и «приложися к отцемъ своимъ».[3] О том, что Мои-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 611.
[2] Там же. Стб. 703–704.
[3] Там же. Стб. 550–551.

сей работал над некрологами сыновьям Ростислава, свидетельствует его речь 1198 г., в которой он вспоминает братьев Рюрика: «Братья же его быша добра и благолюбива».

Самые ранние следы редакторских правок Моисея, как полагал Б. А. Рыбаков, ощущаются в описании кончины родоначальника всех Ростиславичей — великого киевского князя Ростислава Мстиславича. В сухой некролог Поликарпа он будто бы вставил два поэтических места: рассказ о слезах умирающего князя и молитву, обращенную к Богородице.[1] Разделить это предположение совершенно невозможно. Описание медленно умиравшего Ростислава, выполненное с необычайной искренностью и документальной обстоятельностью, свидетельствует о том, что оно сделано, скорее всего, очевидцем события. Придумать эти щемящие сердце подробности через 30 лет невозможно. Моисей ведь был летописцем, а не романистом. Некролог завершен фразой «приложивъся къ отцемь своимъ», а также замечанием, что Ростислав сидел на княжении в Киеве восемь лет без месяца. Наверное, только эти ремарки и можно связывать с редакторским вмешательством Моисея в текст своего предшественника.

Заключительная статья Киевского свода в Ипатьевской летописи помещена под 1199 г., однако, как определил Н. Г. Бережков, событие, которому она посвящена, свершилось 24 сентября 1198 г.[2] Разумеется, это не означает, что в этом же году был составлен и весь свод, но тот факт, что он завершается именно этой информацией, а дальше идет статья из летописи Романа Мстиславича, указывает на дату, близкую к провозглашению Моисеем своей яркой речи.

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 65.

[2] *Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания. М., 1963. С. 210.

6. Удельное летописание в Киевском своде конца XII в.

Бурная эпоха феодальной раздробленности Руси характеризовалась не только междукняжескими тяжбами за столы и земли, но и экономическим и политическим укреплением удельных княжеств, строительством их столиц. Явления, которые раньше имели место только в Киеве, постепенно распространялись на другие крупнейшие города Руси. К ним принадлежит, в частности, и традиция исторической письменности, которая в XII в. стала уже уделом не только духовных, но и светских авторов. «Историки и поэты, — писал в XII в. Кирилл Туровский, — летописцы и сказители, внимательно прислушивались к войнам и битвам между монархами, чтобы воспеть и возвеличить тех, кто бесстрашно воевал за своего царя, кто в бою не показывал спину врагам — тех прославить и увенчать похвалами».[1]

Многое из созданного удельными летописцами не дошло до наших дней. Однако и то, что сохранилось, свидетельствует о широкой распространенности исторической письменности на Руси. В Киевском своде заметны следы летописаний черниговского, переяславльского, галицкого и владимиро-суздальского, которые мы и попытаемся показать в этой главе.

Начнем с черниговского летописания. Буйное племя князей Ольговичей, которые не удовлетворялись ролью удельных властителей и постоянно претендовали на киевский великокняжеский стол, не обойдено вниманием летописцев. В Киевском своде события в Черниговской земле XII в. отображены достаточно полно. Частично это было заслугой киевских летописцев, которые делали свои записи со слов очевидцев, частично их черниговских коллег, чьи тексты вошли в Киевскую летопись. Подтверждением этому может быть великокняжеская летопись Изяслава Мстиславича, в которой Б. А. Рыбаков выделил 19 отрывков из летописи Ольговичей. В них положительно описаны черни-

[1] *Кирилл Туровский*. Слово о Никейском соборе // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XV. М.; Л., 1958. С. 344.

говские князья и скрупулезно подсчитан урон, причиненный их добру Изяславом Мстиславичем. Безусловно, только лицо, близкое к князьям Ольговичам, могло знать, что в их загородных хозяйствах-замках паслось три тысячи кобыл-маток и одна тысяча верховых коней, что в хозяйстве трудилось 700 человек челяди, а в погребах было 500 берковцев меда и 80 корчаг вина, что из церкви св. Вознесения забрано две кадильницы, Евангелие, книги, колокола, серебряные сосуды, шитые золотом церковные одежды и др. Победители, как известно, не ведут бухгалтерского учета награбленного, поскольку это не в их интересах. Тут явно ощущается рука летописца Святослава Ольговича.

Информатором о бесчинствах Изяславого воинства в захваченном Путивле, где подвергся разграблению княжий двор Святослава, был не названный по имени дружинник Олега Святославича. «И приде Святославу вѣсть, оже Изяславъ Мьстиславичь пришелъ и городъ его взялъ и вся юже в немъ, Святославе и повѣда ему отца его мужь».[1]

Среди текстов черниговской летописи, видимо, был рассказ об Игоре Ольговиче, завершившийся восторженным некрологом князю. Совершенно невозможно предположить, чтобы он мог быть написан боярином Петром Бориславичем. Текст его сугубо церковный и очень благожелательный к Игорю.

«И тако скончаша и Игоря, князя сына Олгова, бяшеть бо добрыи и поборникъ отечьства своего, в руцѣ Божии преда духъ свои, и съвлѣкъся ризы тлѣньнаго человека, и в нетлѣньную и многострастьную ризу оболкъся Христа».[2]

Несомненно, из летописи Святослава Ольговича взят рассказ о его встрече с Юрием Долгоруким в Москве в 1147 г. В пользу этого свидетельствуют подробности в составе Ольговичей, о последовательности их прибытия к Юрию, о принесенных ему подарках, об ответных дарах владимиро-суздальского князя Святославу, его сыну Олегу и Владимиру Святославичу.

Следы летописца Святослава Ольговича отчетливо прослеживаются в статье 1164 г. Ипатьевской летописи, которая имеет и фрагменты текстов других авторов. После сообщения о прибытии в Русь нового митрополита Иоанна и богатых подарках, полученных Ростиславом Мстиславичем от византийского императора, без логической связи с предыдущим текстом, в другой стилистической манере и с середины предложения, идет рассказ о смерти Святослава Ольговича и вызванные ею страсти вокруг черниговского стола.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 334.

[2] Там же. Стб. 353.

В литературном отношении рассказ откровенно слабый, изложение событий путаное, однако настолько информативный, что не оставляет никакого сомнения в том, что перед нами свидетельство очевидца. Летописец отметил такие детали, как трехдневное утаивание от Олега смерти его отца, клятву епископа на верность Олегу и тайную отсылку грамоты к Святославу Всеволодичу с предложением занять черниговский стол, сговор княгини с епископом и боярами умершего князя об отступничестве от Олега и др. Идейно летописец на стороне Олега, о чем говорит сравнение поступка епископа — «родомъ Грѣчинъ» — с предательством Иуды: «Се же первое цѣлова святаго Спаса, и же створи злое преступленье».[1]

Утверждение на черниговском столе Святослава Всеволодича, которое будто бы произошло с доброго согласия Олега, не вызвало у летописца особого энтузиазма.

Можно думать, что летописец Святослава после смерти своего черниговского сюзерена продолжил делать записи при дворе его сына Олега в Новгороде-Сиверском. В пользу этого свидетельствуют, в частности, летописные статьи 1165–1168 гг., в которых подается относительно полная хроника жизни семьи Олега Святославича и всех Ольговичей.

Под 1165 г. в летописи сообщается о женитьбе Олега на дочери великого киевского князя Ростислава Агафье, под 1166 г. — о смерти жены Святослава Ольговича. В статье 1167 г. детально описывается конфликт Олега со Святославом Всеволодичем из-за волостей. Судя по не очень четкому свидетельству летописи, Олег просил у Святослава волость, которая после смерти князя Святослава Володимировича осталась без хозяина. Святослав не внял его просьбе и отдал «лѣпшую волость» брату, а «сына посади въ Вщижи». Во внутренний конфликт Ольговичей решил вмешаться Ростислав Мстиславич, полагавший, что Святослав ущемил в правах его зятя Олега. Святослав был непреклонен и тогда Олег предпринял военный поход к Стародубу. Он оказался неудачен, но спровоцировал ответный поход Ярослава Всеволодича с половцами к Новгород-Сиверску. Он также не был успешным; не дойдя 15 верст до города, дружины Ярослава повернули назад.

Нет сомнения, что этот конфликт в стане Ольговичей описывает летописец Олега. Он знает, что во время похода к столице княжества объединенных дружин Ярослава и половцев Олег сильно заболел. «Олегъ же бѣ в то веремья несдравуя вельми, яко не мощи ему ни на конь всѣсти».[2] В конце концов, при посредничестве Ростислава, Олег

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 523.
[2] Там же. Стб. 526.

примирился со Святославом и получил-таки от него какие-то четыре города. Несколько ниже летописец сообщает о рождении у Олега сына, которому дали крестильное имя Борис, а княжеское — Святослав, а также о походе против Боняка, завершившемся победой Олега.

В летописной статье 1168 г. содержится обстоятельный рассказ о встрече в городе Чичерске Олегом и его женой великого князя Ростислава. В честь тестя новгород-сиверский князь устроил пышный обед, а затем одарил Ростислава богатыми подарками. Не остался в долгу и киевский князь, также одаривший Олега и его жену. «И приде Чичьрьску, к зяти Олгови, ту бо б҃ѣ Олегъ ждалъ его с женою и поя Олегъ Ростислава на об҃ѣдъ и бысть радость велика въ ть день».[1] Видимо, этой записью и закончилась деятельность летописца Святослава — Олега, поскольку таких благожелательных описаний княжеских деяний последнего на страницах киевской летописи больше не встречается.

Кто был историографом князей Святослава Ольговича и его сына Олега, сказать сложно. Б. А. Рыбаков видел в нем духовное лицо. Его тексты наполнены благочестивыми сентенциями, скрупулезной фиксацией церковных праздников, сведениями о действиях черниговского епископа. Не исключено, что они действительно принадлежат тому самому «попину», который, как доверенное лицо Святослава Ольговича, в 1146 г. был послан с дипломатической миссией в Чернигов. Будучи княжеским секретарем, он безоговорочно оправдывал все действия Святослава и его сына и последовательно подчеркивал криводушие их врагов.[2]

Детальный рассказ о новом конфликте Олега со Святославом Черниговским в 1176–1177 гг., в котором подчеркиваются его поражения и спасения бегством, наверное, принадлежал уже летописцу Святослава Всеволодича. То же самое можно сказать и о сообщении о смерти Олега, содержавшемся в статье 1179 г. Оно хроникальное и не сопровождено даже дежурными фразами сочувствия умершему. «Во том же л҃ѣт҃ѣ преставися Олегъ Святославичь, месяца генваря, въ 16 и положиша у святаго Михаила».[3]

Примерно в 1182–1183 гг. в киевской летописи появляются записи, которые можно отнести к летописанию Игоря Святославича. М. Д. Приселков считал, что киевский сводчик 1200 г. обильно использовал черниговский Летописец Игоря Святославича, который опознается на основании записей, уделяющих особое внимание семейным делам князя.[4]

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 528.

[2] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. С. 310–311.

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 613.

[4] *Приселков М. Д.* История русского летописания. С. 49.

Кроме семейных хроникальных известий этому летописцу принадлежит и рассказ о том, как Игорь, узнав о походе Святослава на половцев, решил и сам последовать его примеру. Для участия в антиполовецком походе 1184 г. он привлек брата Всеволода, племянника Святослава Ольговича и сына Владимира. В это время к границам Руси двинулся во главе четырехсотсабельного отряда половецкий хан Обловы Костукович, с которым и столкнулись дружины Игоря. «Божьимь повеленьем, — как пишет летописец, — Русь погнаша ѣ (половцев. — *П. Т.)* и ту победиша ѣ».[1]

В свое время автору этих строк, находившемуся в плену историографической традиции, казалось, что черниговo-сиверское происхождение имеет также пространная «Повесть о походе Игореве», помещенная в киевской летописи под 1185 г.* Ныне, после углубленного ее изучения, мысль эта не кажется продуктивной, что, однако, не исключает наличия каких-то записей об этом событии и в черниговo-сиверском летописании. Были ли они использованы летописцем Святослава Всеволодича при написании «Повести», сказать трудно. У него, о чем шла речь в предыдущей главе, имелась хорошая устная информация, что называется, из первых рук.

Вполне отчетливый фрагмент Игоревой летописи внесен киевским летописцем в статью 1191 г. По существу, он и составил ее содержание. Это сравнительно небольшой рассказ о том, как Игорь осуществил два похода на половцев. Из первого он вернулся «ополонишася скотомъ и конми», из второго, предпринятого всеми Ольговичами, судя по объяснению летописца, едва ноги унес. Кем-то предупрежденные, половцы хорошо подготовились к встрече русских. Сообразив, что застать половцев врасплох не удалось, и не надеясь на благополучный исход сражения, Ольговичи под покровом ночи ушли домой. Обратный марш их был столь стремителен, что пустившиеся за ними в погоню половцы так и не смогли их настичь. «Половцы же освѣтивъшеся и не узрѣша ихъ, и гонишеся по нихъ, и не постигоша ихъ».[2]

Под 1195 г. в киевской летописи подробно описываются переговоры Рюрика Ростиславича с черниговскими князьями. Их содержанием был вопрос о наследовании Киева. Судя по тому, что киевский князь

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 633.

* На принадлежности «Повести» летописцу Игоря Святославича настаивал М. Д. Приселков, считавший, что его выдают здесь такие житейские и психологические детали, которые могли быть известны только самому князю. Благодаря близкому личному знакомству летописца с Игорем они попали на страницы летописи. См.: *Приселков М. Д.* История русского летописания. С. 51.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 673.

обращается за поддержкой к Всеволоду Юрьевичу, требования Ольговичей ему казались угрожающими. От имени брата Давида Смоленского и Всеволода Рюрик просит черниговских князей оставить претензии на Киев, поскольку это отчина Володимирового племени: «Како насъ раздѣлилъ дѣдъ нашъ Ярославъ по Днѣпръ, а Кыевъ вы не надобѣ».[1] В ответном послании Ольговичи заявили, что при жизни Рюрика они не будут бороться за Киев, но, если их вообще вынуждают отказаться от него, клятвы такой они дать не могут. Ведь они «есмы не Угре, ни Ляхове, но единого дѣда есмы внуци».[2]

Ольговичи, по существу, повторили то, что 20 лет назад уже сказал Святослав Всеволодич. На обращенье к нему Ярослава Изяславича, только что занявшего киевский престол, отказаться от претензий на Киев, который будто бы никогда не был отчиной Ольговичей, Святослав заявил решительным несогласием. «Святослав же поча ему (Ярославу. — *П. Т.)* молвити: "Я не Угринъ, ни Ляхъ, но одиного дѣда есмы внуци, а колико тобѣ до него, только и мнѣ"».[3]

Конечно, эти знаменитые слова, которые в такой необычной форме выразили общерусское значение Киева, были записаны черниговскими летописцами. Киевским, последовательно проводившим мысль о Киеве как отчине Володимирового племени, это и в голову не могло придти. Может вызвать удивление только то, что этот черниговский лозунг был дважды внесен в киевскую летопись, но мы уже неоднократно имели случай убедиться в том, что сводчики летописей не были жесткими идеологическими цензорами.

Видимо, из Черниговской летописи взяты сведения о походе князей Ольговичей к Витебску в том же 1195 г. Из разъяснений Рюрика Ростиславича явствует, что своей волей он передал Витебск Ярославу Черниговскому, а тот, не дождавшись решения великого князя, попытался овладеть им силой. К Витебску был послан Олег Святославич, занявшийся по дороге грабежами в Смоленской земле. Против него выступили Мстислав Романович и Ростислав Владимирович со смоленским полком. Ольговичей поддержали полочане. Началась локальная война. Судя по тому, как она описана в киевской летописи, первичная информация о ней была зафиксирована черниговским летописцем. По ходу кампании Олег Святославич слал в Чернигов к старшему князю земли Ярославу донесения о своих победах. Выпросив у Бориса Друцкого плененного им Мстислава Романовича, Олег немедленно сообщает об этом своему дяде Ярославу: «И посла вѣсть ко строеви своему к Черь-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 688.
[2] Там же. Стб. 689.
[3] Там же. Стб. 578.

нигову ко Ярославу и братьи своеи и повѣда имъ: «Мьстислава есмь ялъ и полкъ его побѣдилъ».[1] Далее Олег просит Ярослава немедля выступить с другими черниговскими князьями к Смоленску, чтобы закрепить его победу. Ярослав так и поступил, чем вызвал неудовольствие Рюрика Ростиславича. После получения от великого князя крестных грамот он прекратил поход к Смоленску и вернулся в Чернигов.

Можно полагать, что черниговскому летописцу принадлежит и некролог князю Всеволоду Святославичу, помещенный в статье 1196 г. Он небольшой, но содержащий яркий панегирик умершему князю. Летописец сообщает, что похороны состоялись в церкви св. Богородицы в Чернигове и сопровождались «плачемь великымъ и рыданиемъ» черниговцев. Особенные погребальные почести Всеволоду летописец объясняет тем, что он был во всех Ольговичах «удалѣе рожаемь и воспитаемь, и возрастомъ, и всею добротою, и множьственою доблестью, и любовь имѣяше ко всимъ».[2]

Некролог завершен фразой: «И приложиша ко отцемь своимъ и дѣдомъ давъ общии долгъ, ему же нѣсть убѣжати всякому роженому».[3] В предыдущей главе уже отмечалось, что такое завершение некрологов характерно для игумена Моисея. Но там речь шла о некрологах князей Ростиславичей, к которым он имел особые симпатии и поэтому украшал их своими дополнениями. Всеволод принадлежал к неспокойному племени Ольговичей, к которым никогда не благоволили летописцы «Владимирового племени», и почему Моисей почтил своим вниманием именно этого князя, сказать трудно. Умерший двумя годами раньше великий киевский князь Святослав Всеволодич такой чести от него не удостоился.

Следы переяславльского летописания в киевской летописи XII в. ощущаются менее отчетливо, хотя содержание ряда записей позволяет предполагать их наличие. Одной из них может быть сообщение о болезни князя Игоря, посаженного Изяславом Мстиславичем в переяславльский поруб в 1146 г. и его просьбе о пострижении в монастырь. Стилистически текст отличен от манеры письма Изяславого летописца, в нем чувствуется рука духовного лица: «И присла Игорь къ Изяславу, моляся и кланяяся река тако: “Брате се боленъ есми велми, а прошю у тебе пострижения”».[4] Далее Игорь сообщает, что мысль о пострижении была у него еще при княжении, а теперь, когда он в такой нужде и болен, он хотел бы ее исполнить. Изяслав Мстиславич внял

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 692.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 337.

просьбе Игоря, выпустил его из поруба и велел епископу Евфимию постричь его в монастырь. После того как «Богъ отда ему (Игорю. — *П. Т.*) немощи», он был переведен в Киев в монастырь св. Федора, где игуменом и братией был принят в схиму: «И призва игумена и братью, свершивъ же ся об'ѣщалъ пострижеся в манастырь святаго Федора».[1]

Эта переяславльская запись вставлена в чужой текст. Перед ней речь идет о походе союзников киевского князя на Святослава Ольговича к Карачеву (сам Изяслав вернулся в Киев), после нее этот прерванный рассказ продолжен с полуслова. Когда запись оказалась в составе Киевской летописи, сказать сложно. Не исключено, что это случилось уже при составлении свода 1198 г.

Несколько записей Киевского свода конца XII в. взяты из летописи князя Владимира Глебовича, занимавшего переяславльский стол с 1169 по 1187 г. Летописная статья 1185 г., рассказывающая о нападении половцев под водительством Кончака на Переяславль, высоко аттестует Владимира. Он «дерзъ и кр'ѣпокъ к рати», выехал из города с небольшой дружиной и храбро сразился с половцами. Летописец как бы наблюдает за дерзкой вылазкой Владимира. Он сообщает об окружении половцами переяславльской дружины, а также о выходе из города нового отряда, который отбил у них раненого князя. «Тогда прочии видивше князя своего кр'ѣпко бьющеся, выринушася из города и тако отяша князя своего, язвена сущи треми копьи». В город Владимир въехал «утре мужественаго поту своего за отчину свою».[2] Дальше летописец сообщает, что переяславльский князь послал в Киев к Святославу и Рюрику гонцов с просьбой оказать ему помощь.

Видимо, летописцу Владимира Глебовича принадлежит также запись 1187 г., извещающая о болезни и смерти князя. Занемог Владимир во время возвращения из похода на половцев. В город его внесли на носилках еще живого, где он вскоре и умер: «м'ѣсяца априля в 18 день». После сообщения о погребении в церкви св. Михаила следует восторженный панегирик умершему князю. Летописец отмечает, что Владимир был наполнен всякими добродетелями: любил дружину, не собирал золота, добро раздавал дружине, был крепок на рати и исполнен большого мужества. Когда он умер, то «плакашася по немь вси Переяславльци... о нем же Оукраина много постона».[3] Конечно, такую запись мог сделать только человек, который вместе с переяславльцами оплакивал своего князя.*

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 337–338.

[2] Там же. Стб. 647.

[3] Там же. Стб. 653.

* Более подробно о переяславльском летописании речь пойдет в главе «Летописание Северо-Восточной Руси», которое, по мнению М. Д. Приселкова.

В киевской летописи имеется комплекс галицких известий: о пребывании при дворе Ярослава Осмомысла византийского царевича Андроника, о конфликте Ярослава со своим сыном Владимиром, о борьбе князей за наследие Ярослава, о княжении в Галиче Владимира Ярославича, о попытке венгерского короля подчинить себе Галичину и др. Разумеется, при тех постоянных связях Киева и Галича, которые имели место в XII в., наличие в киевской летописи галицких известий не должно удивлять. Информация о событиях в Галичине могла приходить в Киев вместе с ее носителями. Известно, что Ярослав Осмомысл поддерживал дружеские отношения с киевскими князьями Ростиславом Мстиславичем и Мстиславом Изяславичем и неоднократно присылал Киеву «галичьскую помощь». В 1170 г. в Киев прибыл воевода Ярослава Константин Сирославич во главе с галицким полком для оказания помощи Мстиславу Изяславичу в возвращении утерянного стола. На юге Руси, несомненно, и в Киеве тоже, дважды побывал мятежный сын Осмомысла Владимир — в 1174 и 1184–1185 гг. Через Киев возвращалась во Владимир на Клязьме жена Ярослава Ольга Юрьевна. И наконец, гостем киевского князя Рюрика Ростиславича в 1187 г. был Олег «Настасич», внебрачный сын Осмомысла. Если прибавить в этому регулярные церковные и торговые отношения Киева и Галича, то станет очевидной непродуктивность поиска единого источника информации о галицких событиях.

И тем не менее некоторые галицкие известия производят впечатление письменных свидетельств. К таковым может быть отнесена, в частности, запись о пребывании в Галиче царьградского соискателя трона Андроника. Летописец не только фиксирует этот факт, но и сообщает ряд подробностей. Вначале Ярослав выделил Андронику во владение несколько городов, а затем, когда из Царьграда было прислано за царевичем посольство во главе с двумя митрополитами, отправил его с почестями домой. «Ярославъ же пусти к нему (царю. — *П. Т.*) с великою честью, приставивъ к нему (Андронику. — *П. Т.*) пискупа своего Кузьму и мужа своя передния».[1]

Видимо, с письменного свидетельства списал киевский летописец в статье 1174 г. историю о конфликте Ярослава Осмомысла с женой Ольгой и галичанами, в результате чего она с сыном Владимиром и многими боярами покинула Галич и сбежала в Польщу. Там беглецы пробыли восемь месяцев, а в это время в Галиче произошло настоящее восстание. Галичане взяли под арест Ярослава, отправили в заточенье

среди своих источников имело княжеские и епископские своды, составленные в Переяславле Русском.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 524.

его внебрачного сына Олега, а любовницу Настасью сожгли на костре. В статье также рассказывается о тайных переговорах Владимира Ярославича со Святославом Мстиславичем о передаче галицкому княжичу города Червеня. За это Владимир брал на себя обязательство, в случае обретения галицкого стола, вернуть Святославу Бужск и придать к нему еще три города. Святослав согласился с таким предложением, на чем князья и целовали крест.

Бесспорно, к числу галицких письменных свидетельств следует отнести и текст статьи 1187 г., рассказывающий о смерти Ярослава Осмомысла и его завещании. Степень детализации рассказа и характер некролога указывает на то, что их автор современник события, несомненно сторонник умершего князя и, наверное, духовное лицо. Он свидетельствует, что Ярослав умер «месяца октября, въ первый день, а во второй день положенъ бысть во церкви Святыя Богородица». Далее идет похвала князю за то, что был «мудръ и рѣченъ языкомъ, и богобоинъ, и честенъ в землехъ, и славенъ полкы», за то, что обустроил землю, любил странных и кормил нищих, любил черноризцев и ходил в законе Божьем.[1]

Стилистически некролог Ярославу Осмомыслу явно не вписывается в манеру письма двух киевских великокняжеских летописцев. Не был он отредактирован и игуменом Моисеем. Видимо, он вставил в соответствующее место готовый текст, который оказался в его руках.

То же самое можно сказать и о завещании Ярослава, которое записано очевидцем последних дней жизни князя. Он знает, что Осмомысл, находясь на смертном одре, три дня молился и просил прощения у своих близких за свои грехи. Затем велел раздавать добро свое монастырям и нищим, после чего объявил княжью волю: «А се приказываю мѣсто свое Олгови, сынови своему меншему, а Володимѣру даю Перемышль; и урядив ю, и приводи Володимѣра ко крѣсту и мужи Галичкыя».[2] Летописец посчитал необходимым тут же объяснить столь странное решение Ярослава тем, что Олег Настасич «бѣ ему милъ, а Володимѣръ не хожаше в волѣ его».[3] А закончил он свою запись известием о вспыхнувшем после смерти Ярослава мятеже в Галиче, в результате которого Олег вынужден был уступить стол Владимиру.

Наверное, не без использования письменных свидетельств из Галича составлено пространное повествование киевской летописи о борьбе за галицкий стол, развернувшейся после смерти Ярослава. В нее были вовлечены Владимир Ярославич, Роман Мстиславич, оба вели-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 656.
[2] Там же. Стб. 657.
[3] Там же.

кие киевские князья Святослав и Рюрик, а также венгерский король. Многие подробности взаимоотношений Владимира с галичанами, как и с венгерским королем, к которому он обратился за помощью в возвращении Галича, не могли быть зафиксированы киевским летописцем с чьих-то слов. Кто-то из галичан их записал по свежим следам.

Б. А. Рыбаков полагал, что источником галицких известий для киевской летописи, возможно, был галичанин Тимофей, человек книжный и церковный, появившийся в Киеве в 1189–1190 гг. и проживший в нем около года. По поручению летописца Рюрика он будто бы и составил галицкие записи для киевской летописи.[1] Более правдоподобным могло бы быть предположение, что Тимофей пришел в Киев уже с готовыми записями о галицких событиях, однако ни первое, ни второе предположение подтвердить нечем.

Что касается владимиро-суздальского летописания в Киевской летописи, то оно помимо «Повести об убиении Андрея Боголюбского» представлено и рядом других записей. Под 1181 г. в летописи сообщается о кончине княгини Ольги, дочери Юрия Долгорукого, в пострижении монахини Ефросиньи; под 1182 г. — о кончине Изяслава Глебовича и погребении его в Успенском соборе Владимира; под 1183 г. говорится о большом пожаре во Владимире, от которого сгорел чуть ли не весь город; под 1193 г. летопись сообщает о большой строительной программе Всеволода Большое Гнездо во Владимире и Суздали, а также о постригах его сына Ярослава и рождении сына Владимира. Наверное, многие владимиро-суздальские известия были записаны в Киеве со слов, посещавших столицу Руси жителей Владимиро-Суздальской земли, однако ряд текстов свидетельствует об использовании сводчиком киевской летописи письменных записей своих владимирских коллег.

К их числу относится статья 1183 г., рассказывающая о пожаре в столице княжества. «В том же л'ѣт'ѣ бысть пожаръ великъ въ град'ѣ Вълодимери, месяца априля в 13 день, въ среду, погор'ѣ бо мало не весь городъ, и княжь дворъ великый сгор'ѣ и церквии числом 32, и сборная церкви святая Богородица Златоверхая и вся 5 верховъ златая сгор'ѣ».[2] Дальше летописец с бухгалтерской точностью перечисляет все, что сгорело в Успенском соборе. Это различные узорочья, паникадила серебряные, сосуды золотые и серебряные, порты, шитые золотом и жемчугом, и др. Разумеется, без наличия у киевского летописца письменного свидетельства написать такой текст невозможно.*

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 156–159, 162.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 630.

* Указание на пять верхов Успенского собора появилось уже после 1192 г., когда Всеволод достроил храму еще четыре купола.

Три владимирские записи вставил сводчик киевской летописи в статью 1192 г. Все они имеют стереотипное начало — «Того же лѣта» — и рассказывают о постригах Ярослава Всеволодича, о строительстве детинца во Владимире, о рождении сына Всеволода Владимира. Не располагай летописец готовыми записями, ему бы и в голову не пришло разыскивать сведения о столь незначительных для Киева событиях.

Известия киевской летописи из других земель Руси не имеют сколько-нибудь широкой информативной наполненности и, по-видимому, являются творчеством киевских летописцев. Их интересовали преимущественно такие события, как перемещения князей на столах, поставления и смерть епископов, междукняжеские брачные связи: «Того же лѣта Смольнянѣ выгнаша от себе Романовича Ярополка»;[1] «В то же лѣто преставися епископъ Полотьскии именем Дионисии»;[2] «Того же лѣта преставися Глѣбовая Рязаньская»;[3] «Въ лѣто 6686. Прислаша Новгородци мужѣ свои ко Мьстиславу к Ростиславичю, зовуче к Новгороду Великому»[4] и др.

Подводя краткий итог исследованию удельного летописания в Киевском своде конца XII в., следует отметить факт постоянного интереса киевских летописцев к тому, что происходило в других землях Руси. Собирая устные и письменные свидетельства и внося их в свой свод, киевские книжники воссоздавали широкую картину исторического развития всей огромной страны: от киевского юга до новгородского севера и от Прикарпатья до Суздальско-Залесского края. Ни с одного другого города Руси столь широкий исторический горизонт еще не просматривался.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 598.
[2] Там же. Стб. 629.
[3] Там же. Стб. 612.
[4] Там же. Стб. 606.

7. Киевское летописание XIII в.

Продолжением Киевского летописного свода конца XII в. в Ипатьевской летописи есть Галицко-Волынская летопись. Это обстоятельство, обусловленное случайностью, наличием в руках составителя Ипатьевского списка именно таких летописных сводов, несколько искажает картину южнорусского летописания первой половины XIII в. Оно наводит на мысль, что в силу каких-то причин киевская летописная традиция в это время прервалась и основными информаторами об исторических событиях в Южной Руси стали галицкие и волынские летописцы.

Такой вывод совершенно не соответствует действительному положению дел. Еще М. С. Грушевский отмечал ошибочность подобного взгляда. «Летописание в Киеве продолжалось в тех же направлениях, которые определились в XII в., и хотя от XIII в. не осталось для нас местного свода, какие имеем для XI и XII вв., однако в компиляциях северных, а отчасти и в галицко-волынской летописи имеем некоторые фрагменты повестевой литературы, которые служат непосредственным продолжением летописания XII в.»[1] К таковым М. С. Грушевский справедливо относил записи во Владимиро-Суздальской летописи об усобице Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича, помещенные под 1202–1203 гг. Своим характером и стилем изложения эти сообщения ничем не отличаются от киевского летописания XII в., а уровень информированности о поочередном владении Киевом Романом (1202 г.) и Рюриком (1203 г.) не оставляет сомнения в том, что автором этих записей был киевлянин.[2] Подобные заимствования из киевских источников, по мнению М. С. Грушевского, идут до конца первой трети XIII в. Последним летописным произведением киевских летописцев историк считал «Повесть о битве на Калке». Потери, понесенные Киевом в битве с татарами, оказались для него фатальными. На поле сражения полег цвет киевского рыцарства вместе с князем Мстиславом.[3]

---

[1] *Грушевьский М. С.* Історія української літератури. Том 3. К., 1993. С. 69.
[2] Там же. С. 70–71.
[3] Там же. С. 75.

М. Д. Приселков не был уверен в том, что в XIII в. киевское княжеское летописание сохранилось как непрерывная хроника, но полагал, что какие-то записи велись в Киеве еще в 1238 г.[1]

Позже эта мысль была развита В. Т. Пашуто, считавшим, что летописание в Киеве продолжалось до самого татаро-монгольского нашествия. Он даже выделил Киевский летописный свод 1238 г., следы которого обнаруживаются в новгородских и галицко-волынских переработках, а также в некоторых позднесредневековых летописях. Проанализировав известия по истории южной Руси первых десятилетий XIII в., содержащиеся в Воскресенской летописи, В. Т. Пашуто пришел к убеждению, что ее составители пользовались сходным с Ипатьевским списком киевской летописи, доводившей свое изложение до 1238 г. Из этого источника заимствовала южнорусские известия XIII в. и Новгородская владычная летопись.[2]

В полном объеме свод 1238 г. не сохранился ни в одном из известных списков. Единственным источником, который, по мнению В. Т. Пашуто, не только подтверждает вывод о существовании киевской летописи первых десятилетий XIII в., но и пополняет ее рядом неизвестных исторических фактов, является «Historia Polonicae» Яна Длугоша (XVв.). Первым, кто поставил вопрос о необходимости изучения русских известий, заключенных в этом труде, был К. Н. Бестужев-Рюмин.[3] В последующем историки подтвердили его предположение, что в основе труда польского хрониста были достоверные русские источники. Исходя из того что Длугош не сообщил в своей истории факта занятия монголо-татарами Киева, В. Т. Пашуто высказал весьма правдоподобное предположение, что он не имел в своих руках Галицко-Волынской летописи нынешнего состава, но пользовался Киевской летописью Рюрика Ростиславича и сводом 1238 г.[4]

Из приведенного краткого историографического обзора явствует, что тема киевского летописания первой половины XIII в. не принадлежит к числу обстоятельно изученных историками. Высказанные авторами мысли нуждаются в серьезном обосновании текстологическим анализом конкретных текстов, которые вышли из-под пера киевских летописцев. При этом мы, видимо, должны смириться с тем, что на один вопрос, связанный с киевским летописанием XIII в., ответить нам не

---

[1] *Приселков М. Д.* История русского летописания. С. 54.

[2] *Пашуто В. Т.* Очерки истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 22–67.

[3] *Бестужев-Рюмин К. Н.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб.,1868. С. 64 и сл.

[4] *Пашуто В. Т.* Очерки... С. 26–29.

удастся. Речь идет об обстоятельствах, приведших к утрате Киевской летописи первой половины XIII в. как самостоятельного и цельного свода.

Первая киевская запись XIII в. обнаруживается в Лаврентьевской летописи в статье 1202 г. Она отличается от предшествующего ей текста не только содержанием, но и своей стилистикой. В ней, без какой-либо смысловой связи со сказанным раньше, сообщается о конфликте киевского князя Рюрика с галицко-волынским князем Романом Мстиславичем. Рассказ обнаруживает не только хорошую информированность летописца о нюансах взаимоотношений тестя и зятя, но и эффект авторского присутствия. Он знает, что Рюрик замышлял поход на Галич, но Роман упредил его. Подробно описывается, как переходили на сторону галицко-волынского князя Черные Клобуки, а также гарнизоны городов Русской земли, как киевляне открыли Роману ворота Подольские в Копыревом конце города, а он, войдя в Подолье, послал на Гору к Рюрику послов с требованием признать его права на Киев. «И отвориша ему Кыяне ворота Подольская в Копырев'ѣ конци, и въ'ѣха в Подолье, и посла на Гору к Рюрикови и ко Олговичем, и води Рюрика къ кресту».[1] Конечно, так описать вступление в Киев полков Романа Мстиславича мог только киевлянин, для которого были привычными названия «ворота Подольские», «Копырев конец», «Подолье».

Судя по всему, киевская запись вставлена владимиро-суздальским летописцем в статью 1202 г. без какой-либо редакции. Он только снабдил ее ремаркой о том, что киевский стол был вручен Ингварю Ярославичу великим князем Всеволодом, правда вместе с Романом: «И посади великыи князь Всеволодъ и Романъ Ингваря Ярославича в Кыев'ѣ».[2]

Практически целиком киевской является статья 1203 г. о взятии Киева войсками Рюрика Ростиславича и его половецких союзников. Летописец в отчаянии от того, что сделали победители с древней столицей Руси. Случилось зло, которого, по его мнению, не было «от крещенья надъ Кыевомъ». Он подробно перечисляет потери, понесенные Киевом, говорит о разграблении святой Софьи, святой Богородицы Десятинной, а также монастырей. Грабители «И иконы одраша, а иные поимаша, и кресты честныя, и ссуды священныя, и книгы и порты блаженыхъ первых князьи, еже бяху пов'ѣшали в церквахъ святехъ на память соб'ѣ.»[3] Кроме того, многие киевляне были истреблены, другие уведены в половецкие становища.

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 417.
[2] Там же. Стб. 418.
[3] Там же.

Столь трагическая картина разгрома Киева Рюриком производит на первый взгляд впечатление своеобразного реванша суздальского летописца за аналогичную картину разгрома столицы Руси союзниками Андрея Боголюбского в 1169 г., нарисованную киевским летописцем. В действительности у нас нет оснований подозревать кого-либо из суздальских книжников в столь изощренном коварстве. Статья написана несомненно киевским автором, наверное тем самым, который сделал и запись 1202 г. В пользу этого свидетельствуют употребление аналогичных названий киевских частей — «Подолье», «Гора», фраза: «То все стася над Киевом за грехи наша», а также точная дата этого трагического события: «Месяца января, въ 20 день, на память святаго Сильвестра, папы Римьскаго».[1]

В других летописных списках указаны иные даты взятия Киева. Московский летописный свод конца XV в. дает 2 января, а Новгородская первая летопись пишет, что Киев был взят «въ 1 день генваря, на святаго Василия». Какая из этих дат истинная, сказать сложно. Некоторые подробности новгородской записи, содержащей известие о присутствии в войске Рюрика двух половецких ханов Кончака и Данила Бяковича, а также о том, как закрылись в церквах иноземные купцы и за половину своих товаров купили себе жизнь, по-видимому, указывают на большую близость ее к киевскому протографу.[2]

В продолжении лаврентьевского варианта этой статьи летописец извещает о военном демарше Романа Мстиславича, осадившего в феврале Рюрика в Овруче и вынудившего его разорвать союз с князьями Ольговичами и половцами. При этом по совету Романа Рюрик посылает к Всеволоду Большое Гнездо посла с просьбой вернуть ему Киев. Тот, «не помяну зла Рюрикова», разрешает ему вновь сесть на киевском столе.

Учитывая реальное положение Всеволода как старейшины русских князей, подобная запись киевского летописца не должна вызывать особого недоумения. Наверное, Рюрик нуждался в подтверждении своих прав на Киев со стороны могущественного князя Северо-Восточной Руси. На счет владимирского редактора здесь можно отнести лишь рекомендацию Всеволода как «боголюбивого и милосердного великого князя».

На какое-то время в Южной Руси установился внутренний мир. Состоялось взаимное целование креста Рюриком, Ольговичами, а также Романом Мстиславичем, которого, по-видимому, не оставляла мысль подчинить себе Киев. Новый конфликт произошел, что называется, на

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 418.

[2] Новгородская первая летопись. М.; Л., 1950. С. 45, 240.

ровном месте. Летописец под 1205 г. сообщает о большом походе русских князей на половцев, в котором приняли участие Рюрик Киевский, Ярослав Переяславльский, сын Всеволода, Роман Галицкий и другие князья. Половцы, испытавшие большие тяготы от лютой зимы, не смогли оказать должного сопротивления и потерпели поражение. Русские, захватив много пленных, а также стада («и стада их заяша»), без потерь вернулись домой. Летописец замечает, что этой победе радовались «вс'Ь хрестьяне Русскои земли».

И вот на фоне общего успеха неожиданно случился раздор. Князья съехались в город Треполь для устроения внутреннего мира. «Ту было мироположение в волостех, — пишет летописец, — кто како терпелъ за Русскую землю».[1] Определить по справедливости вклад каждого князя в дело защиты Руси, по-видимому, не удалось, и Роман прибег к силовому решению вопроса. Он пленил Рюрика, отвез в Киев и постриг в монастырь. Такая же участь постигла жену и дочь киевского князя. Его сыновья Ростислав и Владимир были уведены Романом в Галич. Позже, по настоянию Всеволода Юрьевича, Роман отпустил молодых князей в Русь и даже посадил на киевском столе Ростислава.

Вряд ли следует сомневаться, что это сугубо южнорусское событие описано киевским летописцем. В пользу его авторства свидетельствует первое место Рюрика Ростиславича в перечне князей, принявших участие в походе на половцев, а также некоторые подробности трепольского «великого смятения» и его последствий. Можно полагать, что летописец современник события. Он знает, что в Треполь первыми прибыли Рюрик и Роман, а уже затем к ним присоединился Ростислав. Ведома ему и причина опоздания молодого князя: «Быв у шюрина своего у Переяславли».[2] Идеологически позиция летописца по существу не обозначена. Он только зафиксировал событие, не сопроводив его своей собственной оценкой. Рассказ о том, что случившееся со сватом Рюриком опечалило Всеволода Юрьевича и он решил озаботиться Русской землей, по-видимому, принадлежит уже владимиро-суздальскому автору. Определение причины трепольского конфликта происками дьявола — «Единъ же дьявол печален бысть, иже не хочет роду хрестьянскому добра»[3] — выдает в летописце духовное лицо.

В том же 1205 г. Роман Мстиславич гибнет под польским городом Завихостом, а Рюрик Ростиславич возвращается на киевский престол. Содержащаяся об этом запись 1205 г. в Лаврентьевской летописи несомненно имеет киевское происхождение. В ней сообщается, что Рю-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 420.
[2] Там же.
[3] Там же.

рик «смета с себе чернечьскыѣ порты и сѣде Кыевѣ».[1] После этого он предпринимает попытку «растрич» жену, но она уже не пожелала вернуться в мир. В продолжении записи сообщается о взаимном крестоцеловании Рюрика и Ольговичей («И цѣловаша крестъ Рюрикъ къ Олговичемъ и Олговичи к Рюрику»), о неудачном походе союзников к Галичу, а также об изгнании Ростиславом Рюриковичем из Вышгорода Ярослава Владимировича. В записи имеется характерное замечание, которое не оставляет сомнения в том, что сделал ее киевский летописец. Речь идет об оценке похода на Галич. В его неудаче обвинены только Ольговичи, которые «възвратишася с срамом великим в свояси». Поход был совместный, может быть, даже инициированный Рюриком, рассчитывавшим взять реванш за унижение от Романа Мстиславича, но срам почему-то пал только на Ольговичей.

Из киевского летописания происходит также описание борьбы за Киев, которая развернулась между Рюриком и Всеволодом Чермным. В продолжение 1206–1207 гг. Киев переходил поочередно в руки то одного, то другого князя. Симпатии летописца в этой борьбе на стороне Рюрика. Рассказав об изгнании Рюриком из Киева Всеволода Чермного, а из Переяславля его сына, летописец приводит евангельскую притчу, которая будто бы сбылась над Всеволодом. «И сбыся над ним притча еуангельская: "Яко всякъ взносяися смѣрится, а смѣряяся вознесется и пакы еюже мѣрою мѣрите, възмѣрится вам"».[2] Другими словами, Всеволод получил то, что перед этим сделал Рюрику, и летописец явно удовлетворен торжеством справедливости.

В ту же зиму Всеволод предпринял новую попытку изгнать Рюрика из Киева, но она ему не удалась. Простояв под городом три недели, черниговские князья и их традиционные союзники половцы вынуждены были снять осаду. Летописец не без удовлетворения записал: «Възвратишася вспять, не успѣвше ничтоже».[3]

Неудача не остудила Всеволода Чермного и в следующем году он вновь выступил на Киев. На этот раз поход был подготовлен более обстоятельно. Всеволоду удалось собрать для него весь многочисленный клан Ольговичей. Пришла подмога из Галича, где в это время княжил Владимир Игоревич, а также от половцев. Противостоять такой силе Рюрик не мог, а поэтому без боя оставил Киев и ушел в Овруч. Союзники овладели также Треполем, Белгородом и Торческом. Киевским князем вновь стал Всеволод Чермный.

---

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 426.

[2] Там же. Стб. 428.

[3] Там же.

Его победа расценена летописцем как большое зло для всей Русской земли. «Всеволод же Чермныи пришед сѣде в Кыевѣ, много зла створивъ землѣ Рустѣи». Особенно бесчинствовали союзные черниговскому князю половцы. «Они же много зла створиша по земьли плѣнующе, сѣкуще и села жгуще».[1] Вину за это летописец однозначно возлагает на Всеволода, который разрешил поганым воевать и грабить русские города и села. Конечно, так написать мог только киевлянин, которому не безразличной была судьба Киева и Русской земли.

Видимо, этому же летописцу принадлежат краткие записи об очередном возвращении Киева Рюриком Ростиславичем, а также об еще одном безуспешном походе Ольговичей на киевского князя. Особых идеологических предпочтений, которые бы указывали на киевское происхождение этих текстов, нет, но есть стилистические, буквально повторяющие предыдущие записи. «Рюрик же слышав се оже убьенъ бысть Романь» (1205 г.) и «то же слышавъ Рюрикъ оже Всеволодъ великыи князь стоит у Рязани» (1207 г.). Рассказы о двух неудачных для Ольговичей походах заканчиваются стереотипным выражением: «Не успѣвше ничтоже».

В статье 1210 г. Лаврентьевской летописи содержится хроникальное известие об обмене столами между Рюриком Ростиславичем и Всеволодом Чермным. Первый сел в Чернигове, а второй в Киеве. Отсутствие каких-либо подробностей необычного финала драматической борьбы князей за Киев не позволяет относить это известие текстуально к киевскому летописанию. Однако вряд ли приходится сомневаться в том, что суздальский летописец получил эти сведения от киевского информатора или воспользовался какой-то южнорусской записью.

Среди исследователей давно ведется спор о принадлежности повести о первом появлении у границ Руси монголо-татар и драматической битве с ними русских дружин на Калке в 1223 г. К. Н. Бестужев-Рюмин признавал ее автором очевидца из волынцев или галичан.[2] Согласно И. И. Срезневскому, в описании битвы, возможно, отразилось «сказание киевского летописца».[3] М. С. Грушевский видел в летописной статье влияние редактора, близкого Данилу Романовичу и его брату Василько.[4] В советское время аналогичную мысль высказали Л. В. Черепнин и М. Н. Тихомиров. Главным аргументом в пользу такого вывода

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 429.

[2] *Бестужев-Рюмин К. Н.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб. 1868. С. 154.

[3] *Срезневский И. И.* Древние памятники русского письма и языка X–XIV вв. 2-е изд. СПб. 1882. С. 98–99.

[4] *Грушевський М. С.* Історія України—Руси. Львів, 1890. Т. 2. С. 346.

исследователи считали благосклонное отношение летописца к Данилу Галицкому.[1]

По мнению А. В. Эммаусского, в летописной статье 1224 г. Ипатьевской летописи отражен ряд источников. «Повесть написана участником похода и первоначально находилась в тексте Летописца Переяславля Русского, потом попала во владимирский свод Юрия II 1228 г.» и только затем оказалась в составе «общерусского летописного свода южной редакции конца XIII века». Вторым источником статьи А. В. Эммаусский считал «Повесть о Даниле Романовиче».[2] В. К. Романов, предприняв обстоятельный текстологический анализ статьи 1283 г., пришел к выводу, что в ее основу положены три источника: киевский и два галицких (сочувственных Мстиславу Мстиславичу и Данилу Романовичу).[3]

Видимо, со временем «Повесть о битве на Калке» действительно пополнилась текстами галицких летописцев, но в своей основе она имеет безусловно киевское происхождение. В пользу этого свидетельствует ярко выраженная прокиевская позиция автора повести. Перечисляя старших князей Русской земли, принявших решение о походе на монголо-татар, первым он называет Мстислава Киевского. Уважительно звучит и сообщение о гибели киевского князя: «Мьстиславъ старыи добрыи князь ту убьенъ бысть».[4] Черниговский князь, также погибший в этой кровавой битве, назван просто «другим Мстиславом». Особое внимание проявил летописец и к киевским потерям. «Глаголют бо тако яко Кыянъ одинѣх изгибло на полку том 10 тысяч и бысть плачь и туга в Руси и по всеи земли».[5]

В Новгородской первой летописи «Повесть о битве на Калке» более пространная и, вероятно, более близкая к киевскому оригиналу, чем содержащаяся в Лаврентьевской.* В ней также главным действующим лицом выступает киевский князь. Когда половецкие дружины не вы-

---

[1] *Черепнин Л. В.* Летописец Данила Галицкого. ИЗ, 1941. Т. 12. С. 244–245; *Тихомиров М. Н.* Русская культура X–XVIII вв. М., 1968. С. 86–87.

[2] *Эммаусский А. В.* Летописные известия о первом нашествии монголо-татар на Восточную Европу. Ученые записки Кировского гос. пединститута. 1958. Т. 1., вып. 17. С. 69–70.

[3] *Романов В. К.* Статья 1224 г. о битве при Калке Ипатьевской летописи // Летописи и хроники 1980 г. М., 1981. С. 99–103.

[4] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 446.

[5] Там же. Ст. 446–447.

* М. Х. Алешковский полагал, что описание битвы на Калке в 1224 г. было внесено в Новгородскую первую летопись из Владимирской, один из списков которой вошел затем в летопись Лаврентия. Это слишком сложное объяснение не находит сколько-нибудь надежного подтверждения.

держали монголо-татарского натиска и в панике начали отступать, сминая позиции русских, только Мстислав Киевский продолжал твердо стоять со своим полком. «Князь же Мьстиславъ Кыевьский, видящи таковое зло, не поступи ни камо с мѣста того, нь сталъ бѣ на горѣ над рѣкою надѣ Калкомѣ».[1]

Соорудив на берегу Калки крепость из камня и кольев, Мстислав держал оборону еще три дня и неизвестно, чем бы кончилось это неравное противостояние, если бы защищающихся не предал воевода бродников Плоскыня. Пообещав от имени татар жизнь Мстиславу и двум другим князьям, остававшимся с ним, он затем вероломно схватил их и выдал на убийство. После этого крепость русских пала, а ее защитники были поголовно истреблены.

Как бы на контрасте с мужественным поступком Мстислава Киевского, летописец сообщает о паническом бегстве Мстислава Мстиславича, князя галицкого. Переправившись через Днепр, он приказал оттолкнуть от берега ладьи, чтобы татары не смогли ими воспользоваться и продолжить преследование. Летописец не осуждает Мстислава Галицкого, но и не ищет ему оправдания.

На киевское происхождение «Повести» указывает и ее вариант, помещенный в статье 1224 г. Ипатьевской летописи. В нем, в частности содержится рассказ о съезде князей в Киеве, собравшемся для обсуждения просьбы половецких ханов оказать помощь в борьбе с монголо-татарами. Летописец знает, с какими словами обратились половцы к русским князьям и что те им ответили. Знает также, кто присутствовал на съезде и кого на нем не было. Все три Мстислава рекомендованы старейшинами русских князей, а первым в этом перечне назван Мстислав Киевский. Причину поражения русских летописец объясняет тем, что между князьями не было согласия. В бой они вступили не одновременно, чем и предопределили свой неуспех. Вину за это летописец возложил на Мстислава Галицкого, не пожелавшего уведомить двух других Мстиславов о начале сражения из-за своей вражды к ним и зависти. «Мьстиславу же и другому Мьстиславу сѣдящема во стану не вѣдущема, Мьстиславъ же не повѣда има зависти ради, бѣ бо котора велика межю има».[2]

Заканчивается «Повесть» Ипатьевской летописи рассказом о том, что после сражения на Калке монголо-татары дошли до Новгорода-Святополча, овладевая обманом русскими городами. Их жители будто бы с крестами встречали пришельцев, надеясь на обещанную пощаду, но были безжалостно истреблены татарами. «Не вѣдающим же Руси льсти

[1] НПЛ. С. 266.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 743.

ихъ, исходяху противу имъ со кресты, они же избиша ихъ всих».[1] Вряд ли приходится сомневаться в том, что эта подробность зафиксирована киевским автором. Его информаторами, вероятно, были бежавшие в Киев от монголо-татар жители поросских и поднепровских городков.

Определенный интерес для выяснения первоосновы «Повести о битве на Калке» имеет ее запись в Московском летописном своде конца XV в. По объему информации она сопоставима с повестью в Ипатьевской летописи, но идеологически еще более киевская. Мстислав Романович в ней именуется не просто одним из трех старейших князей Руси, но великим князем киевским. «По грѣхом нашим приидоша языци незнаеми при великом князи Киевъском Мъстиславѣ Романовичи, внуцѣ Ростиславлѣ Мъстиславича».[2] «Видѣвъ же се великыи князь Мъстиславъ Кыевъскыи бывшее зло».[3] Несколько более выраженное в этом тексте и отношение летописца к бегству с поля боя Мстислава Галицкого. Он не просто бежал за Днепр, но сделал это «преже всѣх», а ладьи не только велел оттолкнуть от берега, но порубить и поджечь: «Повелѣ ладьи жещи, а иные сѣщи и отрынути от берега».[4]

Текстологический анализ записей «Повести», содержащихся в летописях Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской первой, а также в Московском своде конца XV в., неоспоримо показывает, что все они основываются на общем киевском источнике, обработанном последующими редакторами в соответствии с их задачами. Галицкий летописец изъял из него драматический рассказ о трехдневном сражении с монголо-татарами киевских дружин под водительством Мстислава Романовича и их гибели, но зато вставил свою повесть о героизме Данила Галицкого.* В руках у составителей Московского свода, вероятно, были обе версии «Повести» — первичная киевская и обработанная галицкая, и они соединили их в единый текст. Суздальский вариант производит впечатление краткого пересказа киевской повести, а новгородский, по-видимому, наиболее адекватно отражает ее.

Д. С. Лихачев полагал, что рассказ о битве на Калке «чрезвычайно ценный своей точностью» и несомненно составлен ее участником. Это доказывается словами: «вся намъ по соухоу же Днѣпръ перешедшим».[5]

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 745.

[2] ПСРЛ. Т. 25 (Московский летописный свод конца XV в.). М.; Л., 1949. С. 118.

[3] Там же. С. 120.

[4] Там же. С. 121.

* Подробнее об этом см. в главе о галицко-волынском летописании XIII в. Здесь же скажем только то, что Данило Галицкий не является главным героем повествования, как это казалось М. Н. Тихомирову.

[5] *Лихачев Д. С.* Летописные известия об Александре Поповиче. ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 23.

Невозможно только согласиться с его выводом, что этот «участник» являлся галичанином. Несомненно, точностью описания битвы и последующего бегства русских дружин мы обязаны киевскому автору.*

О точном времени написания «Повести» сказать что-либо определенное трудно. Наличие в ней некоторых подробностей — о времени битвы русских с монголо-татарами, о числе жертв, понесенных киевскими дружинами, а также перечень князей, сложивших свои головы на Калке, — как будто указывает на то, что это случилось вскоре после самого события. В пользу этого свидетельствует и пространное введение, содержащееся в Лаврентьевской летописи и рассказывающее о полном неведении русских людей относительно этнического происхождения народа, с которым им надлежало вскоре столкнуться.

«Того же лѣта. Явишася языци их же никто же добрѣ ясно не вѣсть, кто суть и отколе изидоша, и что языкъ ихъ и которого племени суть, и что вѣра ихъ».[1]

В поисках ответа на этот вопрос летописец обращается к трудам премудрых мужей, в частности к «Откровению» епископа Мефодия Патарского, писавшего в свое время о народе, который попленит «всю землю, от востока до Ефранта, и от Тигръ до Понетьскаго моря».[2] Уверенности у летописца, что это тот самый народ, нет, а поэтому он завершает свое введение словами: «Мы же их не вѣмы, кто суть».[3]

Конечно, такое утверждение могло появиться только во время, близкое к первому нашествию монголо-татар на русские земли. Уже через 13 лет никаких сомнений в том, кем был этот народ и какой он веры, у русских людей не осталось. Галицкий летописец, редактировавший «Повесть» после второго нашествия монголо-татарских завоевателей на Русь, уже не мучился вопросом, что это за народ. Он опустил рассуждения киевского летописца на этот счет и заменил их конкретным определением пришельцев. «Приде неслыханая рать, безбожнии Моавитяне, рекамые Татаръве».[4]

Трагедия на берегах Калки, разумеется, негативно отразилась на течении южнорусской жизни, однако роковых последствий для киевского летописания, что предполагал М. С. Грушевский, не имела. В пользу этого свидетельствует летописная статья Лаврентьевской летописи 1224 г., точнее ее первая часть. В ней сообщается о поставлении в святой Софии Киевской митрополита Кирилла Гречина. Произошло это

* Д. С. Лихачев видел в авторе «Повести» южнорусского летописца, но полагал, что она была написана в Переяславле Русском.

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 445.

[2] Там же. Стб. 446.

[3] Там же.

[4] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 740.

шестого января в праздник Богоявления. Летописец высоко аттестует нового митрополита и кажется, будто он лично знаком с ним. Кирилл «учителенъ зело и хитръ ученью божественных книгъ».[1]

Киевская запись отчетливо прочитывается также в летописной статье 1231 г., рассказывающей о поставлении в Киеве митрополитом Кириллом ростовского епископа. Такое впечатление, что запись эта оказалась в руках суздальского летописца после того, как у него уже был составлен рассказ об этом поставлении. Помещенная между его заключительными фразами, она как бы вновь повторяет сказанное, но более подробно. Из нее явствует, что митрополит Кирилл священнодействовал вместе с «окрестными епископами» Порфирием Черниговским, Олексой Полоцким, епископом белгородским и юрьевским, архимандритом Печерского монастыря Анкюндиным, игуменом Михаилом Выдубицким, Петром Спасским, Семеном Андреевским, Корнилом Федоровским, Афанасием Васильевским, Семеном Воскресенским, Климентом Кириловским, а также игуменом одного из черниговских монастырей Иваном.

Далее летописец уточняет, что акт этот произошел при князе Владимире и его сыне Ростиславе, а воеводство тогда держал киевское Иван Славнич. На священии Кирилловом в Софии Киевской были также князья Михаил Черниговский с сыном Ростиславом, Мстислав Мстиславич, Ярослав, Изяслав и Ростислав Борисович, а также «ини мнози князи». Последние, по-видимому, принадлежали к младшему поколению, а поэтому летописец не счел необходимым их называть. Он только уточняет, что присутствовали они на освящении по случаю, поскольку съехались в Киев на сейм.

В этот день был церковный праздник Святых Мироносиц, поэтому в Софии и Печерском монастыре были устроены святочные трапезы, на которые пришло такое множество людей, что и сосчитать их, как уверяет летописец, было невозможно. «И праздноваша свѣтлыи тотъ праздник в святеи Софьи, и ѣша и пиша того дни в монастыри святыя Богородица Печерския много множество людии, преизлиха зѣло их же не бѣ мощи ищести».[2]

Без киевской вставки окончание сообщения суздальского летописца об освящении епископа ростовского Кирилла читалось следующим образом: «Поставленъ бысть Кирилъ епископомъ месяца априля в шестой день, в неделю святехъ мироносиць по пасхе. И посемь преосвященный митрополит отпусти священного Кирилла Ростову со многою честью».[3]

---

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 447.

[2] Там же. Стб. 456–457.

[3] Там же. Стб. 457.

Можно, разумеется, возразить, что столь подробный отчет об освящении епископа Кирилла и праздновании дня Святых Мироносиц мог написать и кто-то из свиты ростовского епископа, бывший участником этих событий. Теоретически наверное, но практически его рассказ был бы все же иным, более ростово-суздальским. В нем несомненно был бы четче обозначен епископ Кирилл и названы его соратники. Нет сомнения, что в Киев его сопровождало большое посольство, среди которого были и высшие священники. И вряд ли суздальский летописец отдал бы предпочтение, скажем, игуменам киевских монастырей и не назвал кого-либо из своих.

В тексте есть на первый взгляд незначительная подробность, которая не оставляет сомнения в его киевском происхождении. Это ссылка на то, что в дни торжеств киевским воеводой и тысяцким был Иван Славнич. Для суздальского летописца такая ремарка совершенно невероятна. Какое ему было дело до того, кто в Киеве воеводствовал во время освящения его епископа. Другое дело киевский летописец. Он не только знал тысяцкого лично, но, возможно, и был его приятелем. Подготовка и проведение съезда князей, равно как и организация праздничных пиров в день Святых Мироносиц, наверное, не обошлись без забот Ивана Славнича. И, видимо, поэтому летописец счел необходимым вспомнить его в своем рассказе.

Еще одна киевская запись обнаруживается в статье 1231 г. Новгородской первой летописи. Она фиксирует сложные перипетии борьбы южнорусских князей за столы. В ней участвовали с одной стороны великий киевский князь Владимир Рюрикович и галицкий Данило Романович, с другой — черниговские князья Михаил Всеволодич и Изяслав Владимирович. Поход Владимира и Данила на Чернигов оказался в конечном счете неудачным. Михаилу удалось нанести сокрушительное поражение галицким полкам, после чего Данило бежал в Галич, а Владимир в Киев.

Вторым актом драматической междоусобицы был поход черниговских князей вместе с половцами на Киев и Галич. В результате Михаил Всеволодич сел на галицком столе, а Изяслав Владимирович — на киевском. Владимир Рюрикович был пленен и вместе с женой уведен в землю Половецкую. «А Володимира и княгиню его имше Половци, поведоша в землю свою;... а Михайло сѣде в Галичи, а Изяславъ в Кыевѣ».[1] Позже, о чем сообщается в этой же статье, Владимир с женой был отпущен в Русь за выкуп.

События эти освещены также в Ипатьевской летописи, но там о них пишет галицкий автор, подчеркивающий чудеса героизма Данила во

[1] НПЛ. С. 74.

всех сражениях, которые почему-то оказываются в конечном счете проигранными.*

Киевская запись 1235 г. в Новгородской первой летописи очень лаконична. Была ли она такой и в оригинале, или же ее сократил новгородский летописец, сказать сложно. Идеологически она отражает киевский взгляд на события. Данило потерпел поражение от Михаила, но случилось это в результате какого-то далеко не рыцарственного поступка черниговского князя. «И Михайло створивъ прелесть (по-видимому, обман. — *П. Т.)* на Данилѣ и много би галичанъ и бещисла, Данило же едва уйде».[1] Взятие Киева Михаилом вместе с половцами однозначно оценивается как большое зло: «Но приде Изяславъ с погаными Половци в силѣ тяжцѣ и Михайло с черниговци подъ Кыевъ, и взяша Кыевъ... и много зла створиша кыяномъ».[2]

Киевского автора выдает и тот факт, что он счел нужным отметить возвращение из половецкого плена князя Владимира Рюриковича. Из зачина сообщения следует, что оно принадлежит духовному лицу. Конфликт между южнорусскими князьями в нем объяснен не их взаимными претензиями, но происками дьявола, который «въздвиже крамолу межи русьскыми князи, да быша человѣци не жили мирно».[3]

Подтверждением существования киевского летописания первой половины XIII в. может быть рассказ Ипатьевской летописи о разгроме монголо-татарами трех старых центров Руси — Переяславля, Чернигова и Киева. Запись эта не очень пространная, но содержащиеся в ней подробности не оставляют сомнения в ее южнорусском происхождении. Говоря о взятии Переяславля, летописец сообщает о разрушении татарами главного храма города — церкви архангела Михаила и ее тотальном разграблении, а также об убийстве епископа Семеона. Более подробно описано сражение под Черниговом. На выручку осажденному городу поспешил князь Мстислав Глебович со своими полками. В состоявшемся сражении русские дружины были разбиты, а город взят и подожжен. Епископа Порфирия татары пощадили, но увели почему-то в Глухов.

---

* Подробнее об этом речь пойдет в главе «Галицко-Волынская летопись XIII в.».

[1] НПЛ. С. 74.

[2] Там же.

[3] Там же. С. 73. Как считал М. Д. Приселков, Синодальный список Новгородской первой летописи дает нам указание на то, что последним письменным источником южного летописания для летописания новгородского был какой-то киевский летописец, доводивший свое изложение только до 1237 г. (*Приселков М. Д.* История русского летописания. С. 55).

Можно полагать, что информаторами о страшных разгромах Переяславля и Чернигова были жители этих городов, бежавшие от татар в Киев и поведавшие о зверствах орды.

После сообщения о падении Чернигова следует известие о появлении монголо-татар под Киевом. Стилистическое единство предыдущего и последующего текстов указывает на то, что они принадлежат одному автору. О том, что он был киевлянином, свидетельствует характерное замечание, что Менгу-хан со своим воинством стал «на онои странѣ Днѣпра».[1] На «оной» по отношению к пишущему, который находился на «этой» стороне, то есть в Киеве. Уточнение месторасположения монголо-татар — «во градъке Пьсочного» — также выдает местного автора, хорошо знавшего историческую топографию киевских околиц. Не исключено, что он мог и воочию наблюдать стояние монголо-татарской орды у Песочного городка.

Удивленный «красотой и величеством» Киева, Менгу-хан направил к князю Михаилу Всеволодичу посольство с предложением добровольно сдать город. Михаил ответил отказом, после чего татары, как пишет владимиро-суздальский летописец, ушли на зиму в Мордовскую землю.

Здесь киевское повествование прерывается вставкой галицкого автора, рассказывающего о бегстве из Киева Михаила, утверждении в нем смоленского князя Ростислава Мстиславича, а также изгнании его Данилом Романовичем и вручении города боярину Дмитрию — «в руцѣ Дмитрови». Продолжив свое повествование о «бегах» Михаила в «Угры и Ляхи», а также по Волынской земле, он затем вновь возвращается к киевской повести и помещает под 1240 г. драматический рассказ о взятии татарами Киева.

Вчитайтесь в него внимательно и вы услышите сквозь «скрипение телег, ревение верблюдов, ржание коней» тревожный голос киевлянина, свидетеля и, возможно, участника этого трагического для Киева события. Он знает о пленении татарина Товрула, который поведал киевлянам о том, кто из монголо-татарских воевод привел свои войска к Киеву. Подробно описывает ход сражения, отмечает, что Батый приказал подвести к Лядским воротам стенобитные машины, что киевляне после прорыва татарами первой линии обороны «создаша пакы другии градъ около святое Богородицѣ».[2] Такое впечатление, что летописец сам находился в гуще этих событий. На разбитых стенах, согласно ему,

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 782. Галицкий летописец вместо «Днѣпра» написал «Днѣстра», что указывает на использование им чужого текста. В своем он такой описки не допустил бы.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785.

можно было видеть «ломъ коп'ѣины и щетъ ск'ѣпание», а вражеские стрелы летели на обороняющихся такой тучей, что «омрачиша св'ѣтъ поб'ѣженым».[1]

Последним убежищем для киевлян, по утверждению летописца, была Десятинная церковь, она же стала для них и общей могилой. По замечанию летописца, от большого скопления в церкви людей, собравшихся на хорах и закомарах со своими пожитками, стены ее не выдержали и рухнули. «Людем же, узб'ѣгшимъ и на церковь, и на комаръ церковныя и с товары своими, от тягости повалишася с ними ст'ѣны церковныя».[2]

Некоторые подробности, отсутствующие в Ипатьевской летописи, содержатся в Лаврентьевской. Среди них известия о разграблении Софии и монастырей, об убийстве всех захваченных татарами киевлян — «а люди от мала и до велика вся убиша мечем», о точной дате падения Киева: «Си же злоба приключися до Рождества Господня, на Николинъ день».[3] Можно думать, что все эти сведения почерпнуты владимиро-суздальским летописцем из киевской записи, ибо невозможно представить, чтобы она не содержала такого печального перечня злодеяний монголо-татар, содеянных над древней столицей Руси, а также указания на время этой страшной трагедии.

В историографии, посвященной «Повести о побоище Батыевом», высказаны различные суждения по поводу места и времени ее создания. Согласно А. А. Шахматову, она была написана при дворе митрополита Максима после его переезда из Киева во Владимир на Клязьме в начале XIV в. Сведения для нее почерпнуты из южнорусских и северорусских летописей.[4] А. Н. Насонов полагал, что «Повесть» написана в 1234 г., а М. Д. Приселков относил ее создание к 1239 г., разумеется, без событий 1240–1241 гг.[5]

В литературе высказано также мнение о южнорусском происхождении «Повести». К такому выводу склонялся В. Т. Пашуто, а также А. И. Генсерский, полагавший, что «Повесть о побоище Батыевом» является составной частью киевского летописания, доведенного до 1240–1246 гг., и только позже была использована при создании Галицко-Во-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785.

[2] Там же.

[3] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 470.

[4] *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 73–79, 130–131.

[5] *Насонов А. Н.* История русского летописания: XI–XVIII вв. М., 1969. С. 180 и сл; *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 87–94.

лынского свода.[1] Н. Ф. Котляр считает, что источником «Повести» являются записи, составленные в разных местах Русской земли после нашествия орд Батыя, а в летопись Данила Галицкого она вошла в уже скомпонованном южнорусским редактором виде.[2]

Для темы данного исследования не имеет принципиального значения, где и когда составлена вся «Повесть», более существенным представляется вывод о том, что одним из ее источников несомненно являлась киевская запись о нашествии Батыевой орды на старую Русскую землю.

Подводя итог исследованию киевского летописания первой половины XIII в., приходится признать, что дать убедительную его реконструкцию на основании фрагментов, сохранившихся в ряде летописей, чрезвычайно сложно. Практически у исследователей нет убедительных данных, кроме собственной интуиции, для утверждения о существовании особого киевского свода, приуроченного к конкретному году. Не удивительно, что М. С. Грушевскому казалось наиболее вероятной его датой 1223 г. В. Т. Пашуто обосновывал 1238 г., а А. И. Генсерский датировал последние киевские записи 1240–1246 гг.

Наверное, по этому поводу еще долго будут продолжаться дискуссии среди летописеведов. И все же комплекс специфических киевских сообщений о событиях южнорусской истории первой половины XIII в., содержащихся в Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской, а также в ряде более поздних летописных списков, не оставляет сомнений в существовании в Киеве летописной традиции, по меньшей мере до его разгрома монголо-татарами в декабре 1240 г.

---

[1] *Генсьорський А. І.* Галицько-волинський літопис (процес складання, редакції і редактори). К., 1958. С. 18–19.

[2] *Котляр М. Ф.* Галицько-волинський літопис XIII ст. К., 1993. С. 73.

8. Новгородское летописание XI–XIII вв.

Новгородская летописная традиция древнерусского времени сохранилась в нескольких списках. Древнейшим их них является Синодальный, получивший название «Новгородской первой летописи старшего извода». Памятник дошел до нас в списках XIV в., однако часть текста (до 1234 г.), как можно судить по палеографическим особенностям, написана еще в XIII в. Начало летописи до 1017 г. отсутствует. Кроме летописи старшего извода, известна также «Новгородская первая летопись младшего извода», представленная несколькими редакциями. Наиболее исправным считается Комиссионный список XV в., охватывающий время от 854 по 1447 г.

Исследователей давно занимает вопрос соотношения Синодального и Комиссионного списков Новгородской первой летописи. Б. М. Клосс и Я. С. Лурье полагали, что поскольку оба списка близки между собой в текстах после 1017 г., то аналогичная близость должна была иметь место и в более ранних известиях. На этом основании они пришли к выводу, что утерянная часть Синодального списка определенно была сходна с параллельным текстом Комиссионного.[1] Иной точки зрения придерживается В. Л. Янин. Сопоставив тексты обоих изводов за 1016–1074 гг., он не обнаружил в них совершенного тождества. Новгородская первая летопись младшего извода содержит целый ряд избыточных записей, отсутствующих в Синодальном списке, а в последнем имеются известия, которых нет в первом. В результате В. Л. Янин пришел к убеждению, что «протограф Новгородской первой летописи младшего извода в рассмотренной части не опирается на Синодальный список, а пользуется летописным текстом иного вида, более насыщенным историческим содержанием». В пользу особого характера текст на утраченных тетрадях Синодального списка свидетельствует и его меньший по сравнению с Комиссионным списком объем. До 1074 г. Синодальный и

[1] *Клосс Б. М., Лурье Я. С.* Русские летописи XI–XV вв. В кн.: Методические рекомендации по описанию славянорусских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976, вып. 2. С. 82.

Комиссионный списки, согласно В. Л. Янину, представляют две разные летописные версии, отражающие особую новгородскую традицию Начального свода. Совпадение текстов Синодального списка и Новгородской первой летописи младшего извода начинается со статьи 1075 г. и продолжается до статьи 1204 г., хотя и на этом пространстве в них имеются существенные разночтения.[1]

К Новгородской первой летописи принадлежит летописный отрывок до 1015 г. — Троицкий список XVI в. Важные известия о древнерусском периоде жизни Новгорода и Руси содержатся также в Софийской первой и Новгородской четвертой летописях.

Исследователи по-разному датировали начало новгородского летописания. Согласно схеме А. А. Шахматова, составной частью древнерусского летописного древа являлся Новгородский свод 1050 г. с дополнениями 1079 г. Он составлен якобы по распоряжению новгородского епископа Луки и князя Владимира Ярославича, и в своей основе имел древнейшую киевскую летопись 1039 г. Впоследствии Новгородский свод 1050 г., как думал А. А. Шахматов, оказал влияние на Начальный киевский свод.[2]

Вывод А. А. Шахматова был решительно поддержан Б. А. Рыбаковым, значительно расширившим и углубившим аргументацию предшественника. Существенной его новацией явилось то, что гранью между новгородской летописью XI в. и приписками к ней он считал не 1050, а 1054 г. — год смерти Ярослава Мудрого и смены новгородского посадника, которым по велению Изяслава Ярославича стал Остромир. Последний и явился инициатором создания летописи, время оформления которой приходится на 1054–1060 гг. Одним из главных аргументов в пользу такого предположения может быть определенная идеологическая предубежденность летописца, принижающая в ряде известий князя Ярослава Мудрого. Принадлежать она могла только Остромиру, приходившемуся сыном посаднику Константину Добрыничу, казненному Ярославом. Таким образом, сын мстил Ярославу за смерть отца и старался очернить князя перед потомством.[3]

Идея Новгородского свода 1050 г. не нашла поддержки в работах М. Д. Приселкова, А. Н. Насонова, Д. С. Лихачева, М. Н. Тихомирова. Как замечал М. Н. Тихомиров, если существовал Новгородский свод

[1] *Янин В. Л.* К вопросу о роли Синодального списка Новгородской первой летописи в русском летописании XV в. // Летописи и хроники. 1980. М., 1981. С. 166–171.

[2] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах... С. 170–185, 412, 514–515.

[3] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. М., 1963. С. 193–198, 205.

1050 г., то он должен был включить в свой состав все новгородские известия за XI в., которые затем вошли бы в киевскую летопись. Между тем «Повесть временных лет» содержит в своем составе лишь ничтожное количество их.[1] Согласно Д. С. Лихачеву, источником новгородских известий в «Повести временных лет» были устные рассказы Вышаты и его сына Яна.[2]

Наличие противоположных взглядов на раннее новгородское летописание свидетельствует о том, что решение этого вопроса не находится в прямой зависимости от присутствия (или отсутствия) новгородских известий за XI в. в киевской летописи. Во-первых, они действительно могли быть внесены в нее киевскими летописцами со слов своих новгородских информаторов, а во-вторых, даже если бы и вовсе отсутствовали, это не значило бы, что в Новгороде в это время не было летописной традиции.

А. А. Шахматову казалось, что содержание новгородских записей в Начальном своде не оставляет никакого сомнения в том, что они были составлены в Новгороде. Основания к такому однозначному выводу сводятся, по существу, к незамысловатой формуле, что новгородцам это было ближе и они лучше знали свои события. Между тем многие из приведенных им «новгородских» записей при внимательном их прочтении ничего специфически новгородского не обнаруживают, а некоторые и вообще отсутствуют в новгородских летописях. Вот только несколько примеров.

Статья 6478 г., рассказывающая о приглашении князя Владимира на новгородское княжение. А. А. Шахматов полагал, что перед нами народное новгородское предание, на что указывает, в частности, активная роль Добрыни — одного из популярных новгородских посадников.[3] Как видим, аргумент более чем сомнительный. Новгородское предание рассказа доказать нечем, а Добрыня был не только новгородским, но и киевским деятелем. И киевским в первую очередь.

Если мы обратимся к стилистике записи, то окажется, что она принадлежит киевлянину. Летописец находится там, куда пришли новгородцы. «В се же время приидоша людье новгородстѣи, просяще князя себѣ». Получив Владимира, они уходят в Новгород: «И поиде Володимеръ с Добрынею, уемъ своим, к Новуграду».[4] Если бы об этом собы-

[1] *Тихомиров М. Н.* Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1. М., 1940. С. 55.

[2] *Лихачев Д. С.* «Устные летописи» в составе «Повести временных лет». «Исторические записки». 1945. № 17.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах... С. 173.

[4] НПЛ. С. 121.

тии писал новгородец, он, несомненно, употребил бы другие глаголы: в Киев новгородцы бы «поидоша», а с Киева «прииде» или «приидоша».

Статья 6496 г., рассказывающая о распределении волостей между сыновьями Владимира. А. А. Шахматов не отрицает того, что вся статья составлена редактором Начального свода, но убежден, что известия о Вышеславе и Ярославе почерпнуты им из Новгородского свода 1050 г. Форма глагола «посадиша» больше соответствует новгородцу. Киевлянин употребил бы слово «посади».[1] Конечно, если бы запись касалась только Вышеслава и Ярослава, можно было бы рассуждать на тему о языковых предпочтениях. Кстати, весьма сомнительных, так как в данном случае в киевской летописи присутствуют обе формы — «И посади Вышеслава в Новгородѣ... Умершю же старѣишему Вышеславу в Новѣгородѣ, и посадиша Ярослава Новѣгородѣ»,[2] а в Новгородской первой только одна — «посади», которую А. А. Шахматов считал естественной в устах киевлянина. Следуя логике исследователя, нам бы пришлось отыскивать и другие летописные своды, в которых содержались известия о посажении Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, Бориса в Ростове и т. д. Вряд ли может быть сомнение в том, что эти сведения киевскому летописцу не надо было разыскивать в областном летописании. Они имелись в киевском.

Статья 6544 г. А. А. Шахматов считал, что к числу новгородских известий в ней относится следующее сообщение: «Иде Ярославъ Новугороду, и посади сына своего Володимера Новѣгородѣ, епископа постави Жидяту».[3] Здесь небезынтересно заметить, что аналогичной записи в Новгородской первой летописи вообще нет. Что же касается стилистических ее особенностей, то они даже по наблюдению самого А. А. Шахматова исключительно киевские: не «посадиша» и «поставиша», но «посади» и «постави». К тому же форма глагола «иде» не оставляет сомнения в том, где находился летописец. Если бы фраза принадлежала новгородцу, в ней бы стоял глагол «прииде».

Приведенные примеры, которые можно и продолжить, не позволяют согласиться с тем, что все новгородские известия за XI в. в Начальном киевском своде имеют новгородское происхождение. Они, разумеется, не являются доказательством отсутствия в Новгороде уже в XI в. местной летописной традиции, но и не дают оснований для той реконструкции Новгородского свода 1050 г., с приписками до 1079 г., кото-

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах... С. 176.

[2] ПВЛ. Ч. 1. С. 83.

[3] Там же. С. 101.

рую предложил А. А. Шахматов.[1] В ней явно многое взято из киевских летописей. Ссылки на Софийскую первую и Новгородскую четвертую летописи вряд ли спасают положение, поскольку невозможно доказать, что в них новгородские известия за XI в. являются оригинальными, а не позаимствованными. К примеру, статья 6550 г. о походе новгородского князя Владимира Ярославича на греков, составленная А. А. Шахматовым из записей Софийской первой и Новгородской четвертой летописей, несомненно в своей основе базируется на киевских известиях. По существу, в обоих летописях мы имеем дело с вольным пересказом киевской записи, причем сделанной не обязательно в 50-е годы XI в. В Синодальном списке об этом событии помещена лишь краткая фраза — «Володимеръ иде на Грекы», а в Комиссионном о нем вообще не упомянуто.

Если исходить из реальных летописных известий, а не из воображаемой реконструкции свода то ли 1050, то ли 1054 г., то к числу собственно новгородских записей можно отнести только статьи, повествующие о новгородском периоде княжения Ярослава, его сына Владимира, а также так называемые приписки до 1060 г.

Как полагал Б. А. Рыбаков, наиболее интересным разделом новгородской летописи XI в. является «Повесть о Ярославе», написанная, вероятно, новгородцем — современником событий и, может быть, посадником Константином, сыном Добрыни.[2] Его руку будто бы выдает резко критическое отношение летописца к ряду поступков Ярослава: попытке бежать за море, к варягам, отказу платить дань Киеву, избиению новгородцев.

Трагическая развязка отношений Ярослава и Константина, приведшая к казни посадника в Ростове, делает такой вывод вполне правдоподобным, однако кроме идеологического других аргументов на этот счет у нас нет. Если верно предположение Б. А. Рыбакова о летописной деятельности Остромира, то определенная тенденциозность новгородских записей могла принадлежать и ему.

Со своей стороны считаем, что идеологический момент здесь явно преувеличен. То, что кажется проступком нам — потомкам, не обязательно таковым воспринималось современниками. Отказ Ярослава посылать ежегодную дань Киеву вряд ли мог быть поставлен кем-либо из новгородцев ему в вину. Ведь вместо одной тысячи гривен на содержание дружинников в Новгороде Ярослав намеревался использовать все три, которые собирались с Новгородской земли и две тысячи из них уходило в столицу Руси. Что касается попытки Ярослава уйти к варя-

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах... С. 611–629.

[2] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 201.

гам, которая, наверное, была вызвана необходимостью получения военной помощи, то фиксация ее летописцем не носит характера осуждения или иронии по поводу трусливости князя.

Б. А. Рыбаков подчеркивает, что на контрасте с Ярославом описание княжения Владимира дается красочно и доброжелательно. Но ведь в этом описании сообщается не просто о попытке уйти за море, но о паническом его бегстве. «Слышавъ же се Володимѣръ в Новгородѣ, яко Ярополкъ уби Ольга, убоявся, бѣжа за море».[1]

Казнь новгородцев, которые расправились с варягами, творившими насилие в Новгороде, конечно, не украшает Ярослава, но летописец подчеркивает не столько это, сколько горькое и искреннее его раскаяние. «Ярославъ заутра собра новгородцевъ избытокъ, и сътвори вѣче на полѣ и рече к ним: "Любимая моя и честная дружина, юже вы исѣкохъ вчера въ безумии моем, не топѣрво ми ихъ золотомъ окупитѣ"».[2] Из «Повести временных лет» следует, что Ярослав при этом даже прослезился. Новгородцы простили своего князя, не высказав ему ни единого слова упрека, а на его призыв выступить на Святополка, избивающего на юге Руси братьев, ответили единодушным согласием.

После ухода Ярослава в Киев, как заметил Б. А. Рыбаков, он как бы выпал из поля зрения новгородского летописца. На протяжении 1018–1035 гг. записи становятся отрывочными, от 1036 до 1052 г. идет нечто вроде летописи Владимира Ярославича, а затем до 1060 г. мы имеем дело с летописью Остромира, которая объединила все предыдущие части.[3]

Анализ известий, которые можно связать с творчеством новгородских летописцев, показывает, что число их крайне невелико, к тому же они производят впечатления нерегулярной погодной летописи, но записей, ведшихся от случая к случаю. В так называемой летописи Владимира Ярославича собственно новгородских статей всего три: 1045 г. — о пожаре Софии и закладке нового храма; 1050 г. — о свершении св. Софии и смерти жены Ярослава; 1052 г. — о смерти Владимира и погребении его в Софийском соборе. В Комиссионном списке под 1049 г. содержится еще одна запись о пожаре Софии, но она, несомненно, сделана уже в XII в. Рассказав о пожаре, летописец заметил, что старая София стояла в «конець Пискупльѣ улицѣ, идеже нынѣ поставилъ Сотъко церковь камену Бориса и Глеба над Волховым».[4] Об освящении этого храма сообщается в летописной статье 1173 г.: «Того же лѣта

[1] ПВЛ. Ч. 1. С. 54.
[2] НПЛ. С. 174.
[3] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 201.
[4] НПЛ. С. 181.

священше церковь святу мученику Бориса и Гл҃ба архиепископъ новгородъкыи владыка Илья».[1]

Ко времени посадничества Остромира (1054–1060 гг.) относится еще меньше записей. Под 1054 г. сообщается о клевете холопа Дудики на епископа Луку и суде над ним митрополита Ефрема, а под 1057 г. содержится рассказ о прощении епископа Луки, занятии им своего стола в Новгороде и казни клеветника Дудики. Не исключено, что новгородское происхождение имеет также сообщение 1060 г. о военном конфликте между Русью и Чудью (Сосолами), в котором были задействованы новгородцы и псковичи. «И изидоша противу имъ (чуди. — *П. Т.*) плесковц҃ѣ и новгородци на с҃ѣчю, и паде Руси 1000, а Сосолъ бещисла».[2] Об Остромире в новгородской летописи имеется два сугубо хроникальные известия: о поставлении его посадником Новгороду и о гибели в сражении с Чудью. Оба содержатся в летописной статье 1054 г. «И прииде Изьяслав к Новгороду и посади Остромира в Новегороде. И иде Остромир с новгородци на Чюдь и убиша его Чудь и много паде с ним новгородцев».[3] Вряд ли может быть сомнение, что Остромир погиб во время того сражения, о котором сообщается в Новгородской первой летописи под 1060 г.

В Новгороде, таким образом, Остромир посадничал шесть лет. Если предположить, что первый новгородский летописный свод был составлен им (или дьяконом Григорием под его присмотром), то объяснить такое невнимание, если не к собственной персоне, то хотя бы к событиям, в которых ему довелось участвовать, невозможно. Это обстоятельство ставит под сомнение участие посадника Остромира в создании Новгородского летописного свода 50-х годов XI в.

Собственно, и с самим сводом далеко не все так ясно, как казалось А. А. Шахматову и Б. А. Рыбакову. Относить его создание к 50-м годам XI в. решительно нет никаких оснований. Из анализа Новгородской первой летописи сделать такой вывод невозможно. Ни в 1050 г., ни в 1054 г. в ней нет совершенно никаких свидетельств, которые бы указывали на работу сводчика. По-видимому, понимал это и А. А. Шахматов, если в ряде мест своих «Разысканий», вместо определенного утверждения говорил о том, что появление Новгородского свода относится по времени до 90-х годов XI в.[4] Нетвердостью в выводе о Новгородском своде 1050 г. можно объяснить и постоянное подчеркивание А. А. Шахматовым его органического единства с дополнениями 1079 г. После

---

[1] НЛП. С. 223.

[2] Там же. С. 183.

[3] Софийская первая летопись. *ПСРЛ*. Т. IV. СПб., 1848. С. 139.

[4] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 182.

этого новгородское летописание, как ему казалось, было возобновлено только около 1097 г.[1]

В пользу того, что Новгородский свод составлен в 1050 г., как полагал А. А. Шахматов, свидетельствует завершение строительства Софийского собора в 1049 г., а также появление около этого времени точных дат. Так, известие 1049 г. указывает не только на день, но и час, когда сгорела старая дубовая церковь св. Софии.[2] Отмеченная особенность действительно могла характеризовать новгородское летописание уже первой половины XI в., но свидетельствовать о работе сводчика в это время никак не может. К тому же, о чем шла речь выше, запись эта принадлежит летописцу XII в.

В Новгородской первой летописи младшего извода есть единственное свидетельство работы раннего сводчика, находящееся в статье 1016 г. После рассказа о победе Ярослава над Святополком и одарении новгородцев гривнами летописец отметил, что кроме этого им была дана правда и устав, сопровожденные напутствием князя: «По сеи грамот'Ѣ ходите, яко же списах вамъ такоже держите».[3] Дальше в статье помещена «Правда Ярослава», а за ней и «Пространная Правда», принятая Ярославичами в 1072 г. на съезде в Вышгороде.

Б. А. Рыбаков считал, что помещение «Русской Правды» было сделано позднейшим сводчиком и несколько искусственно, так как сюда попала и «Правда Ярославичей».[4] Разумеется, позднейшим, вопрос только в том, какого времени.* При всей неопределенности этого свидетельства, думается, есть все основания полагать, что оно указывает на то, что составитель первого новгородского свода работал после 1072 г. Когда после, сказать сложно, но определенно в его руках уже была «Повесть временных лет». Сличение Новгородской первой летописи младшего извода с киевской летописью X–XI вв. обнаруживает заметное сходство на пространстве между княжением Игоря Старого и Изяслава Ярославича. Причем их близость проявляется не только в составе киевских известий, но также и в их отсутствии. Блоки так называемых пустых и полупустых лет в обеих летописях практически идентичны. Последней общей записью является летописная статья 1074 г., повествующая о кончине Феодосия Печерского.

---

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 210, 526.

[2] Там же. С. 514.

[3] НПЛ. С. 176.

[4] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь... С. 203.

* А. А. Шахматов, М. Д. Приселков и С. В. Юшков полагали, что краткая редакция «Русской Правды» была включена в новгородские летописи в первой четверти XV в. или в 1448 г. А. А. Зимин думал, что это случилось уже в 1136 г.

По существу, Новгородская первая летопись младшего извода до статьи 1074 г. напоминает структурно и по составу известий «Повесть временных лет», хотя и не совсем адекватна ей. Можно предполагать, что новгородский сводчик начала XII в. использовал киевскую летопись для своей летописи выборочно.* По какой-то причине его труд прервался, что называется, на полуслове. Статья 1074 г. осталась недописанной и это дает основание полагать, что этот ее фрагмент завершал собой первый новгородский свод. Последующие летописцы уже не вернулись к прерванной работе по списыванию киевских известий, что объясняется, по-видимому, все большим сосредоточением их внимания на местной истории.

В свое время Н. И. Костомаров, на основании наблюдения над особым наполнением летописи после 1117 г. информацией о Новгороде, пришел к выводу, что с этого времени мы имеем дело с регулярным новгородским летописанием, ведшимся по свежим следам. В пользу этого свидетельствует обилие в летописных записях точных дат, а также таких подробностей, которые невозможно припомнить задним числом. К сожалению, стилистическая однотонность новгородской летописи XII – 40-х годов XIII в., отсутствие в ней характерных литературных зачинов и похвал, ярких посмертных панегириков и назидательных поучений затрудняет разделение всего летописного материала на отдельные авторские части.

После недописанной статьи 1074 г. и до 1116 г. в Комиссионном списке идут пустые и полупустые годы. Последние содержат краткие записи преимущественно южнорусского содержания. В некоторых из них имеются в качестве приписок к основному тексту очень лаконичные новгородские известия, лишенные каких-либо подробностей. При чтении этого фрагмента летописи трудно отрешиться от мысли, что его появлением мы обязаны позднейшему сводчику, пытавшемуся хоть както заполнить пространство между 1074 г., на котором обрывался первый новгородский свод, и 1116 г., когда начинается регулярная новгородская погодная летопись. Видимо, прав был А. А. Шахматов, полагавший, что небольшое число новгородских известий за последнюю треть XI в. указывает на то, что в эти годы летописание в Новгороде не велось. Вряд ли только можно согласиться с тем, что погодная летопись, которая составлялась затем без перерывов до 1167 г., начинается записью 1108 г. о смерти епископа Никиты.[1] Рубежной в этом смыс-

* Д. С. Лихачев считал, что уже раннее новгородское летописание знало третью редакцию «Повести временных лет». В пользу этого свидетельствует летописная статья 1106 г., в которой содержится пояснение, что Святоша — это «тесть Всеволожь».

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 210, 526.

ле является все-таки статья 1116 г., повествующая о походе Мстислава на Чудь, закладке нового новгородского детинца, а также каменных укреплений Ладоги. Не исключено, к этому году можно отнести составление первого новгородского свода.

На основании наблюдения над присутствием в новгородском летописании южнорусских известий Д. С. Лихачев пришел к выводу, что рубежным в нем следует признать также и 1136 г. В этом году был составлен «Софийский временник» — княжеская летопись, после чего летописание перешло в руки владычных летописцев.[1] Еще раньше считал 1136 г. переломным в новгородском летописании Н. И. Костомаров.[2] А. А. Шахматов, как известно, связывал авторство статей 1136–1137 гг. с иеродиаконом Антоньева монастыря Кириком.[3] Согласно исследованию А. А. Гиппиуса, рубежной является статья не 1136, а 1132 г., после чего начинается уже владычная летопись.[4]

После статьи 1074 г. оба списка Новгородской первой летописи обнаруживают больше сходства, что, возможно, позволяет возводить их к единому протографу, хотя и переписывавшемуся впоследствии разными авторами. Анализ Синодального списка обнаруживает следы работы двух летописцев или двух сводчиков, говорящих о себе в первом лице. Рассказав о строительстве нового моста через Волхов и расписывании притворов святой Софии под 1144 г., летописец замечает, что в этот год он был освящен на попа. «Въ то же лѣто постави мя попомъ архиепископъ святый Нифонт».[5] Конечно, запись сделана не в 1144 г., а позже. Об этом свидетельствует, в частности, наименование епископа Нифонта святым, что могло быть только после его смерти.

Вероятно, этому священнику принадлежит и статья 1156 г., в которой рассказывается о смерти Нифонта и погребении его в Киеве в Печерском монастыре. Автор решительно опровергает сплетни, согласно которым Нифонт имел намерение уйти в Царьград с реликвиями и казной св. Софии. Обращаясь к современникам, он говорит: «О семь бы разумети комуждо насъ, которыи епископъ тако украси святую Софию, притворы испьса, кивотъ створи и всю извъну украси; а Пльскове святого Спаса церковь създа камяну, другую въ Ладозѣ святого Климента».[6]

---

[1] *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 154–184.

[2] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 63.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 185.

[4] *Гиппиус А. А.* К характеристике новгородского владычного летописания XII–XV вв. // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 357.

[5] НПЛ. С. 27.

[6] Там же. С. 29.

Кроме приведенных слов, современника описываемых событий выдает и фраза, объясняющая причины ухода Нифонта в Киев и его упокоения в Печерском монастыре. «Мьню бо, яко не хотя Богъ, по грѣхомъ нашимь, дати намъ на утеху гроба его, отведе и Кыеву, и тамо прѣстависа; и положиша и въ Печерьскемь монастыри, у святѣи Богородици въ печере».[1]

С легкой руки Д. Прозоровского, лицом, говорившим о себе в первом лице в статье 1144 г., считается священник церкви св. Иакова в Неревском конце Герман Воята. На эту мысль навела его летописная статья 1188 г., в которой обстоятельно и сочувственно сообщается о смерти этого священника. «Томъ же лѣтѣ переставився рабъ Божии Германъ, иерѣи святого Якова, завемыи Воята, служившю ему у святого Иякова полъпятадесять лѣт въ кротости и смирении и богобоязньствѣ».[2] Эти слова, согласно исследователям, принадлежат наследнику летописного дела Вояты, который таким образом почтил своего предшественника.

Думается, что эта догадка не убедительна. Герман был священником церкви св. Якова, а новгородская летопись, с которой сделан Синодальный список, вне всякого сомнения писалась при св. Софии.* Кроме того, автор статьи 1188 г. ни единым словом не обмолвился об особой книжности Германа, что в случае его летописной деятельности, продолжавшейся чуть ли не полстолетия, кажется невероятным. В лучшем случае можно предположить, что Герман Воята сделал список новгородской летописи для церкви св. Якова, однако и для этого у нас нет оснований. Согласно летописной характеристике, он был краткий, смиренный и богобоязненный, но вовсе не книжник.

Со времен А. А. Шахматова в литературе утвердилось мнение (им же и высказанное), что для XII в. в новгородском владычном летописании обнаруживается только один рубеж, относящийся к 1165–1167 гг. Основанием для этого послужило наблюдение над титулованием новгородских епископов в Синодальном списке. Все предшественники архиепископа Ильи, за исключением епископа Аркадия, именуются архиепископами, что, по мнению А. А. Шахматова, не могло случиться ранее 1165 г., когда новгородские владыки получили этот титул от киевского митрополита.[3]

Не подвергая сомнению это наблюдение, которое корректно по отношению к списку, но не самому своду, полагаем, что в Новгородской

---

[1] НПЛ. С. 29.

[2] Там же. С. 39.

* Впервые эту мысль высказал М. П. Погодин, а затем развил и обосновал А. А. Шахматов.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 189.

первой летописи есть более убедительное свидетельство о сводческой работе новгородских летописцев 60-х годов XII в. Имеется в виду запись Комиссионного списка, помещенная после статьи 988 г., «О княжении киевьст'ѣмъ». В ней представлен список киевских князей от Владимира Святославича до Ростислава Мстиславича. Последний занимал великокняжеский стол с 1160 по 1167 г. и, следовательно, работу новгородского сводчика можно датировать этими годами. При внимательном прочтении заключительной фразы записи оказывается, что есть возможность еще более сузить время завершения свода.

Приведем эту фразу: «И потом Изяславъ Давыдовиць, и прогнаша и, и с'ѣде Ростиславъ Мстиславич».[1] О чем она свидетельствует? Прежде всего о том, что записана по свежим следам события. Об этом говорит форма глагола — «прогнаша», а не — «по изгонении», «по смерти» и «по нем», как во всех других случаях. Из этого можно заключить, что запись сделана между изгнанием Изяслава из Киева в 1160 г. и его гибелью в 1161г.

В свое время, пытаясь согласовать противоречие между тем, что перечень киевских княжений обрывается на Ростиславе Мстиславиче, а в тексте перерыв киевских известий наступает лишь после 1174 г., Е. Ю. Перфецкий выдвинул предположение, что в Новгороде работало два летописца. Один, в котором он склонен был видеть Кирика, писал до 1160 г., а другой (Герман Воята) — после 1174 г.[2] Вывод этот интересен не столько определением авторства новгородской летописи, которое не кажется нам бесспорным, сколько выделением рубежей сводческой работы летописцев.

Еще один новгородский летописный свод, в наличии которого не сомневались со времен М. П. Погодина, составлен в начале XIII в. Об этом свидетельствует заключительная фраза предисловия, сохранившегося в Комиссионном списке. «Мы же от начала Рускы земля до сего л'ѣта и все по ряду изв'ѣстьно да скажемъ, от Михаила цесаря до Александра и Исакья».[3] Согласно мнению большинства исследователей, вместо «Александра» следует читать «Алексея» и, таким образом, видеть здесь указание на византийских императоров Алексея и Исаака Ангелов, действующих в «Повести о взятии Царьграда», которая содержится в обоих изводах Новгородской первой летописи.[4] О точном

[1] НПЛ. С. 160.

[2] *Перфецкий Е. Ю.* Русские летописные своды и их взаимоотношения. Братислава, 1922. С. 63–69.

[3] НПЛ. С. 104.

[4] *Гиппиус А. А.* К характеристике новгородского владычного летописания XII–XV вв. // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 353.

времени составления свода данных нет. Можно только предположить, что к его составлению, как и написанию «Повести», причастен архиепископ Антоний, который, еще будучи мирянином Добрыней Ядрейковичем, побывал в Царьграде и был хорошо осведомлен о постигшей его катастрофе. Его выдает южнорусская лексика «Повести», что обусловлено длительным пребыванием Антония в Южной Руси, а также грецизмы, естественные для человека, жившего долгое время в Византии.

М. Х. Алешковский полагал, что свод составлен в конце 20-х годов XIII в. в период второго пребывания на кафедре Антония.[1] Аргументами для такого вывода послужили рассказы о преступлении Глеба Рязанского (под 1218 г.) и битве на Калке (под 1224 г.), которые якобы связаны со сводом Антония.

Такой вывод не кажется правильным по нескольким соображениям. Во-первых, он расходится с заявлением самого сводчика, что свою летопись тот намерен довести до времени царствования императоров Алексея и Исаака. Во-вторых, потому, что именно статья 1204 г. обнаруживает изменение летописной руки. После пространной «Повести о взятии Царьграда», степень подробности которой свидетельствует о составлении ее скорее всего по свежим впечатлениям, в той же летописной статье помещен целый ряд внутрирусских известий, а затем вновь рассказ о взятии Царьграда, но уже краткий. Вряд ли может быть сомнение в том, что здесь мы имеем дело с редакторским швом, принадлежащим другому автору. Не позволяет связывать создание «Свода Антония» со вторым периодом его архиепископства и то обстоятельство, что правление его на этот раз было непродолжительным, всего «два л'ѣта», к тому же, по-видимому, уже отягчалось прогрессирующей болезнью. Сказанное выше дает основание предполагать, что свод начала XIII в. завершался новгородской «Повестью о взятии Царьграда», помещенной в статье 1204 г.*

Последний новгородский свод древнерусского времени, куда вошли владычная летопись, записи Юрьева монастыря, а также свидетельства южнорусских и владимиро-суздальских летописцев, как справедливо полагали еще И. М. Троцкий и В. Л. Комарович, был составлен в конце 30-х или в начале 40-х годов XIII в. Он заканчивался статьей 1238 г.,

---

[1] *Алешковский М. Х.* Новгородский летописный свод конца 1220-х гг. // Летописи и хроники. 1980. М., 1981. С. 111.

* В свое время Н. А. Мещерский высказал предположение, что «Повесть о взятии крестоносцами Царьграда» попала в новгородские летописи из какого-то южнорусского памятника, хотя и не привел для этого сколько-нибудь убедительных аргументов (*Мещерский Н. А.* Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 г. ТОДРЛ. Т. 10. М.; Л., 1954. С. 120–135.

рассказывающей о нашествии на Северо-Восточную и Северную Русь монголо-татар.[1] Сводчика в этой статье выдает характерный редакторский оборот: «Но на предлежащая възвратимся».[2]

Совершенно новый и нетрадиционный взгляд на проблему сводческой работы новгородских летописцев в последнее время демонстрирует А. А. Гиппиус. Исследователь полагает, что владычная летопись представляет собой последовательную погодную хронику семи летописцев и предстает в своих новгородских известиях как текстологически однородное образование, лишь в очень незначительной степени затронутое позднейшим редактированием. Работа редакторов конца XII – первой четверти XIII в. скорее всего ограничивалась вставками в заключительную часть летописи.[3]

Конечно, если иметь в виду киевские летописные своды, такие как Начальный или «Повесть временных лет», то ничего подобного в новгородской летописи мы действительно не имеем. И, наверное, прав А. А. Гиппиус, когда полагает, что не каждую редакторскую активность следует трактовать как составление нового свода. Новгородское владычное летописание, как кажется исследователю, знает только один свод, созданный около 1115 г. и затем из года в год пополнявшийся новыми записями.[4]

Но, во-первых, не всегда «из года в год», как показал в своем исследовании Т. В. Гимон.[5] А во-вторых, нельзя абстрагироваться от собственных свидетельств Новгородской первой летописи о сводческой работе, в чем мы имели возможность убедиться. К тому же однородность летописи в ряде мест нарушается неновгородскими известиями: южнорусскими, владимиро-суздальскими, рязанскими повестями о взятии Царьграда и битве на Калке. Наверное, большинство этих записей сделано на основании устных сведений, но некоторые определенно имеют не только содержательные, но и текстуальные параллели в других летописях. Необъяснимой при отказе от вывода об участии в создании новгородской летописи не только летописцев-хронистов, но и летописцев-редакторов окажется и та хронологическая путаница, которая наблюдается в известиях, особенно за первую четверть XIII в.

---

[1] *Троцкий И. М.* Опыт анализа первой Новгородской летописи // Изв. АН СССР. Сер. VII. Отделение общественных наук. Л., 1933. № 5. С. 360–361.

[2] НПЛ. С. 75.

[3] *Гиппиус А. А.* К характеристике новгородского владичного летописания... С. 358–359.

[4] Там же. С. 360.

[5] *Гимон Т. В.* Ведение погодных записей в средневековой аналистике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2001. С. 18–19.

Все это решительно не позволяет исключить из новгородского летописания за XII – начало XIII в. работу редакторов-сводчиков. С А. А. Гиппиусом можно согласиться лишь в том, что ни на одном этапе редакторских вмешательств Новгородская владычная летопись не подвергалась кардинальным переработкам, но всегда сохраняла, так сказать, свою первородную сущность. За этим, как полагает А. А. Гиппиус, строго следили (архи)епископы, о чем свидетельствует якобы устойчивая корреляция между сменой летописцев и сменой новгородских владык. На пространстве от 1132 по 1238 г. автор определил стиль семи летописцев, последовательно продолжавших создавать единую летопись.[1] Правда, с устойчивой корреляцией при этом не очень получилось. (Архи)епископы Гаврил и Мартирий, а также Антоний и Митрофан, попеременно занимавшие кафедру, имели как будто по одному общему летописцу.

Казалось бы, летопись, ведшаяся при св. Софии да еще и под неусыпным присмотром (архи)епископов, должна быть наполнена специфической церковной фразеологией, молитвенными обращениями к Богу, цитатами из священных писаний, тем, что так ярко характеризует южнорусских и северо-восточных духовных летописцев. Однако до архиепископства Мартирия (1193–1199 гг.) церковная специфика новгородских записей сводится лишь к фиксации строительства и освящения храмов, поставления и упокоения (архи)епископов и настоятелей монастырей. Отдельные ее части и вовсе напоминают не столько владычное, сколько княжеское летописание.

Согласно схеме А. А. Гиппиуса, поддержанной Т. В. Гимоном, переломным в новгородском летописании является 1132 г., в котором княжеская летопись переходит в руки владычных летописцев и продолжается как летопись Софийского собора. Четких внутрилетописных указаний на это нет. Содержательно статья 1132 г. и последующие не отличаются от предыдущих. Не совсем согласуется это предположение и с тезисом об «устойчивой корреляции» между сменой (архи)епископов и летописцев. Нифонт был поставлен на кафедру в 1130 г., а его летописец появился только спустя два года.

Из анализа записей Новгородской первой летописи на пространстве 1125–1137 гг. можно сделать вывод, что перед нами цельная повесть, главным действующим лицом которой является князь Всеволод. О нем содержатся сведения практически в каждой статье. Князь закладывает церкви, ходит в Киев к отцу, водит дружины на Чудь и Суздаль, принимает в Новгороде митрополита, ставит посадников. Значительно

[1] *Гиппиус А. А.* Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской первой летописи. М., 1996. С. 22.

меньше внимания уделено Нифонту. После известия о поставлении на кафедру он упомянут еще три раза: в 1131 г. — ставил игумена Антона, в 1135 г. участвовал в примирении киевлян с черниговцами, а в 1136 г. отказался венчать Святослава Ольговича. Вряд ли присутствие Нифонта было бы столь скромным, если бы летопись писалась его хронистом.

Обычно считается, что записи 1132 и 1136–1137 гг. о драматических взаимоотношениях Всеволода с новгородцами обнаруживают в летописце человека, осуждающего легкомысленный поступок князя, оставившего Новгород и ушедшего в Переяславль. В подтверждение приводится фраза: «А целовавъ крестъ къ новгородцемъ, яко хощю у вас умерети».[1] Мне представляется, что в этих словах слышится скорее огорчение, чем осуждение. Если бы это было не так, не вставил бы летописец в свое известие замечания, что в Переяславль Всеволод ушел не по своей воле, но «повелениемь Ярополцемъ», а новгородцы (вместе с псковичами и ладожанами), одумавшись («и пакы съдумавъше»), вернули изгнанного князя опять в Новгород («въспятиша и Устьяхъ»).[2]

Вполне сочувственны по отношению к Всеволоду и записи 1136–1137 гг. Летописец не обнаруживает восторга по поводу замены Всеволода на Святослава Ольговича. Более того, он не забыл отметить, что епископ Нифонт отказался венчать черниговского князя и приказал не делать этого своим попам, а также сообщил о неудачном покушении на Святослава милостников Всеволода. Неожиданное возвращение Всеволода в Псков летописец объясняет тем, что его тайно позвали новгородцы и псковичи: «Позванъ отаи новгородьскыми и пльсковьскими мужи, приятели его».[3] Сторонники свергнутого князя названы добрыми мужами: «В л҃то 6645. Настанущю въ 7 марта, индикта л҃ту 15, б҃жа Константинъ посадникъ къ Вс҃володу и ин҃ѣх добрыхъ мужь н҃колико».[4] Не осуждает летописец и непокорных псковичей, которые на требование Святослава Ольговича и его сторонников изгнать Всеволода из Пскова ответили решительным отказом и готовы были защищать его.

Целый ряд деталей указывает на то, что повесть о драматических взаимоотношениях Всеволода и новгородцев написана более или менее синхронно событиям и, видимо, их свидетелем. Это, прежде всего, современная форма фразы о вине князя: «Не блюдеть смердъ», а также детальное, почти протокольное, описание ареста, заключения и высыл-

[1] НПЛ. С. 22.
[2] Там же. С. 23.
[3] Там же. С. 24.
[4] Там же.

ки из Новгорода Всеволода: «И въсадиша въ епископль дворъ, съ женою и с дѣтьми, и с тещею, мѣсяца майя въ 28; и стражье стрежаху день и нощь съ оружьемь, 30 мужь на день. И сѣде 2 мѣсяца, и пустиша из города в 15».[1]

Характерно, что и после статьи 1137 г., сообщающей о загадочной смерти Всеволода Мстиславича в Пскове, основное внимание в летописи уделяется проблеме княжеской власти в Новгороде. Эта тема является главной содержательной канвой практически всех погодных записей. Летописец отслеживает перемещение князей на новгородском столе с такой обстоятельностью, что кажется, перед нами обыкновенная княжеская летопись.

Владычный летописец впервые отчетливо обнаруживает себя лишь в записях 1144–1156 гг., рассказывающих о епископе Нифонте. При этом, о чем шла речь выше, есть основания считать, что «Летопись Нифонта» была составлена в один прием и, разумеется, после его смерти. Кроме аргумента о святости Нифонта (статья 1144 г.) в пользу такого вывода свидетельствует и некоторая путаница в хронологии событий. Например, запись об участии Нифонта в киевском соборе, поставившем на митрополичью кафедру Клима Смолятича, помещена под 1149 г., тогда как собор состоялся в 1147 г. Конечно, ничего подобного не случилось бы, если бы летопись в этот период пополнялась синхронно событиям. Статья 1156 г., извещающая о кончине Нифонта, содержит также рассказ о поставлении епископа Аркадия, что свидетельствует о принадлежности обоих известий одному автору.

В дальнейшем стилистика владычной летописи не претерпевает существенных изменений, а поэтому очень сложно определить, где кончаются записи одного хрониста и начинаются другого. В этом плане несколько выделяются лишь записи за 1210–1218 гг., которые Б. А. Рыбаков считает княжеской летописью Мстислава Удалого. Эта интересная мысль не нашла поддержки у последующих исследователей новгородского летописания, а между тем, как нам кажется, она не лишена вероятия. Из содержания записей за 1210–1218 гг. отчетливо явствует, что главным действующим лицом в них выступает не владыка или новгородцы, а князь. Он является основной политической фигурой в Новгороде, а поэтому летописец смотрит на исторические события не сквозь призму своевольного боярства, а с позиции княжеской власти. В Новгород Мстислав пришел не по приглашению новгородцев, а по своей воле, чтобы избавить их от насилия князей Святослава и Всеволода. «Кланяяся святѣи Софии и гробу отця моего и всѣмъ новгородь-

[1] НПЛ. С. 24.

цемъ; пришьлъ есмь къ вамъ, слышавъ насилье от князь, и жаль ми своея отцины».[1]

Все последующие действия Мстислава также обусловлены его собственной инициативой. Это нашло отражение и в стилистике записей: «И поиде Мьстиславъ съ всемь пълкомь на Всеволода»; «И посла князь Мьстиславъ Дмитра Якуниця на Лукы»; «Ходи Мьстиславъ на Чюдь»; «Мьстиславъ же князь възя на нихъ дань».[2]

Определяющей была роль Мстислава и в избрании кандидатуры Добрыни Ядрейковича на новгородского архиепископа. «И волею Божиею возлюби и князь Мьстислав и вси новгородьци, и послаша и въ Русь ставиться».[3] Ничего похожего в новгородской летописи не говорится ни о каком другом князе XII–XIII вв. Исключительно по своей воле Мстислав уходит в Киев, а затем и возвращается опять в Новгород. «Поиде князь Мьстиславъ по своеи воли Кыеву, и створи вѣцѣ на Ярославли дворѣ, и рече новгородьцемъ: "суть ми орудия въ Руси, а вы вольни въ княз'ѣхъ"».[4] Характерно, что в отличие от времен Всеволода Мстиславича, новгородцы нисколько не оскорбились таким поступком Мстислава, а когда тот вскоре вернулся в Новгород, то заявили ему, что готовы с ним быть «в животъ и въ смерть».

В статье предыдущего (1214) года новгородцы обещались беспрекословно следовать за своим князем. «Рекоша ему новгородьцы: "камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржемь"».[5]

Несомненно, Мстислав пользовался особой популярностью среди новгородцев, но многое в его летописной характеристике следует отнести на счет личной преданности его летописца.

Значительно шире в этой части летописи становится ее политический горизонт. Новгород, которого в продолжение многих десятилетий не очень-то волновали южнорусские междоусобицы, вдруг принимает решение вступиться за достоинство Русской земли и честь киевского стола. Достаточно было Мстиславу сказать на вече на Ярославлем дворе, что Всеволод Чермный обижает Киев, как новгородцы изъявили желание принять участие в походе на него. «И рече Твьрдиславъ посадникъ: "Яко, братие, страдали д'ѣди наши и отчи за Русьскую землю, тако, братье, и мы поидимъ по своемь князи"».[6]

[1] НПЛ. С. 51, 249.
[2] Там же. С. 51–53.
[3] Там же. С. 52.
[4] Там же. С. 53.
[5] Там же.
[6] Там же.

Отвечая на вопрос, кто составил новгородскую летопись Мстислава Удалого, Б. А. Рыбаков высказал предположение, что это был духовник князя Тимофей. Основанием для этого послужили следующие аргументы: стилистическая близость «Повести о Липицкой битве 1216 г.» и «Повести о походе Игоря в 1185 г.»; упоминание в нескольких местах новгородской летописи Галича; указание на то, что день Липицкой битвы приходился на праздник святого Тимофея; некоторые языковые особенности Мстиславовой летописи, перекликающиеся с галицкой летописью.

Первый из этих аргументов, о чем шла речь в главе «Киевское летописание XII в.», не может быть признан корректным. Киевлянин Тимофей не был составителем «Повести о походе Игоря», а поэтому авторское сближение ее с «Повестью о Липицкой битве» лишено оснований. Остальные аргументы Б. А. Рыбакова кажутся вполне обоснованными, хотя достаточны ли они для отнесения новгородской летописи Мстислава Удалого к перу мудрого книжника Тимофея, сказать сложно.

С 1218 г. новгородская летопись переходит в руки другого автора, в пользу чего свидетельствует двойное известие об уходе Мстислава из Новгорода. Сперва об этом говорится в логической связи с объявлением им своего решения на вече: «Новгородьци же много моляхуся: "Не ходи княже"; и не можахуть его уяти, и поклонивъся поиде».[1] Затем об этом же сообщается после пространной фразы о прибытии в Новгород из Владимира на Клязьме архиепископа Митрофана: «Поиде Мстислав въ Русь».[2]

Стилистически летопись после 1218 г. не претерпевает кардинальных изменений, но становится менее сухой и протокольной. Летописец разрешает себе своеобразные лирические отступления, оживляет рассказ прямой речью действующих лиц. Глеба Рязанского, коварно убившего шестерых князей-соперников, он сравнивает с Каином, убившим брата Авеля, а также со Святополком Окаянным, на совести которого смерть братьев Бориса и Глеба. Столкновение жителей торговой стороны с неревлянами летописец объясняет происками дьявола, а наступившее затем примирение — Божьим промыслом. «Нъ Богомъ дияволъ попранъ бысть и святою Софиею, крестъ възвеличянъ бысть».[3]

Рассказывая под 1235 г. о междуусобице южнорусских князей Владимира Рюриковича и Данила Романовича, с одной стороны, и Михаила Всеволодича — с другой, летописец также объясняет ее дьяволь-

[1] НПЛ. С. 57.
[2] Там же. С. 58.
[3] Там же. С. 59.

скими кознями. «Не хотя исперва оканьныи, всепагубныи дьяволъ роду человѣческому добра, въздвиже крамолу межи русьскыми князи, да быша человѣци не жили мирно: о томь бо ся злыи радуеть кровопролитию крестьяньску».[1]

Аналогичные благочестивые морализаторства характеризуют рассказы о нашествии на русские земли монголо-татарских завоевателей. Они названы безбожными, погаными и беззаконными измаильтянами, которые пришли на русские земли как Божье наказание за грехи. «Да кто, братье и отци и дѣти, видѣвше Божие попущение се на всеи Русьскои земли. Грѣхъ же ради нашихъ попусти Богъ поганыхъ на ны».[2] Когда же татары, не дойдя 100 верст, повернули обратно, летописец воскликнул: «Новгородъ же заступи Богъ и святая великая и зборная апостольская церкьв Софья».[3]

Летописец был свидетелем ужасного монголо-татарского нашествия и описал ее по свежим следам. Это хорошо видно из следующего фрагмента статьи 1238 г. «И кто, братье, о семь не поплачется, кто ся нас осталъ живыхъ, како они нужную и горкую смерть подъяша. Да и мы то видѣвше, устрашилися быхомъ и грѣховъ своихъ плакалися съ въздыханиемь день и нощь».[4]

Из всех древнерусских летописей XII–XIII вв. новгородская наиболее сориентирована на описание внутренней истории города и земли. В ней нашли освещение события, связанные с поставлением (архи)епископов, игуменов и попов, строительством и освящением храмов, возведением мостов через Волхов, избранием посадников и введением князей, природными катаклизмами и знамениями, неурожаями и волнениями. Летописные записи поданы с такой мерой детализации, наполнены таким количеством фактических данных, что представляют собой своеобразную энциклопедию истории Новгорода.

Меньше внимания новгородские летописцы уделяли событиям, которые происходили в других землях Руси, но полностью абстрагироваться от них не могли. Новгород жил в постоянном взаимодействии с Киевом, Владимиром на Клязьме, Смоленском, Черниговом и это не могло не отразиться на его летописании.

Известия о киевских и южнорусских событиях носят в новгородской летописи преимущественно хроникальный характер. Сказанное относится не только к таким свидетельствам, как прибытие в Киев греческих митрополитов или утверждение на киевском столе очередного

[1] НПЛ. С. 73.
[2] Там же. С. 76.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 75.

великого князя, но и сообщений об их упокоении. Смерть Владимира Мономаха, которая вдохновила киевского летописца на торжественный панегирик, у новгородского не вызвала никаких эмоций. То же самое относится и к сообщению о смерти Мстислава Владимировича, что, учитывая его длительное княжение в Новгороде и особую любовь к нему новгородцев, выглядит не очень понятным.

Новгородская летопись содержит целый ряд оригинальных записей о событиях в Киеве, Переяславле, Чернигове, Галиче, которые значительно расширяют источниковую базу для освещения истории Южной Руси.

Так, в статье 1145 г. Новгородской первой летописи сообщается, что в походе великого киевского князя Всеволода Ольговича на Володимирка Володаревича принимал участие и новгородский полк под водительством воеводы Неревина. «Томъ же лѣтѣ ходиша вся Русска земля на Галичь,... ходиша же и из Новгорода помочье кыяномъ съ воеводою Неревиномъ, и воротишася съ любовью».[1]

Новгородских летописцев волновали южнорусские события даже и тогда, когда они не пересекались с новгородскими. Один из них занес на страницы летописи сведения о взятии Киева Рюриком Ростиславичем в 1203 г., которых нет ни в Лаврентьевском, ни в Ипатьевском списке. Уровень детализации рассказа о взятии Киева и его драматизм указывают если не на киевское его происхождение, то, по меньшей мере, на то, что запись сделана со слов очевидца этого события. Летописец явно сострадает Киеву в постигшем его несчастье, при этом пытается основную тяжесть вины переложить на половцев. Ему не хочется верить, что над древней столицей Руси надругались русские же князья.

Под 1224 г. летопись излагает события, связанные с битвой на Калке. Помимо основного информационного объема, который имеется также в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, новгородская содержит ряд оригинальных известий, обогащающих наши знания об этой драматической странице истории Южной Руси. Речь идет, в частности, о рекомендации половецкого хана Котяна, как тестя Мстислава Галицкого: «Се же Котянь бѣ тѣсть Мъстиславу Галицкому»; о характере даров, поднесенных русским князьям половцами, в качестве платы за военную помощь: «И приде съ поклономъ съ князи Половецькыми к зяти въ Галичь кь Мъстиславу и къ всемъ князем русьскымъ, и дары принесе многы: кони и вельблуды и буволы, и дѣвкы, и одариша князь русьскыхъ».[2]

[1] НПЛ. С. 27.
[2] Там же. С. 62.

Интерес новгородского летописца к Киеву и Южной Руси сохранялся практически до начала монголо-татарского нашествия. Он последовательно описал все перипетии неоднократного занятия киевского стола Михаилом Всеволодичем, события, связанные с избранием и освящением в Киеве митрополитом Кириллом архиепископа Спиридона, междукняжескую усобицу 1235 г., приход на киевский стол в 1236 г. Ярослава Новгородского.

Запись о вокняжении в Киеве Ярослава Всеволодича продолжает ряд новгородских известий о постоянных связях между двумя крупнейшими центрами Руси — Киевом и Новгородом, которые осуществлялись не только на уровне высшей княжеской и церковной элиты, но и широких военных и купеческих кругов. Вместе с Ярославом в Киев прибыли «новгородци вятшие» Судомир Славнич, Яким Влункович, Коста Вячеславич, а также 100 мужей из Нового Торжка. Через неделю они были отпущены домой с киевскими подарками. «И державъ новгородцевъ и новоторжцевъ одину недѣлю и одаривъ я, отпусти проче; и придоша здрави вси».[1]

С началом монголо-татарского нашествия на Русь Новгород оказался отрезанным от Киева и Южной Руси, что хорошо видно из содержания новгородского летописания конца 30-х – начала 40-х гг. XIII в. После сообщения о прибытии в Киев митрополита — грека из Никеи («Того же лѣта приде митрополитъ Грѣчинъ изъ Никѣя въ Киевъ, именем Есифъ»),[2] какие бы то ни было упоминания о южнорусских событиях исчезают со страниц новгородской летописи.

В заключение следует отметить, что несмотря на некоторые специфические особенности, новгородское летописание развивалось в русле общерусских традиций исторической письменности. Погодное ведение летописи чередовалось с единовременным за несколько лет, а известия о событиях в других городах и землях Руси вносились во время редактирования и составления сводов.

Первый Новгородский свод, обнаруживающий отчетливое сходство с последней редакцией «Повести временных лет», был составлен, скорее всего, в первые годы княжения Всеволода Мстиславича. Последующие этапы редакторско-сводческой работы новгородских летописцев приходятся на 1136, 1160–1161, 1211–1219 гг., а также на начало 40-х гг. XIII в. Практически во всех случаях новгородские летописцы ориентировались на киевские летописные образцы. Кроме стилевых подражаний, в Новгородской летописи обнаруживаются и текстуальные заимствования.

[1] НПЛ. С. 74.

[2] Там же.

9. Летописание Северо-Восточной Руси XII – первой половины XIII в.

Киевская летописная традиция сравнительно рано получила распространение в Северо-Восточной Руси. Имея в своих руках общерусский свод, именуемый «Повестью временных лет», владимиро-суздальские летописцы продолжили его известиями, относящимися к событиям местной истории.

По мнению Н. И. Костомарова, последовательный летописный рассказ о судьбах Суздальского края начался со времени утверждения на владимирском княжеском столе Андрея Боголюбского, то есть где-то с 1157 г. На эту мысль навело историка заглавие в Воскресенской летописи: «Наста княжение суздальское Андреемъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ, а столъ великое княжение Володимирское в лѣто 6665».[1]

М. Д. Приселков, которому принадлежит лучшее исследование по истории летописания в Ростово-Суздальской земле, полагал, что оно началось уже со второго десятилетия XII в., но в первый период являлось повествованием в основном южнорусской истории. Северо-восточные известия начинаются с 1120 г. (поход Юрия Долгорукого на болгар) и первоначально весьма немногочисленны.[2]

Если иметь в виду собственно владимирское летописание, то Н. И. Костомаров, вероятно, прав. О нем можно уверенно говорить только со времени утверждения на столе Владимира на Клязьме Андрея Боголюбского. Но ведь в Северо-Восточной Руси были старые политические и культурные центры Ростов и Суздаль, где традиция летописания несомненно более древняя. В пользу этого свидетельствует упоминание владимирским епископом Симоном Ростовского Летописца, в котором находились имена владык, происходивших из Киево-Печерского монастыря.

---

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 82.

[2] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. С. 64.

Владимиро-Ростовское летописание полнее всего сохранилось в Лаврентьевском, Радзивиловском и Воскресенском списках. Здесь нас будет интересовать в большей мере Лаврентьевская летопись, окончательное формирование текста которой относится к началу XIV в. Согласно М. Д. Приселкову, текст древнерусской ее части сложился около середины XIII в. и является слиянием ростовского летописания с владимирским.[1] Еще раньше близкую мысль высказал А. А. Шахматов, писавший, что в части до середины XIII в. Лаврентьевская летопись представляется Ростовским летописным сводом, причем в этом своде резко отличались древнейшая часть (Владимирский свод, доведенный до 1185 г.) и позднейшая (Ростовская летопись от 1206 до 1262 г.). При этом сводчики ростовского и владимирского летописания воспользовались материалами Летописца Переяславля Суздальского, а также Новгородской владычной летописи.[2]

М. Д. Приселков, кроме названных, в числе источников Лаврентьевской летописи видел и южнорусское летописание, главным образом переяславльское. Привлечение южнорусских материалов происходило якобы в несколько приемов: первый источник был использован до 1175 г., второй — до 1188 г. и третий — до начала XIII в. Примерно на эти же рубежи приходится и работа сводчиков владимирского летописания. Первый владимирский свод, как полагал М. Д. Приселков, датируется 1177 г., второй — 1193 г. и третий — 1212 г.[3] Еще один свод составлен около 1239 г. в Ростове ростовским летописцем.[4]

Общая схема владимиро-суздальского летописания, воссозданная М. Д. Приселковым, видимо, действительно близка к реальной, однако отдельные ее звенья нуждаются в уточнении.

Прежде всего это относится к утверждению М. Д. Приселкова, что все южнорусские известия почерпнуты владимирскими книжниками из летописей Переяславля Русского: в своде 1177 г. использована епископская летопись; в сводах 1193 и 1212 гг. — княжеские. Учитывая постоянные политические связи Переяславльского и Владимиро-Суздальского княжеств, такой вывод кажется вполне логичным. Однако эти же тесные связи позволяют предполагать и иной путь поступления информации на северо-восток: не только посредством периодического вывоза из Переяславля епископских и княжеских летописей, но и регулярной устной их передачи. К тому же Переяславль был не единственным источником информирования владимирских и ростовских летопис-

[1] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. С. 61.
[2] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 246.
[3] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 64.
[4] Там же. С. 92.

цев. Есть достаточно оснований утверждать, что сведения о южнорусских событиях поступали в Северо-Восточную Русь из Киева, Чернигова, из Волыни и Галичины.

Попытаемся подтвердить сказанное конкретными примерами. Среди них и те, которые М. Д. Приселков приводил для доказательства использования владимирским сводчиком княжеского Летописца Переяславля. Под 1199 г. в Лаврентьевской летописи сказано: «Того же л'Ьта преставися Ярославъ Мстиславич в Рускомъ Переяславли».[1] М. Д. Приселкову казалось, что контекст записи свидетельствует о том, что она сделана в Переяславле Русском, в действительности вывод здесь может быть как раз обратный. Уточнение — в «Русском Переяславле» — указывает на то, что запись принадлежит владимирскому летописцу. Переяславльскому такое уточнение не пришло бы и в голову. Аналогично можно объяснить и статью 1203 г. Радзивиловской летописи, в которой говорится о радости в «Русском Переяславле» по случаю посылки туда Всеволодом сына Ярослава. Как и в первом случае, уточнение — «в Русском», как, впрочем, и весь пафос статьи выдает владимирского, а не переяславльского автора. Под 1205 г. в известии о походе союзных князей на половцев — переяславльский князь Ярослав назван сразу же за киевским Рюриком и перед Романом Мстиславичем. М. Д. Приселкову казалось, что такое предпочтение пятнадцатилетнему Ярославу мог оказать только переяславльский летописец. Но возле слова «Ярослав» есть уточнение — «великого князя Всеволож сынъ»,[2] а оно-то бесспорно указывает на авторство владимирского летописца. Важной здесь является только эта рекомендация.

Конечно, на этих свидетельствах нельзя придти к выводу, что владимирский сводчик, работавший над летописью в 1212 г., имел в своих руках княжеский Летописец Переяславля Русского.

В свод 1193 г., согласно М. Д. Приселкову, были включены три статьи из княжеской летописи Переяславля Русского: 1185, 1186 и 1188 гг. В статье 1185 г. переяславльского летописца будто бы выдает особое отношение к князю Владимиру Глебовичу. Большая часть статьи действительно повествует о мужестве переяславльского князя, который, двигаясь в авангарде русских сил, нанес половцам сокрушительное поражение. Летописец явно испытывает гордость за Владимира, при этом, для достижения большего эффекта, сообщает фантастические цифры половецких потерь. Первое, что может придти в голову при чтении записи, это вывод о ее переяславльском происхождении, что и сделал М. Д. Приселков. Однако при более углубленном анализе оказы-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 415.
[2] Там же. Стб. 420.

вается, что настаивать на верности первого впечатления нет достаточных оснований. Победа Владимира над половцами во время коллективного похода была известна не только переяславльцам. Гордиться ею мог не только переяславльский летописец, но, к примеру, и владимирский, относившийся к Владимиру Глебовичу как к своему князю.* Рекомендация последнего как «внука Юргевича», не очень чтимого в Южной Руси, конечно, свидетельствует в пользу ее владимирского происхождения. Владимирского автора выдает и стилистика статьи. Оборот — «Владимеръ же Божью помочью и святое Богородицы, и д҃ѣда своего святою молитвою укр҃ѣпляем, и отца своего»[1] — характерен для владимирских летописцев. Кроме того, обильная церковная фразеология статьи также не указывает на то, что перед нами извлечение из княжеского летописца Переяславля Русского.

Нет сколько-нибудь убедительных оснований считать, что и рассказ об Игоревом походе, помещенный в Лаврентьевской летописи под 1186 г., взят из княжеского Летописца Русского Переяславля. Кроме упоминания Переяславля, ничего специфически переяславльского в нем нет. Несколько ироническое отношение летописца к походу «Ольговых внуков» и к самому Игорю не может указывать на его переяславльское происхождение. Нелепый поход Игоря, преследовавший личные амбициозные цели, мог вызвать аналогичные эмоции у киевского, владимирского и даже черниговского летописцев, поскольку его неудача обернулась драматическими последствиями для всей Южной Руси. Некоторые детали рассказа указывают скорее на то, что его основа составлена или в Киеве, или в Чернигове. Игоревы дружины, потерпевшие сокрушительное поражение от половцев, именуются «нашими»: «И поб҃ѣжени быша наши гн҃ѣвом Божьим», «А о наших не бысть кто и в҃ѣсть принеса за наше согр҃ѣшенье».[2] Вряд ли так мог высказаться переяславльский летописец. Для киевского или черниговского автора определение «наши» было естественным.

М. Д. Приселков отмечал, что о бегстве Игоря из плена летописец написал без сочувствия и одобрения («И по малых днехъ ускочи Игорь князь у Половець»). Без одобрения — да, но не без сочувствия. Если бы историк продолжил летописную цитату («Не остави Господь праведнаго в руку гр҃ѣшничю» и «Тако и сего Богъ избави из руку поганых»),[3]

* М. Д. Приселков считал даже, что Владимир Глебович принял участие в союзном походе повелением Всеволода Юрьевича. Это утверждение сомнительно, но, если бы это было действительно так, тогда владимирцы должны были рассматривать эту победу Владимира как свою собственную.

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 395.

[2] Там же. Стб. 398.

[3] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 81.

пришлось бы признать, что, несмотря на Игорево легкомыслие, летописец все же радуется его побегу из плена. И вряд ли эти фразы следует относить на счет позднейшего сводчика.

Рассказ о походе Игоря перебит вставкой, повествующей о нападении на Переяславльщину и ее столицу половцев, а также о мужестве князя Владимира Глебовича, отчаянно врубившегося «в малѣ дружинѣ» в осаждавших город врагов и едва спасшегося от гибели. Эта запись могла быть переяславльской, но утверждать это определенно невозможно. Она не содержит тех подробностей, которые бы обнаружили в авторе переяславльца, а в такой общей форме вполне могла быть сделана и во Владимире со слов какого-то информатора.

Завершает статью традиционное для владимирских летописцев поучение. М. Д. Приселков считал его чужеродным в статье 1186 г., таким себе плохо пришитым куском, но согласиться с этим также трудно. Летописец не оборвал свой рассказ на приведенной выше фразе о побеге Игоря, но после поучительных слов о спасительных глазах и ушах Господа добавил еще одну о неудавшемся преследовании Игоря половцами: «Гониша бо по нем и не обрѣтоша его».[1] Дальше идет собственно поучение, которое и содержательно, и стилистически органично увязано с предыдущим текстом. «Необретение» Игоря летописец сравнивает с погоней Саула за Давидом, от которой последнего избавил сам Бог. «Яко и Саул гони Давида, но Богъ избави и, и тако сего (Игоря. — *П. Т.)* Богъ избави из руку поганых».[2]

О переяславльском происхождении краткого сообщения («Преставися Володимеръ Глѣбовичь Переяславли, внукъ великого князя Георгия»[3]) вообще говорить не приходится. Из Киевской летописи мы знаем, сколь резонансной была эта смерть для Южной Руси. Конечно, переяславльский летописец не мог ограничиться таким индифферентным известием. Не может быть и малейшего сомнения, что оно принадлежит владимирскому автору. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют два пояснения: первое — что Владимир умер в «Переяславли» (переяславльскому летописцу делать такое уточнение было ни к чему), и второе — что князь приходился внуком Юрию Долгорукому.

Следуя логике М. Д. Приселкова, что все переяславльские известия владимиро-суздальско-ростовского летописания взяты из Летописцев Переяславля Русского, можно думать, что все киевские или южнорусские имеют своим источником Киевскую летопись. Ничего невероятного в таком предположении, разумеется, не будет. Но, как свидетельству-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 399.
[2] Там же. Стб. 399–400.
[3] Там же.

ет целый ряд «киевских» или «южнорусских» записей в Лаврентьевской летописи, абсолютизировать такой способ творчества летописцев Северо-Восточной Руси не следует. Они несомненно широко использовали устную информацию, приносимую в Суздальско-Залесский край из Южной Руси княжескими и церковными людьми, купцами, богомольцами. Большое место во взаимной информированности южнорусских и владимирских летописцев занимали регулярные междукняжеские брачные связи. Особенно оживленными они были в первой половине XIII в., когда многочисленные представители дома Всеволода Юрьевича брали себе в жены невест из Киева, Чернигова и других южнорусских городов. Разумеется, всякий раз это были большей мерой политические мезальянсы, требовавшие переговорной подготовки, обмена посольствами. Княжны из южной Руси отправлялись во Владимиро-Суздальщину в окружении большой свиты, в числе которой были и их духовники. В таких условиях события, происшедшие в Киеве и Южной Руси, очень быстро становились известными на северо-востоке страны.

Вот только несколько примеров этому. В летописной статье 1230 г., рассказывающей о литургии в день памяти святого Феодосия Печерского в соборной церкви св. Богородицы во Владимире, содержится сообщение о землетрясении. Подробно перечислив его последствия для Владимира, летописец затем еще обстоятельнее излагает те бедствия, которые постигли Киев и Переяславль. В Киеве расступился на четыре части Успенский собор и была повреждена Трапезная церковь Печерского монастыря, в Переяславле надвое раскололась Михайловская церковь. Случилось это в день памяти святого Феодосия Печерского, который пришелся на пятницу 3 мая. По этому случаю в Трапезной Печерского монастыря были накрыты поминальные столы, но все яства и напитки с них были снесены обрушившимися сверху камнями.

Конечно, не будь в тексте статьи указания на автора, исследователи однозначно отнесли бы ее к творчеству киевского летописца, записью которого затем воспользовался владимирский или ростовский сводчик. Но оказывается, что рассказ составлен северо-восточным летописцем со слов очевидцев: «Тако слышахом у самовидець бывших тамо в то время».[1] Характерно, что Переяславль здесь, как и в рассмотренных выше якобы переяславльских записях, также назван «Русским».

Еще одна запись могла бы сойти за чисто киевскую, если бы летописец не уточнил, что сделана она на основании свидетельства очевидца. Речь идет о так называемых «столпах черлено-зелено-синих», стоявших в Киеве «оба полы солнца». Сегодня очевидно, что киевляне наблюдали обыкновенную радугу после грозы, но приняли ее за огнен-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 454.

ные столпы из небес. Они будто бы постояли над Лыбедью, а затем через весь город переместились к Днепру, в котором и исчезли. Люди видели в этом Божье знамение и даже думали, что оно является предвестником конца света. «Людемъ всимъ отчаявшимъ своего житья мняще уже кончину сущю, цѣлующе друг друга, прощенье имаху, плачуща горко воспиша к Богови слезами и молитвою своею».[1] В конце этого рассказа летописец записал, что «так сказаша нам самовидци, бывши там».[2]

К числу свидетельств «самовидцев», наверное, следует относить также те записи владимиро-суздальских летописцев, которые повествуют о поставлении в Киеве, в святой Софии, епископов Ростову и Владимиру, киевских митрополитов, о военных кампаниях с участием владимирских дружин.

Особенно характерными в этом отношении могут быть рассказы о взятии Киева союзниками Андрея Боголюбского в 1169 г. и Рюрика Ростиславича в 1203 г. В первом из них, помещенном в Лаврентьевской летописи под 1068 г., владимирского летописца выдает определенная идеологическая предвзятость. Летописец не радуется откровенно победе союзников и даже отмечает их грабежи и бесчинства в Киеве, но пытается найти этому оправдание. Он пишет, что «се же сдѣяся за грѣхы ихъ, паче же за митрополичью неправду, в то бо время запрѣтилъ бѣ Поликарпа игумена Печерского про Господскыѣ праздникы, не веля ему ѣсти масла и молока въ среды и в пятки, в Господскыѣ праздники».[3] Овладеть Киевом помог осаждавшим «Богъ и святая Богородица», а также «отня и дѣдня молитва». Оба выражения указывают на владимирского летописца.

Второй рассказ о взятии Киева в 1203 г. менее идеологически определенный. В нем даже присутствует выражение, которое можно отнести на счет киевского летописца: «То все стася над Киевом за грехи наша».[4] И все же владимиро-суздальская тенденция присутствует и здесь. Летописец говорит о том, что в Русской земле случилось зло, которого не было над Киевом от самого крещения: «И створися велико зло в Русстѣи земли, якого же зла не было от крещенья надъ Кыевомъ».[5] Создается впечатление, что летописец пытается своим живописанием разгрома Киева Рюриком Ростиславичем и его половецкими союзниками сгладить негативное впечатление от аналогичного его погрома 1169 г.

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 455.
[2] Там же.
[3] Там же. Стб. 354.
[4] Там же. Стб. 418.
[5] Там же.

Конечно, в рассказе краски сильно сгущены. Столь страшного разгрома, скорее всего, не было. Рюрик Ростиславич овладевал Киевом ведь не для грабежа, а чтобы вернуть себе великокняжеский стол. Зачем ему был сожженный и разграбленный Киев?

В пользу владимирского летописца свидетельствует здесь и перечисление киевских потерь: «И иконы одраша, а иныѣ поимаша, и кресты честныя, и ссуды священныя, и книгы и порты блаженных первых князей, еже бяху повѣшали в церквахъ святехъ на память собѣ, то положиша все собѣ в полонъ».[1] Перед нами, по существу, литературный штамп, прилагаемый летописцами и к сюжетам о бесчинствах завоевателей, и к рассказам о частых пожарах владимиро-суздальских городов. Так, летописная статья 1185 г., извещающая о страшном пожаре Владимира, содержит подробный перечень церковного имущества, погибшего в огне. Здесь: «чюдные иконы», кованные золотом, «паникадила сребреная и ссуды золотые и сребреные», книги, а также порты, шитые золотом и жемчугом.[2] Текстуально приведенный выше рассказ повторен владимирским летописцем в статье 1237 г., рассказывающей о сожжении и разграблении Владимира на Клязьме монголо-татарами.[3] Совершенно одинаков в обоих рассказах и переход к церковному поучению: «Яко пророкъ глаголеть».

Сказанное выше не означает, разумеется, что нами отвергается в принципе возможность использования летописцами Северо-Восточной Руси каких-то письменных материалов своих южнорусских коллег. Начиная от последних известий «Повести временных лет» и до середины XII в., летопись по Лаврентьевскому списку представляет собой не земельную, а общерусскую киевскую летопись, в которой лишь изредка вкраплены местные ростово-суздальские сюжеты. При этом вовсе нет уверенности в том, что и они принадлежат ростовским, а не киевским летописцам.

И в последующем в руках северо-восточных хронистов оказывались записи, сделанные на юге Руси, однако не столько переяславльскими, как полагал М. Д. Приселков, сколько киевскими авторами. На это указывают, в частности, статьи, содержащие сведения о союзных походах русских князей во главе с киевскими на половцев (1185 г., 1205 г.), о драматической борьбе за Киев Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого (1149–1152 гг.), а также Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича (1202–1204 гг.), об аналогичном противостоянии Рюрика и черниговского князя Всеволода Чермного (1206–1207 гг.). В отличие от

[1] ПСРЛ. Т. 1.Стб. 418.
[2] Там же. Стб. 392.
[3] Там же. Стб. 463.

первой части летописи, все южнорусские записи за вторую половину XII – начало XIII в. прошли редакторскую обработку владимирских летописцев, а поэтому вычленить в них первичную основу бывает не просто.

Примерно от середины XII в. и до 1174 г. мы имеем дело с летописью Андрея Боголюбского. Завершена она около 1177 г., на который приходится, согласно М. Д. Приселкову, создание первого владимирского свода. Составлена летопись из погодных записей владимирских летописцев, а также ретроспективного их дополнения редактором свода. К его творчеству, бесспорно, относятся сюжеты, рассказывающие о доблестях молодого князя Андрея, учавствовавшего в борьбе своего отца Юрия Долгорукого за киевский стол. Разумеется, он был далеко не ключевой фигурой драматического противоборства Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича, но летописец представляет дело так, как будто благодаря именно Андрею Юрий достигал своих успехов. В 1149 г. он храбро сражался с половцами у Муравицы, а затем и под стенами Луцка. Несколько раз мог быть убитым, но «крестною силою и молитвою дѣда своего» обретал спасение. Из окружения под Луцком Андрея вынес смертельно раненный конь, а в предыдущем эпизоде он чудом избежал рогатины некоего «Н·ѣмчича». Автор записи объясняет это Божьим заступничеством: «Но Богъ сблюде и многажды, бо Богъ любящих его вмѣтаеть в напасти, но милостью своею избавляеть».[1]

Летописец создает образ Андрея не только как храброго, но и рассудительного князя. В то время как Юрий и еще один его сын Ростислав, участвовавший в походе на Волынь, никак не желали принять извинений Изяслава Мстиславича и примириться с ним, Андрей просит отца проявить благоразумие. «Андрееви же князю вложи Богъ в сердце сущю ему милостиву на свой родъ, паче же на хрестьяны, поча молитися отцю глаголя: "Не слушай Ярославича, примири сыновца, не губи отчины своея"».[2]

В очередной схватке Юрия Долгорукого с Изяславом Мстиславичем, происшедшей в 1151 г., Андрей вновь проявляет геройство, грозившее ему гибелью, но Бог в очередной раз спасает его. «И возвратися опять невреженъ и сохраненъ Богомъ и молитвою родителя своего».[3] В битве под Киевом Андрей еще раз оказался в критической ситуации (под ним был ранен конь, а сам он потерял шлем и щит), но также вышел из нее невредим с помощью Бога. «Божьим же заступленьем и молитвою родитель своихъ схраненъ бысть без раны».[4]

---

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 325.

[2] Там же. Стб. 326. Фрагмент рассказа о доблестях Андрея под Луцком сохранился также в Ипатьевской летописи (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 390–392).

[3] Там же. Стб. 333.

[4] Там же. Стб. 334.

Летописец исхитряется представить Андрея с лучшей стороны даже в тех случаях, когда военная кампания, в которой он участвовал, оканчивалась полной неудачей для Юрия Долгорукого. Так, в частности, было в 1152 г., когда владимиро-суздальские дружины в союзе с половцами осадили Чернигов, но овладеть им так и не смогли. Летописец объяснил эту неудачу тем, что в битве за Чернигов не хотели участвовать князья. «Князи же здумавше вси, не крѣпко бьются дружина, ни Половци, оже с ними не ѣздимъ сами».[1] И тогда пример всем показал Андрей. Во главе своей дружины он смело обрушился на вышедших из города защитников, опрокинул их, одних перебил, а других загнал за крепостные стены. Храбрый поступок Андрея якобы был встречен с ревностью другими князьями: «Тогда же поревновавше ему инии князи, ѣздиша послѣди подъ городъ».[2]

К поздним «припоминаниям» (возможно, не без участия самого Андрея) относится летописная запись об его неожиданном отъезде из Южной Руси в Суздаль. Для летописца, по-видимому, было важным сообщить при этом, что Андрей принес с собой из Вышгорода царьградскую икону Святой Богородицы, которая в последующем станет покровительницей не только Андрея, но и его наследников, а также всей Владимиро-Суздальской земли.

Достаточно вспомнить, как икона св. Богородицы помогла Андрею Боголюбскому в 1164 г. достичь победы над Волжской Болгарией. Летописец рассматривал эту победу как чудо Святой Богородицы Володимерской, «юже взялъ бяше с собою благоверныи князь Андрѣй, и принесъ ю с славою, и постави ю въ Святѣи Богородицѣ Володимери».[3]

Аналогичное происхождение, по-видимому, имеет и статья 1157 г., сообщающая об утверждении Андрея на ростовском столе. Упоминание на первом месте среди инициаторов такого поставления «ростовцев», возможно, указывает на то, что сводчик 1177 г. располагал и какой-то современной событию ростовской записью, но в такой редакции она появилась, несомненно, под пером автора свода. В ней содержится похвала Андрею, который после смерти отца «велику память створи, церкви украси, и монастыря постави, и церьков сконча, юже бѣ заложил преже отець его свята Спаса каменну в Переяславле новѣм».[4]

С 1158 г. владимиро-суздальское летописание превращается в регулярную хронику с погодным изложением местных событий. Со времен Н. И. Костомарова бытует мнение, что новым его центром становится

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 338.
[2] Там же.
[3] Там же. Стб. 353.
[4] Там же. Стб. 348.

Владимир на Клязьме.[1] Имеющиеся в нашем распоряжении источники не дают оснований для такого однозначного вывода. Скорее в них содержатся свидетельства о том, что какое-то время летопись Андрея Боголюбского велась в Ростове. Под 1158 г. содержится известие о приходе в Ростов епископа Леона. Статья 1159 г., судя по ее содержанию, вообще ростовская. Сначала в ней говорится об изгнании ростовцами и суздальцами из Ростова епископа Леона, затем сообщается о присылке в Ростов к Андрею послов от Изяслава Давидовича с просьбой выдать за его племянника дочь Боголюбского, а также о предоставлении ростовской помощи вщижскому князю Святославу Володимировичу. Летописец особо подчеркивает, что сын Андрея Изяслав пошел к Вщижу «с силою Ростовскою», а затем «воротися къ отцю своему Ростову».[2] Еще одна ростовская запись содержится в летописной статье 1160 г. Сообщая о пожаре в Ростове и гибели в огне церквей, летописец особенно скорбит о великой церкви Св. Богородицы, полагая, что такой не было раньше и уже не будет. «Того же л҃та погор҃ Ростовъ, и церкви вс҃, и сборная, дивная и великая церквы свято҃ Богородиц҃ сгор҃, и якоже не было ни будеть».[3]

Видимо, о собственно владимирском летописании можно говорить только после 1161 г., когда была расписана и освящена соборная церковь Святой Богородицы, а также после перенесения во Владимир из Ростова княжеской резиденции Андрея Боголюбского. Несомненно, вместе с ним перебрались в новую столицу и грамотеи-книжники, ведшие раньше Ростовскую летопись. Действительно, начиная со статьи 1161 г. по статью 1167 г. в летописи идет ряд хроникальных записей, производящих впечатление современных событиям. Все они содержат точные даты. В сообщении 1164 г. о смерти Изяслава Андреевича говорится, что погребен он был в церкви Св. Богородицы «месяца октямьбря, въ 28 день». В статье 1166 г., извещающей о погребении в той же владимирской церкви Ярослава Юрьевича, также имеется точная дата: случилось это «месяца априля, въ 30 день». Преставление великого киевского князя Ростислава Мстиславича датировано 21 марта 1167 г. Учитывая тот факт, что речь в этих статьях идет преимущественно о закладке, расписывании и освящении церквей, а также о погребениях князей в церкви Св. Богородицы, можно предположить, что составлены они церковным лицом и, скорее всего, при соборном храме Владимира.

О церковной окраске владимирского летописания с его постоянными обращениями к Богу и Святой Богородице, цитатами из священного

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 82; *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 65.

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 350.

[3] Там же. Стб. 351.

писания и похвалами князьям за их щедрость к монастырям и церквам говорил уже Н. И. Костомаров. Он же пришел к выводу, что велась Владимирская летопись лицами духовного звания.[1] Особенно это справедливо по отношению к записям 1159–1212 гг. (летописи Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо). В них ведомости о церковной жизни — поставлении епископов, закладке и освящении храмов, конфликтах по поводу попыток учреждения во Владимире собственной митрополитии и епископии, а также соблюдении церковных норм, чуде иконы Св. Владимирской Богородицы, разных знамениях — едва ли не преобладают над описанием светских событий.

Идеологически летописание времени Андрея Боголюбского выдержано в духе особого почтения к своему князю. Он рекомендуется как «правдивый», «благоверный», по существу, как глава всем русским князьям. В уста пришедших к Киеву на переговоры половцев владимирский летописец вложил слова (которые уже сказаны и от себя) о том, что князь Глеб Юрьевич посажен на киевский стол Андреем Боголюбским. «И прислашася обои къ Гл҃бу, глаголюще: "Богъ посадилъ тя и князь Андр҃ѣи на отчин҃ѣ своей и на д҃ѣдине в Кыев҃ѣ"».[2]

О непослушании князей Ростиславичей Андрею летописец сообщает с определенной долей удивления, как будто они были вассалами владимирского князя. Последний послал на них в 1174 г. большие силы, состоявшие из новгородцев, ростовцев, суздальцев и владимирцев, но эта военная акция не имела успеха. Постояв под Вышгородом 9 недель, силы Боголюбского, «не успѣ ничтоже», вернулись домой.

Под 1175 г. летописец сообщает о том, что Роман Ростиславич прислал послов к Андрею с просьбой посадить его на киевском столе. Конечно, это сообщение следует отнести на счет патриотизма владимирского летописца, что, впрочем, подтвердил и он сам в продолжении своего рассказа. Андрей будто бы попросил Романа малость повременить, пока он сошлется со своими братьями, находившимися в это время в Руси. «Князю Андр҃ѣю рекуще: "Пожд҃ѣте мало, послалъ есмъ к брат҃ѣи своеи в Русь, какова ми в҃ѣсть будет от них, тогда вы дамъ отв҃ѣитъ"».[3]

Разумеется, Андрея заботило не мнение братьев — Михалка и Всеволода, проживавших при черниговском дворе и совершенно не влиявших на ход политической жизни в Руси, — а их информация о раскладе сил среди главных претендентов на Киев. Не исключено, что его интересовало в данном случае мнение Святослава Всеволодича, который уже заявил на него свои претензии.

---

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 84.

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 357.

[3] Там же. Стб. 367.

Авантюрную попытку Андрея создать на Руси во Владимире новый митрополичий или хотя бы епископский центр, не нашедшую понимания в Киеве и Константинополе, летописец представил как происки лжевладыки Федорца. Последний якобы не послушался христолюбивого князя Андрея и отказался идти в Киев к митрополиту на поставление в епископы Владимиру. В конце концов Андрей вынужден был силой отослать Федорца в Киев, но теперь уже не на поставления, а на казнь. Летописец не жалеет плохих слов для характеристики «звѣроюдиваго Федорца» и радуется, что Бог «спасе рабы своя, рукою крѣпкою и мышцею высокою, рукою благочестивою царскою, правдиваго и благовѣрнаго князя Андрѣя».[1]

Восхваления Андрея Боголюбского достигают своего апогея в «Повести» об его убиении. Летописец воздает хвалу князю за его строительную деятельность во Владимире и Боголюбове, называет вторым мудрым Соломоном, отмечает необыкновенную любовь к Христу и всепречистой его матери и полагает, что за свою мученическую смерть Андрей будет единодушно причислен со святыми братьями Борисом и Глебом к Христу Богу. «Повесть», венчающая летопись Андрея Боголюбского (по терминологии М. Д. Приселкова, свод 1177 г.), была написана тогда, когда на владимирском столе утвердился Всеволод Юрьевич. Об этом со всей очевидностью свидетельствует просьба к умершему князю молиться за Всеволода, «князя нашего и господина».

М. Д. Приселков полагал, что целью составления Владимирского свода 1177 г. было приведение исторических доказательств Владимира на звание столицы Ростово-Суздальского края и всех русских княжеств.[2] Трудно сказать, был ли у летописца такой замысел. Что касается места Владимира в административно-политической структуре земли, то в годы авторитарного правления Андрея Боголюбского этот вопрос вряд ли подлежал обсуждению. Во всяком случае, из летописного свода это не очень заметно. Хотя объективно, не будучи епископским центром, Владимир не мог считаться и полноценной столицей земли.

Больше оснований говорить о попытке летописца представить Владимир как новую столицу Руси, а Андрея Боголюбского как старейшину всем русским князьям. Однако эта тенденция не столько отражает объективные исторические реалии, сколько выдает желаемое за действительное. Без перемещения митрополии во Владимир или хотя бы ее разделе на киевскую и владимирскую, о новой столице Руси, конечно, не могло быть и речи. Более того, в периоды междукняжеских не-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 357.

[2] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 78.

строений и отсутствия во Владимире сильной княжеской власти будет подвергаться испытаниям и его положение как столицы земли.

О том, кто был автором летописи Андрея Боголюбского, определенных данных у нас нет. М. Д. Приселков полагал, что им мог быть игумен владимирской церкви Св. Богородицы Федул. Основанием для такого вывода послужило то, что свод 1177 г., бесспорно, составлен церковником и, несомненно, в главной соборной церкви Владимира. К перу этого сводчика историк отнес и «Повесть об убиении Андрея», а поскольку в ней упомянут в числе лиц, участвовавших в похоронах князя, игумен Федул, то скорее всего он и был автором летописи».[1]

Как версия такое предположение имеет право на существование. Очень может быть, что оно и верно, хотя убедительных аргументов в его пользу, по существу, нет. Личность Федула в летописи не раскрыта. Нельзя доказать и другое предположение М. Д. Приселкова, сводящееся к тому, что и все записи времен Андрея Боголюбского велись под руководством Федула.

Что же касается включения М. Д. Приселковым в свод 1177 г. записей за 1175–1177 гг., то такой вывод, скорее всего, неверен. Свод, а по существу летопись Андрея Боголюбского завершалась повестью об его убиении. Записи 1175–1176 гг., содержащие информацию о драматической борьбе северо-восточных князей за его наследие, несомненно, относятся уже к следующему этапу летописания. В пользу этого свидетельствуют некоторые стилистические отличия в литературном изложении материала, новая идеологическая фабула, акцентирующая внимание на бунте старых политических и церковных центров Ростово-Суздальского края против Владимира, а также наличие таких обобщений, которые могли быть сделаны только по прошествии какого-то времени.

К числу стилистических особенностей названных записей можно отнести изменения в некроложных сообщениях. В летописи Боголюбского упокоившиеся князья названы исключительно с эпитетом «благоверные». Теперь же к нему прибавляется еще и «христолюбивый». «В л'ѣто (1177). Преставися благов'ѣрныи и христолюбивыи князь Михалко».[2] Раньше в летописи, при описании победы или чудесного спасения Андрея Боголюбского, отмечалось, что этим он обязан молитве отца или отца и деда. В летописной статье появляется новая формула: «И поможе Богъ Михалку, и брату его Всеволоду, отца и д'ѣда его молитва, и прад'ѣда его».[3] Претерпевает изменения и литературный штамп,

[1] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 76.
[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 379.
[3] Там же. Стб. 376.

возвращающий рассказчика к прерванному повествованию. В летописи Боголюбского читаем: «Мы же на предлежащее възвратимся».[1] В статье 1176 г. летописец употребляет выражение: «Но (мы) на переднею възвратимся».[2]

Информационно записи 1175–1177 гг. современны событиям, в них зафиксированным (об этом говорит присутствие в них точных дат), но содержательно являются результатом труда не только хрониста-свидетеля, но и позднейшего редактора. К творчеству последнего можно отнести сентенции в сюжетах о противоборстве Владимира со старыми городами земли Ростовом и Суздалем. Претензии их жителей на первенство летописец объявляет неправедными, противными Богу и Святой Богородице. Права Владимира он считает бесспорными, поскольку этот великий город поставлен самим Богом, да и князей его Михалка и Всеволода тоже избрал Бог и Святая Богородица. Владимирцы действительно люди новые мезинные, но они ведь прославлены Богом. «Се бо Володимерци прославлени Богомъ по всеи земьли, за ихъ правду Богови имъ помагающю».[3] Как защитницу города Владимира и его князей, летописец называет и икону Владимирской Богоматери, которая всегда посылает им чудесное избавление от несчастий.

К числу редакторских обработок следует отнести и сюжет с ослеплением во Владимире князей Ростиславичей. Это злодеяние совершено было не без участия Всеволода Юрьевича, избавлявшегося от претендентов на княжеский владимирский стол, но летописец спасает его честь. Владимирцы требовали расправы над Ярополком и Мстиславом Ростиславичами, но «благоверный и богобоязненный» Всеволод «не хотяше того створити». Он только посадил их в поруб, да и то лишь для того, чтобы утишились волнения. Владимирцы этим не удовлетворились, взяли оружие, двинулись на княжий двор и привели свое требование ослепить пленников в исполнение. Всеволод будто бы был опечален таким развитием событий, но не удержал людей из-за их множества.

Сказанное выше дает основания утверждать, что статьи 1175–1177 гг. принадлежат уже к летописи Всеволода Юрьевича, которая велась при главной владимирской церкви до 1212 г., когда был составлен Владимирский великокняжий свод.

Как считал М. Д. Приселков, еще одним этапом редакторской обработки владимирской летописи был 1193 г. Историк не привел специального обоснования, что явилось побудительным мотивом для создания этого промежуточного свода. В Лаврентьевской летописи под этим

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355.
[2] Там же. Стб. 383.
[3] Там же. Стб. 378.

годом находится сообщение о страшном пожаре Владимира, завершающееся пространным церковным поучением, позаимствованным от пророка Исаии. В Московском летописном своде конца XV в. статья 1193 г. сообщает о заложении великим князем Всеволодом детинца во Владимире, а также об обновлении церкви Св. Богородицы епископом Иоанном после великого пожара. Однако вряд ли это обычное в условиях Владимира событие могло послужить поводом для пересмотра всего предыдущего летописания. Больше оснований было бы связывать составление летописного свода с поставлением Владимиро-Суздальской земле нового епископа Иоанна, но поставлен он был в 1190 г., а во Владимир прибыл, по-видимому, только в 1193 г. Первым его делом, как следует из летописи, было восстановление погоревших церквей, в том числе и Св. Богородицы, а вовсе не пересмотр владимирской летописи. Но, пожалуй, главный аргумент против свода 1193 г. находится в самой летописи. Ни по содержанию, ни по стилистике владимирская запись 1193 г. не указывает на какую бы то ни было ее отличимость от записей предшествующего или последующего годов. Так что свод 1193 г., по-видимому, является исследовательской фикцией, а не объективной реальностью.

Анализ записей на пространстве от 1175 по 1212 г. свидетельствует, что перед нами стилистически цельная погодная летопись, последовательно рассказывающая о церковной жизни Владимира и земли, а также о жизни и деятельности князя Всеволода Юрьевича. По существу, нет статьи, где бы не было речи о «великом», «благоверном» и «христолюбивом» князе. Идеологически летопись Всеволода принципиально не отличается от летописи его брата. Летописцы всячески пытаются представить своего князя как сюзерена не только князей Владимиро-Суздальской земли, что было справедливо, но и всей остальной Руси, что действительности не соответствовало. В записях о поставлении епископов подчеркивается инициативное участие Всеволода, но умолчать того, что это исключительно прерогатива Киева (митрополита и князя) владимирские книжники, разумеется, не могут. Характерной в этом отношении является запись 1185 г.: «Князь Всеволодъ посла к Кыеву к Святославу Всеволодичю и к митрополиту Никифору, прося епископа, хотя поставити Луку смѣреннаго духомь, кроткого игумена святаго Спаса на Берестовѣ».[1] В 1190 г. Всеволод определил на епископскую кафедру своего духовника Иоанна и послал его «Кыеву, Святославу ко Всеволодичю и к митрополиту Никифору» на поставление.[2]

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 390.
[2] Там же. Стб. 408.

Еще отчетливее тенденциозность владимирских летописцев проявляется в освещении взаимоотношений Всеволода с южнорусскими князьями. Их записи создают иллюзорную картину чуть ли не царственного положения владимирского князя. Он ставит князей на столы, выступает в качестве мирового судьи в спорах своих вассалов, а те, в свою очередь, обращаются к нему за помощью как к сюзерену. Характерным примером сказанному может быть запись 1195 г. В предыдущем году умер великий киевский князь Святослав Всеволодич и в Киеве остался княжить его многолетний соправитель Рюрик Ростиславич. Никакого подтверждения на это с чьей бы то ни было стороны не требовалось, однако владимирский летописец замечает, что случилось это с доброй ласки Всеволода Большое Гнездо. «И посади в Кыевѣ Рюрика Ростиславича».[1] Бóльшими возможностями обладал Всеволод при поставлении князей в Переяславль и Новгород, но и здесь его власть не была безграничной. В обоих центрах при нем правили не только его ставленники. Под 1197 г. в Лаврентьевской летописи читаем: «Тои ж зимы, месяца генваря выгнаша Новгородци Ярослава, свояка княжа из Новгорода, а Ярослава Черниговьскаго введоша».[2]

Правда, справедливости ради следует отметить, что практически во всех записях о поставлении владимирских князей в Новгород и Переяславль летописец подчеркивает не столько сюзеренные права Всеволода, сколько отчинные. Новгородцы, обращаясь к нему с просьбой дать им князя, мотивируют ее тем, что Новгород его отчина. «Ты господинъ князь великый Всеволод Гюргевич, просим у тобе сына княжить Новгороду, зане тобѣ отчина, и дѣдина Новъгород».[3] В Переяславль Всеволод посылает князя по своей воле, но основание для этого то же: «Посла благовѣрныи и христолюбивый князь Всеволодъ Гюргевич... сына своего Ярослава в Переяславль в Русьскыи княжить, на столъ прадѣда и дѣда своего».[4]

Можно ли что-либо сказать об авторе погодной летописи Всеволода и ее редакторе? Прямых данных на сей счет, к сожалению, нет, но есть косвенные, позволяющие все же высказать некоторые предположения. Первое, что обращает на себя внимание, это отсутствие единообразия в титулатуре Всеволода. До 1190 г. он именуется «князем» и «великим князем», по 1205 г. — «благоверным и христолюбивым», а с 1205 г. и до самой кончины — «великим князем». Такой разнобой, повидимому, указывает на то, что над составлением погодных записей времен Все-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 412.
[2] Там же. Стб. 414.
[3] Там же. Стб. 415.
[4] Там же. Стб. 416.

володa трудилось по меньшей мере несколько авторов. Характерной стилистической приметой одного из них, возможно, являются почти стереотипные фразы в церковно-назидательных поучениях. 1185 г.: «Богъ бо казнить рабы своя, напастьми различными, огнем и водою, и ратью, и иными различными казнями».[1] 1187 г.: «Богъ бо казнить рабы своя напастьми различными, водою и огнемь, и болѣзньми тяжкими».[2]

Характер и темы ежегодных записей, как справедливо полагал еще М. Д. Приселков, дают нам основания утверждать, что летописание между 1174 и 1212 г. по-прежнему являлось заботой церковников главной Владимирской церкви. Следовательно, авторов летописи Всеволода Большое Гнездо следует искать среди ее клира. В записях 1190–1212 гг. очень часто, пожалуй чаще, чем Всеволод, фигурирует владимирский епископ Иоанн. Летописец с удивительной последовательностью связывает имя Иоанна со всеми добрыми делами, творившимися во Владимиро-Суздальской земле. Он закладывает и возводит новые храмы, отстраивает обветшавшие от «старости и безнарядья», венчает сыновей Всеволода и, наконец, отпевает в 1212 г. самого князя.

Еще одно церковное имя содержится в летописной статье 1206 г., повествующей о пострижении в монастырь княгини Всеволодовны. На проводах ее до монастыря присутствовала не только семья, но также епископ Иоанн и игумен Св. Богородицы Симон, которого летописец рекомендует еще и как духовника Всеволода. Духовником владимирского князя, как известно, был до поставления в епископы также и Иоанн.

Возникает естественный вопрос: не этим ли двум церковникам принадлежит летопись Всеволода Большое Гнездо? Иоанн мог вести ее до 1190 г., а затем она перешла в руки игумена Симона, хотя, судя по обильным упоминаниям имени епископа Иоанна, последний, видимо, постоянно присматривал за работой преемника. Характерно, что именно на 1190 г. приходится изменение в титуловании князя; вместо «великий князь» появляется словосочетание «благоверный и христолюбивый князь». Впрочем, не исключено, что Симону принадлежат записи уже после 1206 г., когда летописец вновь возвращается к титулу «великий князь», а летопись между 1190 и 1206 г. вел кто-то третий. Симон, наверное, являлся и тем редактором-сводчиком, который после смерти Всеволода завершил летопись и пополнил ее южнорусскими известиями, которых особенно много в этой части. Симон был выходцем из Киево-Печерского монастыря и поэтому естествен его интерес ко всему, что происходило в его время в Киеве и во всей Южной Руси. Он под-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 392–393.
[2] Там же. Стб. 405.

держивал постоянные связи со своими печерскими коллегами, переписывался с ними и мог получать от них нужную ему информацию. Фраза — «Егда приспѣ конець ему временьнаго и многомятежнаго жития, тихо и безмолвно преставися и приложися къ отцемь и дѣдом своимь»,[1] — читаемая в некрологе Всеволоду, позволяет предполагать, что Симон был знаком и с творчеством игумена Моисея. Только для него в Киевской летописи (свод 1200 г.) характерен такой литературный штамп.

Еще одной особенностью записей летописи Всеволода являются новые выражения, возвращающие летописца к прерванному сюжету. Во второй летописной статье, помещенной в Лаврентьевской летописи под 1206 г., читаем: «Но мы та вся оставльше възвратимся вспять». Статья 1207 г.: «И мы та оставльше, на передняя възвратимся».[2] В первой статье излагаются события, связанные с походом черниговских князей вместе с Рюриком Ростиславичем на Галич и захвате Киева Всеволодом Чермным. Вторая является, по существу, продолжением предыдущей, в ней подробно рассказывается о драматических перипетиях борьбы Всеволода Чермного и Рюрика за Киев. Исходя из южнорусского содержания обоих статей, можно предположить, что приведенные выше выражения принадлежат Симону.

М. Д. Приселков считал, что текст Лаврентьевской летописи на пространстве от 1206 г. и до 1239 г. представляет собой соединение двух летописей: Константина Всеволодича и его сыновей, а также Юрия Всеволодича. Основанием для выделения летописи Константина уже с 1206 г. является якобы частое упоминание этого князя на ее страницах, а также слишком уважительное к нему отношение летописца. Действительно, в статьях 1207, 1209 и 1211 гг. содержатся тексты, которые, похоже, написаны летописцем Константина. Он в них отрекомендован как «блаженный», «благочестивый» и «христолюбивый». Однако кроме темы Константина, в этих, как и других статьях этого отрезка летописи, полногласно звучит тема великого князя Всеволода. Все статьи, кроме 1209 г., извещающей о рождении у Константина сына Василия, открываются традиционным зачином с именем великого князя Всеволода. 1206 г.: «Всеволодъ, великий князь, посла сына своего Константина Новгороду Великому». 1208 г.: «Посла великий князь Всеволодъ сына своего Ярослава в Рязань». 1210 г.: «Великий князь Всеволодъ посла с полком Кузьму Ратьша». 1211г.: «Великий князь Всеволодъ ожени сына своего Георгия».

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 437.

[2] Там же. Стб. 433.

Значительный объем записей в этой части летописи, о чем уже шла речь, имеет южнорусское происхождение. Конечно же, трех записей о Константине недостаточно для того, чтобы можно было все тексты 1206–1212 гг. считать его летописью. Более продуктивной здесь кажется мысль о том, что эти ростовские статьи были вставлены в летопись Всеволода на этапе составления одного из позднейших сводов.

Если верно предположение М. Д. Приселкова, что еще один свод, соединивший в себе великокняжеский Летописец 1228 г. Юрия Всеволодича и ростовский Летописец Константина Всеволодича, был составлен около 1239 г., то, возможно, здесь и следует искать причину появления ранних записей Константина в летописи его отца.[1] Ведь Летописец Юрия начинался не с 1206 г., а с 1212 г., а следовательно, и соединение двух летописцев могло быть начато только с этой даты. Более ранние записи Летописца Константина, избыточные по сравнению с Летописцем Юрия, таким образом, были влиты в статьи соответствующих годов летописи Всеволода.

Прежде чем продолжить анализ текстов Лаврентьевской летописи за 1212–1240 гг., остановимся вновь на проблеме южнорусских заимствований. Их в этой части летописи крайне мало. М. Д. Приселков, будучи верен своей идее, полагал, что почерпнуты они все из того же Летописца Переяславля Русского. В качестве убедительного примера он приводит сообщение статьи 1215 г. о сражении Владимира Всеволодича с половцами. «Того же л'ѣта. Володимеръ, сынъ Всеволожь, слышавъ аже идут Половци к Переяславлю, изыде противу им, вскор'ѣ и усрѣтеся с ними на р'ѣцѣ, и бишася кр'ѣпко, и мнози от обоихъ падоша».[2]

При всем желании найти здесь что-то специфически переяславльское практически невозможно. Запись производит впечатление основанной на каком-то устном сообщении. Она начисто лишена подробностей. Летописец не знает даже, на какой реке Владимир Всеволодич встретил половцев. Несколько необычным кажется для переяславльского летописца и отстраненное выражение: «мнози от Руси избьени быша, а инѣх изимаша, и самого князя Владимира яша, и ведоша и в вежѣ свои».[3] Так бесстрастно и общо мог написать только владимирский летописец, находившийся за тысячу верст от события, да к тому же писавший задним числом.

На этой записи и исчерпываются известия, якобы взятые из Летописца Переяславля. Два-три сообщения об отсылке в Переяславль рус-

[1] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 88.
[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 438.
[3] Там же.

ских князей (в 1213 г. — Володимира Всеволодича, в 1227 г. — Всеволода Константиновича, а в 1228 г. — Святослава Всеволодича) имеют очевидное владимирское происхождение. Наверное, владимирский летописец воспользовался южнорусским письменным источником при составлении статьи 1223 г., повествующей о Калкской битве, но он, бесспорно, был составлен в Киеве. Другие южнорусские события, о чем уже шла речь, написаны владимирскими книжниками на основании свидетельств очевидцев.

Таким образом, ни о каком привлечении в качестве южнорусского источника Летописца Переяславля Русского при составлении великокняжеского свода Юрия 1228 г. не может быть и речи. Такого Летописца, скорее всего, не существовало в природе.

Что касается вывода М. Д. Приселкова о том, что слияние великокняжеского владимирского свода Юрия, а также Летописца Константина и его сыновей было осуществлено в Ростове, то он вполне корректен. Анализ записей Лаврентьевской летописи между 1212 и 1240 гг. показывает преобладание в них известий, связанных с деятельностью Константина и его сыновей, а не великого князя Юрия Всеволодича, что несомненно имело бы место, будь сводчик владимирцем. Некоторое удивление вызывает только необычная скороговорочность свода. В нем практически не нашли отражения даже события, связанные с завоеванием Константином великокняжеского владимирского стола. Летописец ограничился несколькими общими фразами о том, что «исконный злой враг дьявол» воздвиг злобу между братьями Константином и Юрием, приведшую к военному столкновению между ними. Победил Константин и сел во Владимире, а Юрий занял Суздаль. Приписка о всеобщей радости в Суздальской земле — «И бысть радость велика в земли Суждальстѣи» — свидетельствует, что запись эта принадлежит летописцу Юрия. Ростовский бы в этом месте отметил радостную встречу Константина владимирцами, о чем сообщается в Московском летописном своде конца XV в.

Наблюдения над текстом, составленным из двух летописей, показывают, что сводчик 1239 г. не очень злоупотребил идеологической предвзятостью. Константин и его сыновья характеризуются с наилучшей стороны, они христолюбивые и благочестивые, добрые строители земли, но при этом сохранены и записи летописца Юрия, в которых тот всегда именуется великим и благоверным князем и представлен как старейшина всех владимиро-суздальских князей. Признанием этого факта отмечены и статьи ростовского летописца. О Васильке Константиновиче, не поспевшем к походу южнорусских князей на монголо-татар в 1223 г., сказано, что он «Сохраненъ Богомъ и силою креста честнаго, и

молитвою отца своего Константина, и стрыя своего Георгия».[1] Присутствует в своде и восторженный панегирик Юрию, в котором сказано, что он сын благоверного отца Всеволода, украшен добрыми нравами, хранитель Божьих заповедей, строитель городов и церквей, особенно Новгорода, что в устье Оки, почитатель монашеского и поповского чинов, щедрый к убогим. Из продолжения статьи, содержащей панегирик, можно сделать вывод, что написан он ростовским автором.*

Заказчиком свода 1239 г., как верно определил М. Д. Приселков, был новый великий князь Владимиро-Суздальской Руси Ярослав Всеволодич. В пользу этого свидетельствуют записи 1238 и 1239 гг. В первой сообщается об утверждении во Владимире сына Всеволода Ярослава, восшествие которого на престол вызвало якобы «радость великую». Во второй летописец с воодушевлением говорит о том, что от рук иноплеменников Бог избавил Ярослава, правоверного и благочестивого князя, шесть его благородных сыновей, а также некоторых других представителей семейства Всеволода Большое Гнездо.

Об авторах летописей Юрия и Константина Всеволодичей, равно как и о редакторе свода 1239 г., сказать что-либо определенное сложно. Бесспорным кажется только то, что все они принадлежали к духовному сословию. Церковной фразеологии здесь меньше, чем в летописях Андрея Боголюбского и Всеволода, но также достаточно много, чтобы сделать такой вывод. Летописцы отмечают все случаи закладки князьями новых храмов и восстановления обветшавших. Сообщают об упокоении и поставлении епископов. Уточняют время многих событий ссылками на религиозные праздники: «На память святаго Марка евангелиста»; «В день памяти святаго пророка Ильи»; «В праздникъ Срѣтенья» и т. д. Присутствуют в летописи и назидательные церковные поучения, так характерные для предшествующих этапов владимирского летописания.

Авторское присутствие в этой части летописи отмечено лишь однажды, в статье 1227 г. Завершая рассказ о поставлении во Владимире игумена Святой Богородицы Митрофана в епископы Владимиру и

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 447.

* М. Д. Приселков полагал, что некролог Юрия взят из Владимирского свода. Основанием ему послужила цифра 24, как счет годов великого княжения Юрия во Владимире. В действительности Юрий княжил 22 года, в 1217 и 1218 гг. стол Владимира занимал Константин. Не считать этого мог, якобы, только Юрьев летописец. Ростовский бы обязательно вычел два года. Если это так, тогда возникает вопрос, почему этого не сделал сводчик летописей, он ведь тоже был ростовцем? См.: *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 91–92.

Суздалю митрополитом Кириллом, летописец заметил: «Приключися и мн'Ѣ гр'Ѣшному ту быти и вид'Ѣти дивна и преславна, и прославиша всемилостивого Бога и великаго князя Гюрга».[1] Можно предположить, что это свидетельство ростовского церковника, прибывшего на освящение Митрофана вместе со своим епископом. К числу особенностей его летописания можно отнести восторженные похвалы в адрес не только князьям, но и епископам. При этом ростовский книжник в разных местах использует сходный стилистический оборот. «В л'Ѣто 1216. Преставися епископъ Ростовскыи Пахомий и положенъ бысть в церкви святыя Богородица, в своей епископьи, сь бь блаженный епископъ, избранник Божий, и истинный б'Ѣ пастырь, а не наемникъ».[2] В продолжении статьи 1231 г., рассказывающей об освящении Ростову епископа Кирилла, летописец заметил, что уже в первый год своего душпастырского служения он проявил себя с наилучшей стороны. «Кирил священный епископъ в первое л'Ѣто, во онем же поставленъ бысть епископомъ богохранимому граду Ростову, многы доброд'Ѣтели показа, яко истинный святитель, а не наемник».[3]

Отмеченная особенность, если только она не принадлежит редактору свода 1239 г., указывает на то, что, по меньшей мере, на пространстве между 1216 и 1231 гг. Ростовскую летопись вел один и тот же автор.

Сводчик-редактор особенно отчетливо обнаруживает себя в летописной статье 1237 г., где содержится большой рассказ о разгроме монголо-татарами Северо-Суздальской Руси. Он, несомненно, составлен из двух источников, что явствует из таких переходных фраз: «Но то оставим», «Но нын'Ѣ на предреченая взидем» и «Но мы на передня взидем».[4] В статье 1237 г., на что обратил внимание еще М. Д. Приселков, имеются повторы, которые также указывают на работу сводчика, делавшего выписки из двух разных летописей.

Изучение владимиро-ростово-суздальского летописания дает основание считать, что оно унаследовало все традиции киевского; представляло собой погодную историческую хронику, которая не ограничивалась узкоземельными интересами, но держала в поле своего зрения практически всю Русь. Значительную часть информационного ряда составляют сообщения о событиях в Новгороде, Переяславле, Чернигове, Галиче и, особенно, в Киеве. Несмотря на местный патриотизм владимирских и ростовских летописцев и стремление подчеркнуть старшинство своих князей, их постоянное обращение к памяти великих

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 449.
[2] Там же. Стб. 439.
[3] Там же. Стб. 459.
[4] Там же. Стб. 463–464.

киевских князей, сообщения о поставлении митрополитов и ростовских епископов в Св. Софии Киевской, рассказы об антиполовецких походах русских князей во главе с киевскими, объективно свидетельствовали о признании ими столичного положения Киева.

Постоянный интерес владимирских и ростовских летописцев ко всему, что происходило в Южной Руси, их необычайная информированность, а также последовательное утверждение идеи неразрывного единства Владимиро-Суздальской земли с Киевом и Русью в ее узком значении указывают, очевидно, на то, что большинство из них имело киевское происхождение. В этом предположении нет натяжки, особенно если учесть, что северо-восточные летописи писались при епископских кафедрах, а практически все ростовские и владимирские епископы происходили из монахов Киево-Печерского монастыря, или других киевских монастырей. Выше уже говорилось, что одним из владимирских летописцев был епископ Симон, который был «блаженный и милостивый, учительный» и регулярно обменивался посланиями с печерским монахом Поликарпом.

Осознание единства истории Владимиро-Суздальского княжества с Южной Русью находило свое выражение не только в освящении действий княжеской власти в тот или иной период, но также и на уровне генетического заглубления летописцев в прошедшие лета. Красной нитью через всю летопись проходит подчеркивание киевского происхождения владимиро-суздальской династии князей, в генеалогической основе которой находился Владимир Мономах. Говоря о ростово-суздальских и владимирских князьях, летописец непременно прослеживал их родство с Мономахом. Юрий Долгорукий — сын Владимира Мономаха. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо — сыновья Юрия и внуки Мономаха. Константин и Юрий — сыновья Всеволода, внуки Юрия и правнуки Владимира. 1157 г.: «Того же лѣта преставися благовѣрный князь Гюрги Володимеричь в Кыевѣ».[1] 1175 г.: «В то же льто убьенъ бысть великий князь Андрѣи, сын великого князя Георгия, внукъ Мономаха Володимера».[2] 1218 г.: «Преставися христолюбивый великий князь Константинъ, сын Всеволож, внукъ Гюргевъ, правнукъ Володимера Мономаха».[3]

Поскольку Владимир Мономах был князем не только Переяславльского княжества (в состав которого входила и Ростово-Суздальская земля), но и великого Киевского, это давало его владимиро-суздальским наследникам юридические основания распространять на эти столы

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348.
[2] Там же. Стб. 367.
[3] Там же. Стб. 442.

право отчины (в аналогичном статусе находился также и Новгород). Юрий Долгорукий реализовал его по отношению к Киеву de facto, могущественные сыновья Андрей и Всеволод достигали признания своего старейшинства лишь на короткое время, не связывая это с необходимостью личного обладания киевским столом. Боголюбский мог считать себя реальным старейшиной русских князей только тогда, когда в Киеве сидел его брат Глеб Юрьевич (1169–1171 гг.). Старейшинство Всеволода было скорее всего идеологической фикцией, рожденной его летописцами, чем объективной реальностью.

Более успешными были претензии владимиро-суздальских наследников Мономаха на владение Переяславлем. С 1169 по 1187 г. в нем сидел правнук Мономаха Владимир Глебович. И позже владимирские Мономаховичи неоднократно владели Переяславлем, причем каждый раз летописцы подчеркивали их отчинное право на него. 1201 г.: «Посла благов'ѣрный и христолюбивый князь великий Всеволод Гюргевич, внук Володимерь Мономаха, сына своего Ярослава в Переяславль Руський княжить на столъ прад'ѣда и дьда своего».[1] 1227 г.: «Того л'ѣта. Посла великыи князь Гюрги сыновца своего Всеволода Константиновича в Руськыи Переяславль на столъ, и вниде Всеволодъ месяца сентября в 15 день, на память святаго мученика Никиты, на свой столъ».[2] В реальной жизни переяславльские князья больше зависели от Киева, чем от Владимира.

Еще один стол — новгородский — владимирские князья также считали своей отчиной. В Новгороде действительно, время от времени, княжили представители северо-восточной ветви Мономаховичей, но еще чаще там сидели южнорусские князья, преимущественно киевские, и, конечно же, их отчинное право было более обоснованным. Соперничество Киева и Владимира за преобладающее влияние на новгородскую вольницу продолжалось, по существу, до нашествия на Русь монголо-татар.

Как явствует из статьи 1206 г., рассказывающей о посылке в Новгород Всеволодом Юрьевичем своего сына Константина, обладание этим древнейшим княжеским столом должно было в какой-то мере компенсировать невозможность подчинения Владимиру Киева и, таким образом, легитимизировать претензии владимирских князей на общерусское старейшинство. Идеологическим обоснованием этого является речь Всеволода, обращенная к сыну: «И рече: сыну мои Констянтине, на тоб'ѣ Богъ положилъ переже стар'ѣишиньство во всея братьи твоеи, а Новгородъ Великыи стар'ѣишиньство имать княженью во вси Русьскои зем-

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 416.
[2] Там же. Стб. 450.

ли, по имени твоем тако и хвала твоя, не такмо Богъ положилъ на тебѣ старѣишиньство в братьи твоеи, но въ всеи Русскои земли, азъ ти даю старѣишиньство поѣди в свои городъ».[1]

Из сказанного видно, что в решении задачи достичь реального положения старейшин на Руси владимирским князьям не хватало глубины исторической традиции. Необходимо было соединение если не с Киевом, то хотя бы с Новгородом, который объявляется теперь старейшим княжеством на Руси.

Приблизительно со второй четверти XIII в. записи владимиро-суздальского летописания полнее сохранились в Воскресенской летописи, чем в Лаврентьевской, но также содержат информацию не только узкоземельную, но и общерусскую. Ряд событий южнорусской и собственно киевской истории мы знаем только благодаря этому летописанию. Среди них, в частности, и точная дата взятия Киева монголо-татарами: «Си же злоба приключися до Рождества Господня, на Николин день».[2]

10. Галицко-Волынская летопись XIII в.

Заключительная часть Ипатьевского свода, содержащая известия об истории Юго-Западной Руси от начала до 90-х годов XIII в., известна в литературе под названием Галицко-Волынской летописи. Со времени введения ее в научный оборот Н. М. Карамзиным ей посвящено большое число работ, однако чрезвычайная сложность этого памятника и его источниковедческая неисчерпаемость привлекают к нему интерес все новых исследователей.

В свое время Н. И. Костомаров обратил внимание на нетрадиционный характер Галицко-Волынской летописи. В ней очень редко встречается обычный для более ранних летописей хронологический зачин статей: «В лѣто... бысть». Это дало ему основание считать, что перед нами не погодная хроника, а литературная повесть, которая позже и очень неудачно была поделена на годы. Писалась она разными людьми, но всегда современниками описываемых событий. В ряде мест (статьи 1226 и 1242 гг.) летописцы засвидетельствовали свое присутствие в описываемых событиях. Отсутствие какой бы то ни было церковной хроники, традиционных для ранних летописцев молитвенных обращений к Богу и евангельских сентенций указывает на то, что авторы не принадлежали к духовному сану, а были светскими лицами.[1]

Галицко-Волынская летопись, согласно Н. И. Костомарову, характеризуется образностью языка, поэтичностью стиля, но не отличается ясностью и логичностью изложения. Горизонт летописцев на востоке ограничен рубежами Галичины и Волыни: их мало интересовали дела киевские и практически совсем не интересовали события в других древнерусских землях. Зато они достаточно часто и подробно описывают события, которые происходили в западных соседей: венгров, поляков, позже литовцев. Объясняется это, очевидно, тем, что с ослаблением централизующего значения Киева и усилением претензий к юго-западным

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... СПб., 1861. С. 49–51.

русским землям со стороны Венгрии, Польши и Литвы Галицко-Волынская Русь все больше становилась самодостаточной политической структурой, сориентированной политическими обстоятельствами на взаимодействие с этими странами.

На заре отечественного летописеведения продолжение Киевского свода обычно называлось Волынской летописью. Н. И. Костомаров назвал его Галицко-Волынской, поскольку на первом плане в летописи стоят дела не волынские, а галицкие. Позже сборный состав исследуемой летописи ни у кого не вызывал сомнения, споры велись только по поводу ее членения на отдельные части — повести и их хронологии. Гранью между Галицкой и Волынской частями Н. И. Костомаров считал рассказ о первом походе Бурундая.[1]

По существу, аналогичную характеристику Галицко-Волынской летописи дал К. М. Бестужев-Рюмин, считавший, что она состоит из отдельных повестей (о Калкской битве, нашествии Батыя, смерти Владимира Васильковича), а также свидетельств очевидцев, некоторых актовых материалов. Он же обратил внимание на тематическую целостность и композиционную стройность летописи.[2]

Об «одноцельном характере» Галицкой летописи писал и М. С. Грушевский. В отличие от Н. П. Дашкевича, считавшего, что она написана несколькими лицами, он относил ее к перу единого автора. При этом М. С. Грушевский утверждал, что последние 10 лет (из 50) повести о галицком мятеже описаны одновременно с происходившими событиями, а первые сорок — ретроспективно. Побудительным мотивом к сочинению повести о жизни Данила Галицкого будто бы была его победа над венграми, поляками и Ростиславом Михайловичем в 1245 г. под Ярославлем.[3]

М. С. Грушевский предпринял попытку определить и личность автора первой части Галицко-Волынской летописи. Развивая идею Н. И. Костомарова о нецерковном характере текстов, он пришел к выводу, что их автор состоял на службе в княжеской канцелярии и, возможно, был близким соратником «печатника» Кирилла.[4]

Вторая часть Галицко-Волынской летописи еще Н. И. Костомаровым была названа действительной Волынской летописью. Она состояла из записей об истории владимирских епископов, рассказа о Куремсиной

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 47, 50–51.

[2] *Бестужев-Рюмин К.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 151–157.

[3] *Грушевський М. С.* Історія української літератури. Т. 3. К., 1993. С. 142.

[4] Там же. С. 179.

рати, войне с Болеславом и приходе на Русь орд Ногая и Телебуги, а также повести о Владимире Васильковиче. Последнюю Н. И. Костомаров считал вполне самостоятельным произведением, которое позже было вставлено в летопись.[1]

Аналогичный объем материала отнес к продолжению Галицкой летописи и М. С. Грушевский. Это повесть о Куремсе и Бурундае, история событий в Литве после смерти Мидовга, повесть о Владимире Васильковиче, рассказ о походе Ногая и Телебуги в Польшу и страшных опустошениях вокруг Владимира и Львова.[2] Что касается авторства Волынской летописи, то, согласно историку, им мог быть писец Ходорец (Федорец), который «списывал предсмертные распоряжения своего князя».[3]

Из исследователей Галицко-Волынской летописи советского периода следует выделить М. Д. Приселкова, Л. В. Черепнина, В. Т. Пашуто, Н. Ф. Котляра.

М. Д. Приселков не был последователен в своих суждениях. Вначале он склонялся к мысли, что в Галицко-Волынском княжестве, также как и в других русских землях, велись подробные записи по годам, на основании которых в начале XIV в. и была создана целостная, хотя и лишенная хронологии повесть.[4] Позже он назвал Галицко-Волынскую летопись «вольной исторической повестью», не имеющую в своей основе погодных записей.[5]

Значительный вклад в изучение первой части Галицко-Волынской летописи внес Л. В. Черепнин. Он назвал ее Летописцем Данила Галицкого, который был посвящен истории Галицкого княжества и являлся своеобразной апологией деяний Данила. Вслед за своими предшественниками он рассматривал Летописец как «единое, композиционно целостное литературное произведение». Оно состояло из трех отдельных частей: Начальной Галицкой повести книжника Тимофея, доведенной до 1211 г., второй Галицкой повести тысяцкого Демяна, в которой речь идет о борьбе Данила за галицкий стол в течение 20–40-х годов XIII в., и третьей повести, созданной при кафедре Холмского епископа около 1256–1258 гг. После завершения третьей части весь Летописец был подвергнут редакции, в результате чего в него были внесены

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 49–50.

[2] *Грушевський М. С.* Історія украïнской литературы... С. 165–175.

[3] Там же. С. 201.

[4] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 55.

[5] *Приселков М. Д.* Летописание Западной Украины и Западной Белоруссии // Ученые записки Ленинградского госуниверситета. Л., 1941. № 67. Вып. 7. С. 5–24.

дополнительные сведения. В том числе и о событиях, происходивших за пределами Галичины.[1]

В. Т. Пашуто в целом поддерживал выводы Л. В. Черепнина, хотя и внес в них существенные уточнения. Он подверг, в частности, сомнению предположение об объеме Начальной повести, якобы доведенной только до 1211 г., полагая, что она охватывала более значительный временной отрезок и заканчивалась рассказом об овладении княгиней Анной с детьми городом Владимиром (1217г.). Две другие части Летописца, по терминологии В. Т. Пашуто, изводы 1246 г. и начала 60-х годов XIII в. были составлены в Холме под присмотром, соответственно, митрополита Кирилла и епископа Ивана.[2] При написании своих произведений названные авторы, как думал В. Т. Пашуто, воспользовались документами княжеской канцелярии, донесениями стольника Якова, дворецкого Андрея, печатника Кирилла, некоторыми другими документами.[3]

Волынская летопись, согласно В. Т. Пашуто, была создана во Владимире-Волынском. Хронологически она охватывает период от 1262 по 1292 г. и состоит из трех частей: сводов Василька Романовича (1269 г.), Владимира Васильковича (1289 г.), а также отрывка придворной княжеской летописи Мстислава Даниловича.

Обстоятельные монографические исследования Галицко-Волынской летописи посвятил Н. Ф. Котляр. Опираясь на достижения своих предшественников и выполнив большой объем текстологических и сравнительно-исторических сопоставлений, он пришел к обоснованному выводу о том, что вся летопись состоит из больших и малых повестей. В Летописце Данила Галицкого Н. Ф. Котляр выделил пять повестей: Начальную Галицкую, о собирании Данилом Волынской вотчины, о возвращении Данилом галицкого стола, о «Побоище Батиевом», а также о борьбе Данила против ордынского ярма.[4] Волынскую летопись составляют повести: о Бурундаевой рати, об отношениях с Литвой, о болезни и смерти Владимира Васильковича, а также небольшого фрагмента Летописца Мстислава Даниловича.[5]

Отвечая на вопрос, почему Галицко-Волынская летопись так явно отличается от других древнерусских летописей, Н. Ф. Котляр выска-

[1] *Черепнин Л. В.* Летописец Данила Галицкого // Исторические записки. М., 1941. № 12. С. 230–252.

[2] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 60 и сл.

[3] Там же. С. 74 и сл.

[4] *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис XIII ст. К., 1993. С. 25–111.

[5] Там же. С. 111–149.

зал мысль о том, что на Волыни и в Галичине в XII в. не существовало традиционного летописания, но уже с середины XII в. там начали создаваться историко-литературные повести. Нельзя только согласиться, что галицкое происхождение имеет «обстоятельная и драматическая повесть о перетрактации Володимира Володаревича с киевским послом Петром Бориславичем, а также о смерти Изяслава Мстиславича».[1] Эти статьи принадлежат самому Петру Бориславичу и, конечно же, ничего общего с галицкой традицией историко-литературной повести не имеют.

Таким образом, идея о повестевом характере Галицко-Волынской летописи, высказанная еще Н. И. Костомаровым, получила дальнейшее развитие и обоснование в работах М. С. Грушевского, Л. В. Черепнина, В. Т. Пашуто, Н. Ф. Котляра и других исследователей. Между названными авторами имеются расхождения в членении летописи на отдельные повести, в их датировке, определении авторства, в названиях, но принципиальных отличий в оценке жанрового характера произведения нет.

Ниже, при анализе конкретного летописного материала, нам придется убедиться в том, что источниковые возможности Галицко-Волынской летописи еще далеко не исчерпаны, а поэтому исследование ее будет продолжаться и впредь. Однако прежде чем приступить к такому анализу, необходимо остановиться на проблеме хронологии Галицко-Волынской летописи. Уже первый ее исследователь Н. М. Карамзин писал, что хотя в Ипатьевском списке и обозначены годы, вне всякого сомнения это было сделано не автором, а более поздним переписчиком, к тому же не всегда правильно.[2] Вслед за ним на эту особенность летописи указывали практически все летописеведы, а некоторые, как И. И. Шараневич, В. Б. Антонович и М. С. Грушевский, пытались установить ее истинную хронологию. К сожалению, найти универсальный ключ, который бы помог расставить все записи событий точно по годам, им полной мерой не удалось.

И. И. Шараневич выверял хронологию Ипатьевской летописи при помощи польских, венгерских и немецких источников. При этом он полагал, что в части галицко-волынских записей она является продуктом не какого-то позднего переписчика, а самого редактора летописи. Смещение дат от одного года до четырех лет, как казалось И. И. Шараневичу, произошло в связи с их переводом из январского летоисчисления на сентябрьское.[3]

---

[1] *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис ... С. 151.

[2] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1842. Кн. 1. Т. 3. Примечания.

[3] *Шараневич И. И.* История Галицкой и Владимирской Руси до 1453 г. Львов, 1868. С. 7.

И. И. Шараневичу, как затем и Н. Дашкевичу, удалось уточнить лишь некоторые даты, к тому же они не были обоснованы бесспорными источниками. Огромную работу по хронологизации Галицко-Волынской летописи выполнил М. С. Грушевский. Он полагал, что датировки, имеющиеся в Ипатьевской летописи, ничего не стоят, поскольку были произвольно расставлены позднейшим копиистом, и их следует просто игнорировать.[1] Вместо ипатьевских он предложил свои даты, которые хотя и более реальные, но также не безусловны. В примечании к своей хронологической таблице Галицко-Волынской летописи М. С. Грушевский определил три уровня истинности установленных им дат. Подчеркнутые черной жирной линией — точно установленные по другим источникам. Неподчеркнутые — реальные, но не подтвержденные документально. Третий ряд, набранный в таблице курсивом, это — даты вероятные, а отдельные из них, снабженные знаком вопроса, и вовсе гипотетические.[2]

И тем не менее хронологическая таблица Галицко-Волынской летописи М. С. Грушевского уже на протяжении целого столетия является лучшим исследованием в этой области. Без него не могут обойтись ни летописеведы, ни историки.

Думается, невозможно только согласиться с утверждением М. С. Грушевского, М. Д. Приселкова и других исследователей о полной произвольности ипатьевских дат, расставленных якобы позднейшим копиистом. Для простого переписчика эта работа просто невыполнима. Чтобы расставить даты в текстах, отстоящих от времени копииста почти на два столетия, к тому же во многих случаях не имеющих параллелей в других источниках, необходимы огромные источниковедческие разыскания, такие как выполненные самим М. С. Грушевским в начале XX в. Но реалистично ли предполагать аналогичное исследование для XIV–XV вв.?

Невозможно принять также и вывод К. М. Бестужева-Рюмина, согласно которому Галицко-Волынская летопись была хронологизирована тем сводчиком, который соединил ее с Киевской летописью.[3]

Видимо, более прав И. И. Шараневич, полагавший, что трудную задачу хронологизации известий Галицко-Волынской летописи осуществил ее редактор и сводчик уже в конце XIII в. Для такого утверждения есть

---

[1] *Грушевський М. С.* Хронологія подій Галицько-Волинського літопису. Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 41. Львів., 1901. С. 3.

[2] Там же. С. 61–72; *Приселков М. Д.* Летописание Западной Украины и Белоруссии // Ученые записки Лен. гос. ун-та. № 67. Л., 1941.

[3] *Бестужев-Рюмин К.* О составе русских летописей... С. 153.

и основание, содержащееся в самой летописи. Под 1254 г. в ней помещена следующая фраза, которую позволим себе процитировать полностью. «В та же лѣта времени минувшу хронографу же нужа есть писати все и вся бывшая, овогда же писати передняя, овогда же воступати в задняя, чьтыи мудрыи разумеѣть, число же лѣтомъ здѣ не писахомъ в задняя впишем, по Антивохыискымъ съборомъ, алумъпиадамъ, Грьцкыми же численицами, Римьскы же высикостом. Якоже Евьсѣвии и Памьфилово, инии хронографи списаша от Адама же до Хрѣстоса, вся же лѣта спишемь, расчетъше во задьнья».[1]

Трудно сказать, на своем ли месте эта фраза, однако из нее совершенно определенно явствует, что летописец имел намерение расставить «числа по лѣтам» после окончания всей работы. Конечно, эти слова принадлежат сводчику и редактору летописи, а не автору какой-либо из составляющих ее повестей, известия которых иногда укладывались в несколько лет.

У нас нет совершенно никаких данных для утверждения, что эту свою работу летописец не выполнил. Смещение и некоторая путаница хронологии не может являться аргументом в пользу такого утверждения. Разнести сведения хронографа за 90 лет точно по годам было не просто и в 1290 г. Без наличия каких-то хронологических заметок, по существу, и невозможно. Наверное, эти заметки сопровождали не каждую запись, но предположить, что галицкие и волынские летописцы, ведя свои записи, вообще абстрагировались от временного определения событий, невозможно. К тому же у них, скорее всего у редактора-составителя Галицко-Волынской летописи, имелись киевские тексты за первую половину XIII в., а они, несомненно, были датированы.

В свое время близкую мысль высказал М. Д. Приселков. Судя по точности дат и мелочам описаний, которых нельзя было передать припоминанием, он допускал для XIII в. погодное летописание.[2] К сожалению, из этой верной посылки он сделал совсем нелогичный вывод о том, что в конце XIII в. на основании этого погодного материала был составлен целостный рассказ, не разбитый по годам и даже, вероятно, без всякой хронологической сетки.[3] Это утверждение прямо противоположное тому, которое принадлежит одному из редакторов-составителей Галицко-Волынской летописи.

Выше уже упоминалось, что в свое время продолжение Киевского свода 1200 г. называлось Волынской летописью. Основанием этому

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 820.

[2] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 55.

[3] Там же.

послужило, вероятно, содержание первых страниц летописи, которое было больше волынским, чем галицким. Позже летописеведы пришли к выводу, что, по меньшей мере, начальный текст следует считать творчеством галицких летописцев. Л. В. Черепнин, справедливо полагая, что Летописец Данила Галицкого целиком посвящен жизни этого князя, прославлению его человеческих и государственных достоинств, высказал предположение, что он открывается не волынской, а галицкой повестью. С его легкой руки она вошла в литературу как «Начальная Галицкая повесть». Начинается она со слов «Велику мятежю вставшю в земле Руской», а завершается известием об утверждении Данила в Галиче, которое состоялось, согласно М. С. Грушевскому, в 1211 г. Этим же годом Л. В. Черепнин датирует и написание повести.[1]

Н. Ф. Котляр, справедливо отметив, что вслед за сообщением об утверждении в Галиче Данила в полной сюжетной и стилистической гармонии идет рассказ об удалении из Галича княгини Анны и переживаниях по этому поводу ее малолетнего сына, полагает, что повесть была написана не ранее 1212 г.[2]

Еще раньше сомнение в достоверности вывода Л. Д. Черепнина о времени создания Начальной Галицкой повести высказал В. Т. Пашуто. Согласно ему, начальная часть Летописца завершалась рассказом о занятии княгиней Анной и ее сыновьями княжеского стола во Владимире-Волынском. В. Т. Пашуто датировал это событие 1217 г., а М. С. Грушевский — 1214 или 1215 г. По-другому представлялась В. Т. Пашуто и основная содержательная тема повести. Она не столько о малолетних сыновьях Романа Мстиславича, сколько о его супруге Анне и ее борьбе за сохранение волынского наследия. Только после 1219 г. на первый план в летописи выдвигается Данило Романович, достигший к этому времени совершеннолетия и женившийся на дочери Мстислава Удалого.[3]

Содержание начальной части Летописца, думается, свидетельствует о большей правоте В. Т. Пашуто. К тому же и приурочение повести, по-видимому, должно быть иным. Идейно она никак не галицкая, а волынская. Мытарства княгини Анны и ее малолетних сыновей описаны кем-то из ее близкого окружения, кто хорошо знал все подробности злоключений семьи Романа Мстиславича. Летописец, рассказывая о бегстве Анны в Польшу, отметил, что беглецов мучили сомнения в том, как их примет король Лешко, с которым враждовал Роман, но тот, «не помяну вражды», принял их «с великою честью». При этом он будто бы

---

[1] *Черепнин Л. В.* Летописец Данила Галицкого. С. 244.

[2] *Котляр Н. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 30.

[3] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 68–69.

заявил, что это «дьяволъ есть воверглъ вражду сию межи нами».[1] Такое впечатление, что записавший слова Лешко присутствовал при их произнесении.

В осиротевшей княжеской семье было много недоброжелателей. Имелись таковые и в родном Владимире, однако в летописи они характеризуются по-разному. Особенно негативных эпитетов удостаиваются только галичане: они «безбожные», «неверные» и «льстивые». Когда после изгнания из Галича Владимира Игоревича там был посажен Данило, то главную заслугу в этом летописец отдает владимирским боярам. «Тогда же бояре Володимерьстии и Галичскыи, и Вячеславъ Володимерьскый и вси бояре Володимерьстии и Галичскыи... посадиша князя Данила на столѣ отца своего великого князя Романа».[2]

Мать Данила Анна представлена как «великая княгиня Романовая», а ее изгнание из Галича объяснено происками галичан. В статье, обозначенной в Ипатьевской летописи 1209 г. (по хронологии С. М. Грушевского это 1211/12 г.), Анна вновь названа «великой княгиней Романовой». Ее поруганную честь защищали перед галичанами венгерский король, «бояре Володимерьскыи» и луцкий князь Ингвар. После непродолжительного пребывания в Галиче княгиня Анна и Данило вновь вынуждены были бежать из столицы земли, поскольку узнали от владимирских бояр об «отступлении Галичан». На этот раз путь их пролег через Венгрию и Польшу до Каменца, где княжил Василько Романович. Здесь Анна и Данило в очередной раз были поддержаны владимирскими боярами. «Братъ же его Василко и бояре вси срѣтоша и с великою радостью».[3] В конце концов с помощью польского короля Данило и Василько вокняжились во Владимире Волынском: «Лестько же посади Романовича в Володимери».[4]

Этим известием завершается Начальная повесть Галицко-Волынской летописи. Называть ее «Галицкой» нет совершенно никаких оснований. Повесть написана волынским автором, близким сподвижником княгини Анны и, скорее всего, во Владимире Волынском. В последующем она была дополнена некоторыми сугубо галицкими сюжетами, такими как рассказ о противоборстве галицких бояр и князей Игоревичей, но случилось это, видимо, уже на этапе редакции общего текста. Таким образом, если и обозначать каким-то названием начальную повесть, то наиболее соответствующим ее содержанию было бы: «Повесть о великой княгине Романовой».

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 719.

[2] Там же. Стб. 726.

[3] Там же. Стб. 729.

[4] Там же. Стб. 731. *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 32–39.

Вторая часть Летописца Данила Галицкого обозначена в исследовании Н. Ф. Котляра как «Повесть о собирании Данилом волынской вотчины». По хронологии Ипатьевской летописи это 1212–1217 гг., в действительности 1218–1228 гг. По содержанию и месту написания, как полагает Н. Ф. Котляр, повесть волынская, созданная по горячим следам описанных в ней событий, — где-то в 1228–1229 гг.[1]

При внимательном ознакомлении с этой частью Летописца нетрудно убедиться, что в ней звучат две основные темы: Данила Галицкого (волынская) и Мстислава Мстиславича (галицкая).

В свое время Б. А. Рыбаков высказал предположение, что часть Галицкой летописи за 1218–1228 гг. есть не что иное, как княжеская летопись Мстислава Удалого, написанная его духовником Тимофеем. Одним из аргументов в пользу этого было содержание статьи 1226 г., в которой рассказывается о коварстве боярина Жирослава, оклеветавшего Мстислава, будто бы тот намеревался выдать галицких бояр тестю Котяну на расправу. Поверив клеветнику, бояре ушли в Перемышльскую землю, а Мстислав послал к ним своего духовника Тимофея — «отца своего», чтобы он убедил их в отсутствии такого замысла. «Тимофею же кленшюся имъ о сем, яко не свѣдущу Мьстиславу ничто же о семь, и приведе бояре вси к нему».[2] Жирослав был разоблачен и изгнан Мстиславом из Галича. При этом его поступок летописец сравнил с Каиновым и с помощью библейских фраз выразил ему проклятие.

«Князю же обличившю Жирослава изгна и от себе, яко же изгна Богъ Каина от лица своего».[3] Как полагал Б. А. Рыбаков, это напоминает нам «притчи» мудрого книжника Тимофея 1205 г.[4]

Трудно сказать, насколько отождествление книжника Тимофея 1205 г. и духовника Тимофея 1226 г. является корректным, но то, что автор яркой изобличительной речи — проклятия в адрес Жирослава — был ближайшим сотрудником Мстислава Удалого, не вызывает и малейшего сомнения. От летописца Данила, который определенно знал о непростых отношениях своего князя с Мстиславом, ожидать такой откровенной апологии Мстислава невозможно.

Этому же автору принадлежит и продолжение летописной статьи 1226 г. В ней сообщается, что по совету «льстивых бояр галицких» Мстислав выдал свою младшую дочь за венгерского королевича Андрея и посадил его на перемышльский стол.* Вскоре королевич, напуганный

[1] *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 32–39.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 747.

[3] Там же. Стб. 747.

[4] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 163.

* Целью этого брака, согласно замыслу боярина Судислава, была передача королевичу Галича: «княже даи дщерь свою обрученую за королевича, и даи ему Галичь».

каким-то известием боярина Семеона Чермного, бежит в Венгрию, а затем возвращается к Перемышлю с венгерскими полками и берет его. Привел свое войско в Галичину и король Коломан. Не решившись идти к Галичу, он поочередно овладевает галицкими городами Теребовлем и Тихомлем. Под Кременцем терпит первое поражение и отводит свои силы к Звенигороду. Навстречу ему выступил из Галича Мстислав, одновременно послав боярина Судислава к Данилу с просьбой о помощи. Данило в очередной раз не поспевает придти на выручку тестю, но тот справляется и без него. В завязавшейся сече галицкие полки побеждают королевское войско, после чего король, как пишет летописец, «смятеся умом и поиде изъ земли борзо».

Мстислав предлагает Данилу, пришедшему с братом Васильком к Городку, организовать преследование короля, но тот, побуждаемый боярином Судиславом не делать этого, ушел в свою землю: «Судиславъ же браняшеть ему (Данилу. — *П. Т.*), бѣ бо имѣяшеть лесть во сердци своемь, не хотяше пагубы королеви».[1]

И вновь летописец прибегает к иронии. Он объясняет такое поведение Данила тем, что тот «изнемоглъ бо ся бѣ, ходивъ на войну».[2] Но в войне, как явствует из предыдущего текста, Данило участия не принимал.

Вероятно, постоянное уклонение Данила от помощи тестю было причиной того, что, будучи уже смертельно больным, Мстислав отписал Галич не ему, а королевичу Андрею, мужу своей младшей дочери: «Мьстиславъ дасть Галичь королевичю Андрѣеви». Не обошлось тут и без лести боярина Судислава.

Несомненно, летописцу Мстислава принадлежит и статья о смерти галицкого князя в 1228 г. «Потом же Мьстиславъ великыи удатныи князь умре, жадящю бо ему видити сына своего Данила. Глѣбъ же Зеремѣевичь убѣженъ бысть завистью не пустяше его. Оному же хотящю поручити домъ свои, и дѣти в руцѣ его, бѣ бо имѣя до него любовь велику во сердцѣ своемь».[3]

Н. Ф. Котляр считает, что эти слова принадлежат летописцу Данила, который был реалистом, хорошо понимал хитромудрое сплетение современной политики и, следовательно, написал их в расчете на восприятие галицкими боярами.[4] Мне кажется такое объяснение чересчур сложным и современным. Перед нами ведь не открытое послание к галицкому боярству, а завещание умирающего князя, его последняя

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 749.
[2] Там же. Стб. 750.
[3] Там же. Стб. 752.
[4] *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис ... С. 41.

воля. Она вовсе не противоречила праву Данила на унаследование галицкого стола, за которое ему придется еще долго бороться. Замечание, что желанной предсмертной встрече Мстислава с Данилом помешал галицкий боярин Глеб Зеремеевич, указывает на то, что автор статьи был в курсе той закулисной борьбы, которая велась вокруг вопроса о наследовании галицкого стола. Конечно, таким информированным лицом мог быть только летописец Мстислава.

Записи Мстиславова летописца отчетливо прочитываются в статьях 1218 и 1219 гг., где речь идет о борьбе Мстислава с венгерским воеводой Филей. Подробности рассказа свидетельствуют о том, что он был составлен лицом если и не участвовавшим в походах Мстислава против Фили, то, несомненно, хорошо знавшим о них со слов очевидцев. К тому же записан по горячим следам. Это видно хотя бы из следующего отрывка: «Наутрѣя же, на канунъ святои Богородици приде Мьстиславъ рано на гордаго Филю, и на Угры с Ляхы и бысть брань тяжка межи ими и одолѣ Мьстиславъ, бѣгающим же Угромъ и Ляхомъ, избьено бысть ихъ множьство и ять бысть величавыи Филя паробкомъ Добрыниномъ».[1]

После выигранной битвы Мстислав пошел к Галичу и взял его, пленив при этом королевича Андрея. Вскоре сюда прибыл и Данило. Судя по ироничному замечанию летописца, он должен был участвовать в битве за столицу Галичины, но пришел, когда ею уже овладел Мстислав, к тому же с небольшой дружиной. «Даниловы же приѣхавшю в малѣ дружинѣ с Демьяномъ тысячскымъ, не бѣ бо приѣхалъ во время то, потом же приѣха Данилъ ко Мстиславу».[2] Конечно, такое опоздание не украшает Данила и вряд ли его летописец стал бы отмечать такую пикантную подробность.*

Завершается статья своеобразным гимном великодушию Мстислава. Он не только не казнил мятежного боярина Судислава, которого схватили княжеские слуги, но простил его, оказал великую честь, и дал ему в управление Звенигород. «Мьстиславу же вѣровавшю словесемь его (Судислава. — *П. Т.*) и честью великою почтивъ его, и Звенигородъ дасть ему».[3] Ни о какой неосмотрительности Мстислава, как казалось В. Т. Пашуто, в летописи нет и слова.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 737.

[2] Там же. Стб. 738.

* В. Т. Пашуто полагал, что это сообщение принадлежит летописцу Данила на основании приписки: «И бысть радость велика». Но она ведь относится не к тому, что Даниил, хотя и позже, но пришел в Галич, а к тому, что Галич был избавлен от иноплеменников: «Спасъ Богъ от иноплеменьникъ».

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 737.

Параллельно с записями Мстиславова летописца в летописи идут сообщения, несомненно принадлежащие летописцу Данила. Позднейшим редактором они объединены в единую повесть, однако их самоценность вполне прочитывается. Центральной фигурой в них выступает Данило. Летописец не навязчиво, но последовательно героизирует молодого князя. Когда Мстислав отказал ему в помощи против Лешка Краковского, состоящего с галицким князем в союзных отношениях, Данило, вместе с братом Васильком идут в поход самостоятельно и возвращают отнятые ранее волынские земли. «Данилу возвратившуся к домови, и ѣха с братомъ, и прия Берестии, и Угровескъ, и Верещинъ, и Столпье и всю Украину».[1] Лешко пытался восстановить статус-кво, но Данило, направив против вторгшихся в Побужье поляков свои дружины, водимые знатными владимирскими боярами Гаврилом Душиловичем, Семеном Олуевичем и Васильком Гавриловичем, успешно отразил его претензии. Летописец с гордостью заметил, что дружины Данила вернулись во Владимир «с великою славою».

Этот первый самостоятельный успех Данила, рассказанный в Ипатьевской летописи под 1213 г., в действительности имел место в 1219 г. В этом же году Данило женится на дочери Мстислава Анне, а его мать постригается в монастырь, видимо решив, что ее опека сыну больше не нужна.

В следующей военной кампании, в которой Данило участвовал по просьбе Мстислава, он также проявил себя с наилучшей стороны. В битве под Галичем смело врубился в самую гущу схватки, а затем целое поприще преследовал своих врагов. И хотя Данило, как пишет летописец, был еще молод, он «показа мужьство свое». За эту победу Мстислав Мстиславич наградил Данила ценным рыцарским подарком — он отдал ему своего боевого коня. «Мьстиславъ же великую похвалу створи Данилови. И дары ему дасть великыи, и конь свои борзыи сивый».[2]

В 1221 г. Данило и Василько Романовичи осуществили поход на Белзское княжество, который был своеобразной карательной акцией против князя Александра, за его отступление от союза с владимирскими князьями. Летописец замечает, что Романовичи «попленили» всю землю и не оставили там «камня на камне». Только вмешательство Мстислава спасло Александра от большей беды. «Мьстиславу же рекшу: "Пожалуи брата Олександра». И Данилъ воротися в Володимерь"».[3]

Продолжение темы противостояния Данила и белзского князя Александра находится в статье 1225 г. Как свидетельствует хронология М. С. Гру-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 732.
[2] Там же. Стб. 735.
[3] Там же. Стб. 739.

шевского, здесь дата смещена всего на один год, а поэтому речь в ней идет о событиях 1224 г. По свидетельству летописца Данила, воспользовавшись каким-то несогласием Мстислава с зятем, Александр подговорил галицкого князя выступить в поход на Владимир. Данило предпринял энергичные встречные действия. Заручился поддержкой польского князя Лешка Краковского и вместе с ним разгромил Александров полк, направлявшийся в помощь галичанам. Узнав об этом, Мстислав срочно отступил в Галич. Тем временем Данило и Лешко произвели значительное опустошение в Галицкой земле: «Плени всю землю Бельзеськую и Червеньскую».[1]

Далее летописец раскрывает причину столь необычного шага Мстислава. Оказывается, Александр уверил, что Данило хочет его убить: «Рекыи яко зять твои убити тя хочеть».[2]

С этим известием он отправил к Мстиславу посла Яна, однако вскоре выяснилось, что это не что иное, как клевета белзского князя: «Познавшимъ же вс'ѣмъ княземь Александрову клевету, Яневу лжю».* За это он заслуживал лишения волости, но всегда прощающий своих врагов Мстислав не сделал этого. Зато повинился перед Данилом, принял его с любовью и одарил богатыми подарками, среди которых был и «конь свои борзыи Актазъ, якого же в та л'ѣта не бысть».[3] После этого между князьями был заключен мир в Перемиле.

Вероятно, летописцу Данила принадлежит запись о раскаивании Мстислава в том, что он отдал Галич не Данилу, а королевичу Андрею. Об этом галицкий князь рассказал тысяцкому Данила Демяну, прибывшему к нему с поручением своего князя. Речь Мстислава производит впечатление нового завещания, но теперь уже в пользу Данила. Цитируемый ниже текст дает основание для такого предположения.

«Сыну сгр'ѣшихъ, не давъ тоб'ѣ Галича, но давъ иноплеменьнику. Судислава л'ѣстеца св'ѣтомъ обольсти бо мя. Аж Богъ восхочеть, поидивъ на ня, азъ всажу Половци, а ты своими. Аще Богъ дасть его нама, ты возьми Галичь, а азъ Понизье».[4]

У нас нет оснований подозревать летописца Данила в сочинении этих слов. Наверное, Мстислав их действительно произнес. Однако, может

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 746.

[2] Там же.

* Н. Ф. Котляр почему-то полагает, что Ян был человеком из окружения Мстислава, который по приказу своего господина возвел клевету на Данила. Но ведь в летописи определенно говорится, что это человек Александра. «Самому же Александру не см'ѣявшю 'ѣхати, посла Яна своего» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 746.).

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 746.

[4] Там же. Стб. 752.

быть, более важным здесь представляется то, как они преподнесены в летописи. Мстислав не только изменил завещание, но еще и намеревался вместе с Данилом исправить свою ошибку. А чтобы у читателя не возникло сомнения в истинности его слов, летописец уверяет, что сказаны они в разговоре с Демяном, то есть при свидетеле. Конечно, этот краткий рассказ не случаен в летописи Данила. Он крайне важен как юридическое основание для его претензий на галицкий стол.

Анализ статей за 1218–1228 гг., с их своеобразной двойной экспозицией, не оставляет сомнения в том, что перед нами не отдельная и самостоятельная авторская повесть о борьбе Данила за собирание волынского отцовского наследия, а соединение двух повестей — Мстислава Удалого и Данила Галицкого. Б. А. Рыбаков объясняет сохранение элементов летописания Мстислава в составе летописи Данила родственными связями князей, в частности тем, что Данило был женат на дочери Мстислава Анне.[1] Думается, что и без этих связей летописец Данила не отказался бы от использования дополнительных источников для своей повести.

Нет сомнения, что оба источника повести создавались во время, близкое к описываемым событиям. Что же касается обьединенного текста, как он представлен в Ипатьевской летописи, то его появление следует, видимо, относить уже к галицкому периоду княжения Данила. В пользу этого свидетельствует, в частности, вставка в рассказ о сражении на Калке сюжета об особой роли в ней Данила Галицкого. Он смело повел на татар свой полк и врубился во вражеский строй. Был ранен, но, не замечая этого, продолжал храбро сражаться. Татары дрогнули, а Данило со своим полком бесстрашно избивал их. Летописец восхищается мужеством Данила, который «Бѣ бо дерзъ и храборъ от главы и до ногу его, не бѣ на немь порока».[2] Когда же чаша весов начала склоняться в пользу татар, Данило, «обрати конь свой на бѣгъ», то есть оставил поле боя.

Трудно сказать, сколько в этом рассказе правды. Возможно, все так и было, хотя киевский летописец этого частного эпизода не заметил и в своей повести о нем ничего не написал. Нет сомнения, что перед нами более позднее воспоминание самого Данила или же кого-то из его соратников по Калкскому сражению. Упомянув в нем Мстислава Немого (Ярославича), сражавшегося рядом с Данилом, летописец замечает, что это тот самый князь, который передал перед смертью свою отчину (Луцкое княжество) Данилу. «Ему же поручивше по смерти свою волость, дая князю Данилови».[3]

---

[1] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы... С. 163.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 744–745.

[3] Там же. Стб. 744.

Разумеется, такая ремарка могла появиться только после смерти Немого, то есть не ранее 1227 или 1228 г. В действительности же значительно позже, поскольку летописец уже не мог вспомнить, сколько лет было Данилу в год Калкской битвы: «Бѣ бо возрастомъ 18 лѣтъ».

Некоторые данные о времени объединения летописей Мстислава Удалого и Данила Галицкого в единый текст дает нам статья 1223 г., содержащая сведение о закладке Данилом города Холма. «Данилъ созда градъ, именемъ Холмъ, создание же его иногда скажем».[1] Выполнить свое обещание летописец забыл, а поэтому мы так и не знаем, когда точно произошло это событие. Согласно исследованию Н. Ф. Котляра, Холм основан между 1236 и 1238 гг., что вполне вероятно.[2] Следовательно, упоминание города Холма отодвигает время редактирования повести по меньшей мере к 1237–1238 гг.

Еще более позднюю редакцию предполагает запись в статье 1217 (1221) г., в которой рассказывается о гордом венгерском воеводе Филе. Сообщив о непомерных его претензиях на русские земли, летописец заметил, что «Богу же того не терпящю, во ино время убьенъ бысть Даниломъ».[3] Как известно, случилось это в 1245 г. и, таким образом, запись об этом событии не могла появиться раньше 1246 г.

Из всего сказанного выше видна вся условность наименования этой части Галицко-Волынской летописи «Повестью о собирании Данилом волынской вотчины». Содержательно она значительно шире обозначенной темы и, по существу, освещает события как в Галицкой, так и в Волынской землях. В Галицкой, пожалуй, даже больше и полнее, чем в Волынской. На этом основании совершенно невозможно обозначить комплекс известий за 1218–1228 гг. единым названием, да, собственно, в этом нет и особой надобности. Ведь чтобы мы ни придумали, оно не будет соответствовать полной мерой замыслам древних летописцев.

Третья часть Летописца Данила Галицкого также имеет сборный характер. Кроме собственно повести о борьбе Данила за Галич, в ней использованы сообщения киевских и волынских летописцев, а также иные известия, не всегда имеющие прямое отношение к основной теме.

По существу, повесть о возвращении Данилом галицкого стола начинается примерно с середины летописной статьи 1229 г. Вернувшись из польского похода, Данило неожиданно получил от галицких бояр приглашение занять Галич. В нем говорилось, что «Судиславъ шелъ есть во Понизье, а королевичь в Галичи осталъ, а поиди борже».[4] Данил внял

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 740.

[2] *Котляр Н. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 34–35.

[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 736.

[4] Там же. Стб. 758.

просьбе галичан и немедля выступил с малой дружиной к Галичу. Оказалось, что там его не очень-то и ждали. Ворота города перед ним были закрыты, а вернувшийся срочно из Понизья боярин Судислав предпринимал энергичные меры для недопущения Данила в Галич. Не бездействовал и Данило. Для овладения Галичем он, как пишет летописец, «собравъ землю Галичкую ста на четыре части окрестъ его».[1] После длительной осады галичане открыли ворота и впустили в город Данила.

Казалось, сбылась мечта Данила, но трудности его только начинались. Уже вскоре ему пришлось вступить в борьбу с венгерским королем Белой, приведшим к Галичу свои полки. Посланному на переговоры тысяцкому Демяну король заявил, что перед его полками невозможно устоять, а поэтому лучше добровольно сдать город. Демян же «грозы его не убоявся» и вместе с Данилом собирал силы для отражения венгров. Интересно, что обе стороны заручились поддержкой половцев: к Данилу пришел хан Котян, а к Беле — «половци биговарсовы». Началось длительное противостояние. Первым дрогнул король и начал отход от города. Попытка перейти Днестр у Галича оказалась безуспешной и венгры направились к Василеву. По пути на них нападали галичане и многих перебили. Затрудняли отход венгров и погодные условия, как пишет летописец, в это время разверзлись «хляби небесные». Завершил этот сюжет летописец следующей фразой: «Данилъ же Божьею волею одерьжа градъ свои Галич».[2]

Согласно хронологии С. М. Грушевского, Данило овладел Галичем в 1230 г. Акция его в представлении летописца выглядит вполне законной, не случайно он подчеркнул, что Данило одержал «свой Галич». С этого времени он уже галицкий князь и все злоключения, которые ожидали его впереди, обусловливались именно этим обстоятельством. По существу, все предстоящее десятилетие пройдет под знаком борьбы Данила за галицкий стол. Окончательно он утвердится на нем только в 1238 г., а до этого ему придется еще трижды уступать его под давлением венгерского короля, князя Михаила Черниговского, а главное из-за коварства своевольных галицких бояр.

Не случайно редактор-составитель повести, приступая к изложению событий, связанных с борьбой Данила за Галич, предпослал ему такие слова: «По семь скажем многии мятежь, великия лести и бесчисленные рати».[3] В его руках определенно были записи, сделанные по горячим следам. К таковым, бесспорно, принадлежит драматический рассказ о попытках галицких бояр убить Данила, предпринимавшихся ими

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 759.
[2] Там же. Стб. 761.
[3] Там же. Стб. 762.

в 1230–1231 гг. совместно с князем Александром Белзским и слугами венгерского короля. Сначала они хотели сжечь Данила в здании думы, но их замысел был разрушен Васильком Романовичем, случайно вышедшим из помещения и обнаружившим какие-то подозрительные приготовления. Обнажив меч, он двинулся на заговорщиков, а те, полагая, что замысел их раскрыт, разбежались.

Затем коварные бояре придумали новый план устранения Данила. Они приглашают его на пир в замок Вишню, чтобы там убить. «А Филипъ безбожныи зва князя Данила во Вишьню, другий свѣтъ створиша, на убьенье его, со Александромъ братучадомъ его».[1] На этот раз спас князя тысяцкий Демян, срочно отправивший к Данилу посла с предупреждением не ехать в Вишню. «И приде ему солъ от тысячского его Демьяна, рекше ему: "Яко пиръ золъ есть, яко свѣщано есть безбожнымъ твоимъ бояриномъ Филипомъ и братучадомъ твоимъ Олександромъ, яко убьену ти быти"».[2]

Летописец сообщает, что седельничий Иван Михалкович арестовал 28 бояр из кланов Молибоговичей и Волдрысей, но князь Данило казнить их не решился, проявив великодушие. При этом он вспоминает давний случай, когда на пиру кто-то из бояр залил Данилу лицо вином, тот стерпел это унижение, полагая, что возмездие будет ему от Бога. В действительности великодушие Данила диктовалось жестокой реальностью. У него в Галичине еще не было надежной опоры. Когда после раскрытия заговора Данило созвал вече, то на него явилось только 18 «отроков верных», а также тысяцкий Демян. К тому же он знал, чем закончилась для князей — Игоревичей казнь их противников — галицких бояр. Они, как и прежде, были сильны и коварны, и с этим приходилось считаться. Соцкий Микула, использовав известную пословицу, заявил Данилу: «Господине, не погнетши пчелъ меду не ѣдать».[3] Однако в домонгольский период выполнить это пожелание Данило полной мерой не смог.

Уже вскоре ему пришлось в очередной раз убедиться в льстивости галицких бояр. Сначала они приняли решение оказать помощь Данилу, но сделали это, как пишет летописец, неискренне. «Невѣрнии же вси на помощь ему идяху, мнящеся яко вѣрни суть».[4] Когда же убедились, что в схватке Данила с венгерским королем последний начал одерживать верх, дружно переметнулись на его сторону. «Климята же с Голыхъ горъ убѣжа от князя Данила ко королеви, и по немь вси бояре

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 762.
[2] Там же. Стб. 762–763.
[3] Там же. Стб. 763.
[4] Там же. Стб. 764.

Галичькыи предашася».[1] В результате Данило вынужден был вновь оставить Галич. Там сел сын венгерского короля Андрей. Случилось это в 1232 г.

Знакомство с летописным рассказом о событиях 1230–1232 гг. не оставляет сомнения в том, что он практически современен им. Восстановить сложную связь взаимоотношений Данила с оппозиционными князьями, боярами, а также венгерским королем, при этом назвать всех действующих лиц по имени через много лет практически невозможно. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к тексту, рассказывающему об обороне Ярославля от осаждавших его сил венгерского короля. Руководили действиями осажденных ярославльцев бояре Давид Вышатич и Василько Гаврилович. Первый натиск венгров горожане успешно отразили. Но тут в дело вмешалась теща Давида — сторонница провенгерски настроенного боярина Судислава — и начала уговаривать зятя сдать город. Присутствовавший при этом Василько Гаврилович резко воспротивился такой предательской мысли. Он заявил, что невозможно «погубить честь князя своего», был убежден в неприступности города: «Яко рать си не может града сего прияти».[2] Давид же прислушался к совету тещи, а не Василька, и Ярославль был сдан королю. После этого путь на Галич был открыт.

С неменьшей подробностью изложен ход борьбы Данила с вторгшимися на Волынь венграми, водимыми королевичем Андреем. С русской стороны в ней принимали участие, кроме самого Данила, его брат Василько, тысяцкий Демян, боярин Мирослав, на заключительном этапе кампании к ним присоединился также и князь Александр. Состоялось несколько сражений, у Шумска и Торчева, в которых, согласно свидетельству летописца, Данило Романович проявил буквально чудеса героизма. Когда во время битвы у Торчева у него сломалось древко копья, он вынул меч и с его помощью проложил себе путь к окруженному брату Васильку. «Обнаживъ мѣчь свои: идущу ему брату на помощь, многы же язви, и инии же от меча его умроша».[3]

Из летописного рассказа не ясно, принесла ли эта храбрость князя победу русским в тот день. Много мужества проявил Данило и в повторном сражении. Летописец отмечает, что он находился на волосок от смерти, но раненый конь вынес его из гущи сражения. Пришлось отступить и всей дружине Данила («Наворотися дружина Данилова на бѣгъ»), однако, поскольку венгры не решились на ее преследование и также отступили, летописец полагает, что в выигрыше оказались во-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 765.

[2] Там же.

[3] Там же. Стб. 768.

лынские полки. Его радует, что венгров полегло много, а Данило потерял только пять бояр. Он называет их по имени и это также свидетельствует о том, что запись сделана вскоре после окончания военных действий.

Новый поход венгров на Волынь, предпринятый ими в том же 1233 г., окончился их поражением. Данило подвел свои войска к Галичу. Галичане, как это часто с ними случалось, начали переходить на сторону сильного. Летописец знает, что первыми переметнулись от королевича Глеб Зеремеевич и Доброслав, а затем и «инии бояре мнози». Вслед за этим из осажденного Галича пришло известие о скоропостижной смерти королевича Андрея, которая, по-видимому, случилась не без помощи льстивых галичан, а также приглашение Данилу занять галицкий стол.

Время от времени «Повесть о возвращении Данилом галицкого стола» прерывается вставками об участии его в южнорусских и польских событиях. До сих пор эти сюжеты не были связаны с основной темой повести, однако рассказ, который находится в летописных статьях 1234 и 1235 гг. о походах Данила в Киевскую и Черниговскую земли, определенно не может считаться вставочным. Уже хотя бы потому, что южнорусские авантюры Данила стоили ему галицкого стола, что и отметил летописец.

После вокняжения в Галиче Данило получает от киевского князя Владимира Рюриковича грамоту, присланную через его сына Ростислава, в которой тот просит помощи против черниговских князей Михаила Всеволодича и Изяслава Владимировича. Данило, как отмечает летописец, «вѣдавъ ею любовь», собрал наскоро полки и выступил к Киеву. Начало кампании было удачным. Он вынудил Михаила покинуть пределы Киевщины, а затем вместе с Владимиром пошел к Чернигову. По пути князья овладели многими подесенскими городами — Хоробром, Сосницей, Сновском и другими — и осадили столицу княжества. Взять ее им не удалось, а поэтому между сторонами был заключен мир — так пишет летописец, а на самом деле только непрочное перемирие. Как только Данило и Владимир ушли в Киев, вслед за ними устремились половцы, приведенные на Русь Изяславом, князем новгород-сиверским. В состоявшейся у Торческого городка битве Данило терпит сокрушительное поражение и бежит в Галич. Оппозиционные бояре, возглавляемые Судиславом Ильичем, отказывают ему в поддержке и требуют покинуть город. При этом еще и пригрозили расправой: «Не погуби себя, поеди прочь».[1] Данилу пришлось подчиниться этому жесткому ультиматуму.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 774.

В Галиче при поддержке половцев и поляков сел Михаил Всеволодич. Вскоре ситуация начала меняться в пользу Данила. Сперва покинули Михаила союзные ему половцы, а затем ушел в свою землю и польский князь Конрад. Воспользоваться благоприятной ситуацией Данило, однако, не смог. Его поход на Галич в 1237 г. закончился заключением между ним и Михаилом мира, согласно которому Данило должен был удовлетвориться получением Перемышля. Второй поход на столицу Галичины, в которой к тому времени сидел сын Михаила Ростислав, оказался успешным. Ростислав бежал в Венгрию, а Данило занял галицкий стол.

Летописец с восторгом описывает это событие. На вопрос Данила к градским мужам: «Доколѣ хощети терпѣти иноплеменьныхъ князий?» они будто бы воскликнули: «Яко се есть держатель нашь Богомъ даныи, и пустишася яко дѣти по отчю, яко пчелы к матцѣ, яко жажющи воды ко источнику».[1] Торжественно звучат слова о вхождении Данила в Галич: «Прииди княже Данило, прими градъ. Данило же вниде во градъ свой, и прииде ко Пречистѣ Святѣи Богородици, и прия столъ отца своего и обличи побѣду, и постави на Ньмѣчьскыхъ вратѣхъ хоругов свою».[2]

Читая эти строки, как, собственно, и всю повесть, трудно себе представить, как могли галичане столь длительное время отказывать Данилу в доверии. В изображении летописца он само совершенство, можно сказать, идеальный правитель.

Кто мог быть автором этой повести? В. Т. Пашуто высказал предположение, что таковым следует считать тысяцкого Демяна, одного из ближайших и верных соратников Данила. Правда, позднее ее текст якобы был основательно отредактирован владимирским редактором.[3] Л. В. Черепнин полагал, что повесть 1238–1245 гг. использовала и некоторые более ранние заметки, сделанные близким соратником Данила. Таковым он также считал Демяна.[4] В последнее время мысль об участии тысяцкого Демяна в написании повести о возвращении Данилом галицкого стола получила развитие в работе Н. Ф. Котляра, полагающего, что он мог иметь отношение к написанию тех или иных вставок.[5]

Каких-либо серьезных аргументов в пользу такого предположения, кроме тех, что Демян являлся верным соратником Данила, а его имя

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 744.

[2] Там же. Стб. 778.

[3] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 74–79.

[4] *Черепнин Л. В.* Летописец Даниила Галицкого // Исторические записки. М., 1941. № 12. С. 251.

[5] *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 44

часто фигурирует при описании различных событий, у нас, по существу, нет. Функциональные обязанности тысяцкого, постоянное его нахождение при Даниле, участие в походах и битвах не совсем совместимы с занятиями исторической письменностью. Даже если у Демяна и были склонности к писательству, реализовать их в тех экстремальных обстоятельствах было бы чрезвычайно сложно. Ведь практически все эпизоды трудной борьбы Данила с галицкими боярами и их венгерскими союзниками описаны не по истечении какого-то времени, как воспоминания, а по свежим впечатлениям, как хроника событий. Ее незаурядные литературные достоинства выдают в авторе не сурового воина, а грамотея-книжника, мастерски владевшего пером.

Он разукрашивает свой текст поэтическими цитатами, изречениями из святого письма, различными притчами. При этом автор не чужд и церковной фразеологии. Когда венгерский король Бела IV двинул свои войска на Галич, то «Посла на ны Богъ Архангела Михаила отворити хляби небесные».[1] Рассказывая об очередном столкновении Данила с венграми (статья 1232 г.), летописец заметил: «Данилови же рекшу: "Яко же писание глаголить, мьдляи на брань, страшливу душю имать"».[2] В статье 1233 г. летописец цитирует афоризм, принадлежащий якобы Гомеру. Сообщив об измене князя Изяслава, летописец воскликнул: «О лесть зла есть, якоже Омиръ пишеть: "До обличенья сладка есть, обличѣна же зла есть, кто в нѣи ходить конѣць золъ прииметь. О злѣе зло есть"».[3] В статье 1229 г. летописец, рассказывая о потоплении угров в Днестре, воспользовался в качестве аналогии выражением Малалы о реке Скирт, которая сыграла злую игру с горожанами Эдесса. «Яко инде глаголять: "Скыртъ рѣка злу игру сыгра гражаномъ, тако и Днѣстръ злу игру сыгра Угромъ"».[4]

Приведенные примеры не исчерпывают афоризмов, метафор и цитат, почерпнутых летописцем из мировой литературы и использованных в своей повести, но и их достаточно, чтобы убедиться в незаурядной его образованности, а также в том, что историческая письменность была его основной профессией.

Тысяцкий Демян, участвовавший во всех предприятиях князя Данила, как думается, мог быть одним из информаторов летописца, сообщавшим ему не только сухие факты, но нередко и прямые речи участников драматической борьбы за Галич. Впрочем, не исключено, что в руках летописца имелись и какие-то письменные источники. Пере-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 760.
[2] Там же. Стб. 767.
[3] Там же. Стб. 770.
[4] Там же. Стб. 761.

говоры между венгерским королем и Данилом, наверное, сопровождались обменом грамотами, копии которых затем передавались в княжескую канцелярию.

И уж совсем нет оснований называть повесть Галицкой, а ее автора считать галичанином. Она, бесспорно, волынская и написана волынским автором.* Это отчетливо следует из самого содержания повести. Летописец не скрывает своих чувств и эмоций при описании действий галицких бояр. Они у него всегда «безбожные», «неверные», «льстивые», «кромольные». Наверное, эти обобщения не всегда адекватны. Часть галицких бояр в отдельные периоды симпатизировала Данилу, однако летописец концентрирует свое внимание только на боярах-отступниках. Иногда, как в случае с Молибоговичами, он сравнивает их со Святополком Окаянным, убившим братьев. В ряде мест эпитет «невернии» вообще приложен ко всем галичанам. «Королеви же посадившу сына своего Андрѣя в Галичи, свѣтомъ невѣрныхъ Галичанъ».[1] Конечно, будь автором «Повести» галичанин, он, несомненно, ушел бы от такой откровенной антигалицкой направленности.

Выдает в авторе «Повести» волынянина и его особое отношение к Владимиру. Он неоднократно подчеркивает, что Данило препоручал столицу Волыни брату Василько, чтобы тот охранял ее от неприятелей. Данило неустанно боролся за Галич, но истинным его домом летописец считал Владимир. Когда после возвращения из Венгрии Данилу не удался его поход на Галич (статья 1235 г.), он «воротися домовь», то есть во Владимир.[2] С особой гордостью он описывает впечатление, которое произвел Владимир на венгерского короля: «Оттуда король поиде ко Володимѣрю, дивившуся ему, рекъшу: "Яко така града не изобрѣтохомъ ни в Нѣмѣчькыхъ странахъ, тако сущу оружьникомъ стоящимь на немь, блистахуся щити и оружници подобни солнцю"».[3]

Аналогичную мысль в свое время высказал М. С. Грушевский. Согласно ему, хотя центром рассказа является «галицкий мятеж», все же особой ознакомленности и близости к Галичине его автора не заметно. Тот тон, каким он говорит о «неверных» и «безбожных» галичанах, скорее свидетельствует о том, что жил он не в Галичине, а на Волыни или в Побужье.[4]

---

* Это было бы справедливо даже и в том случае, если бы повесть написал тысяцкий Демян. Он ведь являлся волынским боярином. В. Т. Пашуто относил волынские предпочтения повести на счет владимирского редактора.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 766.

[2] Там же. Стб. 774.

[3] Там же. Стб. 765.

[4] *Грушевський М. С.* Історія української літератури. Т. 3. С. 165.

Думается, нет смысла гадать о том, где жил автор «Повести» после возвращения Данилом галицкого стола. По происхождению он бесспорно волынянин, что же касается места жительства, то без особого риска впасть в ошибку можно сказать, что он проживал там же, где и его сюзерен Данило Галицкий.

М. С. Грушевский полагал, что похвальные выражения в адрес «печатника Кирилла», Данилового канцлера, наводят на мысль, не был ли летописец одним из писарей княжей канцелярии, помощником печатника.[1] Предположение вероятное, хотя доказать его на основании имеющихся данных чрезвычайно сложно. Не исключено, что этим летописцем мог быть и сам печатник Кирилл.

Следующая повесть Ипатьевской летописи озаглавлена «Побоище Батыево». Название ее, конечно же, условное. В действительности содержание этой части летописи значительно шире. В ней отчетливо прочитывается несколько тем: новая — о вторжении в пределы Руси монголо-татар и две старые — о борьбе Данила за восстановление своего положения в Галичине и о войнах с Польшей, Литвой и ятвягами.

Собственно повесть «Побоище Батыево» не является оригинальным творчеством галицко-волынского летописца. Большая ее часть позаимствована им у северо-восточных и киевских коллег. Еще А. А. Шахматов предполагал, что основным источником повести являлся Владимирский Полихрон, созданный при дворе митрополита Максима после его переезда из Киева во Владимир на Клязьме в начале XIV в. В свою очередь, в Полихроне были объединены записи как северорусских, так и южнорусских летописей.[2]

Более поздние попытки представить повесть «Побоище Батыево» как целиком южнорусское, точнее киевское произведение, принадлежащие В. Т. Пашуто, А. И. Генсерскому и другим исследователям, не кажутся убедительными.[3]

Здесь нас интересует не вся повесть, но лишь та ее часть, которая бесспорно написана галицко-волынским летописцем. Теоретически это рассказ о прохождении монголо-татар по Волыни и Галичине, практически к нему следует отнести и некоторые вставки в более ранних записях. Видимо, прав Н. Ф. Котляр, полагавший, что вполне отчетливую галицко-волынскую окраску имеет эпизод, в котором речь идет об изгнании из Киева Ростислава Смоленского Данилом Романовичем и вручение древ-

---

[1] *Грушевський М. С.* Історія української літератури. Т. 3. С. 165.

[2] *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 73–79, 130–131.

[3] *Пашуто В. Г.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 85–86.

ней столицы Руси его посаднику Дмитрию.[1] «Данилъ же ѣха на нь, и я его, и остави в немь Дмитра, и вдасть Кыевъ в руцѣ Дмитрови обьдержати противу иноплеменьнихъ языкъ, безбожныхъ Татаровъ».[2] Это событие произошло после того, как Михаил Всеволодич, напуганный приходом к Киеву монголо-татар Менгу-хана, бежал из города и его занял Ростислав Мстиславич. По времени это конец 1239 г.

Несомненно, галицко-волынскому летописцу принадлежит и рассказ о «бегах» Михаила по владениям Данила и польским землям. Уйдя из Киева с женой и верными боярами, Михаил останавливается в городке Каменец. Данило расценил это как недружественный акт по отношению к себе. Он шлет послов к Михаилу и требует отослать к нему (и Василько) их сестру. Михаил выполнил это требование и, опасаясь возмездия от Данила за самоуправство, бежит с сыном Ростиславом «ко уеви своему в Ляхы, къ Кондратови».[3] Оттуда он шлет к Данилу послов, просит прощения за все его предыдущие согрешения и клянется никогда больше не иметь с ним вражды.

Данило и Василько прощают Михаила, возвращают ему жену и обещают Киев. «Данилъ же свѣтъ створи со братом си, обѣща ему Кыевъ Михаилови, а сынови его Ростиславу вдасть Луческъ».[4] Когда же Михаил, как пишет летописец, «за страхъ Татарскыи не смѣ ити Кыеву», Данило разрешил ему жить в его земле, при этом обеспечил всем необходимым: «Даста ему пшеницѣ много, и меду, и говядь, и овѣць довольѣ».[5]

Из приведенного рассказа можно сделать по меньшей мере два любопытных наблюдения. Первое относится к хронологии «бегов» Михаила. Это, бесспорно, конец 1239–1240 гг. Киев еще не взят монголо-татарами. Он являлся владением Михаила и поэтому Данило решил вернуть его законному обладателю. Второе касается авторства рассказа. В нем опознается скорее волынянин, чем галичанин. В пользу этого говорит ненавязчивое, но последовательное введение в число действующих лиц Василька Романовича. Михаил обращается с просьбами и покаянием к обоим князьям и также от обоих получает добродеяние: «Присла бо Михаилъ слы Данилу и Василку», «Данилъ же и Василко не помянуста зла», «Данилъ же свѣтъ створи со братом». Если бы этот рассказ писался галичанином, он, зная, кто был фактическим распорядителем судеб южнорусских князей и их владений, вряд ли бы стал упоминать волынского князя.

---

[1] *Котляр Н. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 73–74.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 782.

[3] Там же. Стб. 783.

[4] Там же.

[5] Там же.

Хронологически следующим событием было взятие Киева, но летописец, писавший свой труд, когда уже пронесся над Русью монголо-татарский смерч, продолжил рассказ о киевском князе. Узнав о падении Киева, Михаил с сыном бежал в Польшу, а когда монголо-татары приблизились к ее границам, ушел еще дальше — в немецкие земли. Там он подвергся нападению, людей его убили, а самого ограбили. Когда татары были уже в Венгрии, он вновь вернулся к Конраду.

Завершив свой рассказ о Михаиле Всеволодиче и понимая, что тем самым нарушил последовательное изложение, летописец возвращает читателя к более ранним событиям традиционным выражением: «Мы же на преднее возвратимся».

Вслед за этой фразой помещен подробный рассказ киевского летописца о взятии и разорении Киева монголо-татарами. Не исключено, что сообщение о помиловании раненого посадника Дмитра восхищенными якобы его мужеством татарами является вставкой галицко-волынского летописца. Ему же принадлежит и наивная сказка о том, как тот же Дмитр надоумил Батыя оставить пределы Руси и идти в Венгрию. «Про то же рече ему (Батыю. — *П. Т.*), видѣ, бо землю гибнущу Рускую от нечестиваго, Батый же послуша свѣта Дмитрова иде во Угры».[1]

Внимательное прочтение этой части повести, очень кратко и сбивчиво рассказывающей о завоевании Батыем Владимира и Галича, оставляет впечатление некоторой идеологической нечеткости позиции ее автора. На какое-то время фигура Данила Галицкого отходит на второй план, а на первый выдвигается его тысяцкий Дмитрий. Он герой обороны Киева и он же спаситель Галицко-Волынских земель. В то время как Дмитрий подвергает свою жизнь опасности и проявляет чудеса изобретательности, чтобы спровадить завоевателей из Руси, Данило пребывает вне пределов отечества. Это исследователи, чтобы спасти честь харизматического князя, пишут, что Данило поехал в Венгрию просить помощи для отражения монголо-татар. Из летописи этого вовсе не следует. Летописец определенно утверждает, что этот вояж Данило предпринял еще до прихода монголо-татар к столице Руси. «В то же время ѣхалъ бяше Данилъ въ Угры къ королеви, и еще бо бяшеть не слышалъ прихода поганыхъ Татаръ на Киев».[2] Да и цель поездки была скорее матримониальная, нежели военная. Данило поехал с сыном сватать королевскую дочь, но получил отказ. «Преже того ѣхалъ бѣ Данило князь ко королеви угры, хотя имѣти с ним любовь сватьства, и не бы любви межи има».[3]

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 786.

[2] Там же. Стб. 785–786.

[3] Там же. Стб. 787.

Странно, но Данило не вернулся в Русь и тогда, когда уже узнал о страшной катастрофе Киева и походе Батыя в западные русские земли. Только Колодяжин был сдан врагу добровольно, да и то после длительной осады. Остальные города, в том числе Владимир и Галич, отчаянно сопротивлялись. У Данила было достаточно времени, чтобы вернуться и возглавить оборону Галича. Он как будто и хотел это сделать, но, встретив у Синеводского монастыря Святой Богородицы множество беженцев, «воротися назадъ во Угры». Летописец оправдывает поступок Данила тем, что у него было мало дружины. «Не може бо проити Руское земли, зане мало бѣ с нимь дружины».[1]

Не очень убедительными кажутся и последующие действия Данила. В Венгрии он оставляет сына с галицкой дружиной, а сам отправляется в Польшу. И вновь летописец ничего не говорит о собирании Данилом антитатарской коалиции. Последующее сообщение о встрече жены, детей и брата свидетельствует, что это и было основной целью его поездки в Польшу. От Сандомира Данило идет в Мазовию к князю Болеславу, получает от него в управление город Вышгород и спокойно ожидает, когда монголо-татары покинут русские пределы.

«И бысть ту дондеже вѣсть прия, яко сошли суть изъ земли Руское безбожнии, и возвратися в землю свою».[2]

Таким образом, Данило отсутствовал на Руси по меньшей мере пять месяцев. Ушел в Венгрию не позже ноября 1240 г., а вернулся из Польши не ранее конца марта 1241 г., когда татары покинули пределы Руси и вторглись в Венгрию. Можно сказать, что Данило перестрадал лихую годину для родной земли на чужбине.

Исследователи, пытающиеся ответить на вопрос, почему монголо-татары так сравнительно легко завоевали Южную Русь, по существу, не обращают внимания на то обстоятельство, что она была брошена на произвол судьбы своими деморализованными правителями. Фактически самообезглавлена: Михаил покинул Киев, Василько — Владимир, а Данило — Галич. Современники оценили эти малодушные поступки адекватно. Летописец не акцентирует внимание читателя на этом специально, но его рассказ о возникших проблемах между князем Даниилом и подданными говорит об этом недвусмысленно. Оказалось, что при возвращении на Русь Данилу пришлось утверждать свою власть и авторитет заново.

Когда, возвращаясь из Польши, Данило хотел войти в пограничный русский город — Дорогочин, то его туда просто не пустили. Не названный по имени властелин заявил князю, что этот город извечно принадле-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 787.
[2] Там же. Стб. 788.

жал им и их отцам, а поэтому «изволисте внити вонъ». Сил на овладение Дорогочином у Данила не было, а поэтому пришлось подчиниться унизительному для него требованию.

В конце концов Данило утвердился в Холме, который не был взят и разорен монголо-татарами, но власть его, по-видимому, не распространялась за пределы Холмской волости. Бояре как будто и признавали Данила своим князем, но вся Галичина находилась в их руках. Вот что об этом пишет летописец: «Бояре же Галичьстии Данила княземь соб҃ѣ называху, а сам҃ѣ всю землю держаху».[1]

Из продолжения этой записи явствует, что в Галиче вокняжились некий Доброслав, а также попов внук Судич, которые грабили всю землю, подчинив себе Бакоту и Понизье. Боярин Григорий Васильевич взял Перемышльскую землю. Коломыйские соляные промыслы, находившиеся всегда в княжеском владении, были отданы Доброславом боярам Лазарю Домажирецу и Иворю Молибожичю. Какие-то владения были розданы черниговским боярам.

Данило послал к Доброславу своего стольника Якова с робким напоминанием о том, что князем земли является все-таки он, а поэтому не следует распоряжаться волостями без княжеского повеления, но испытал новое унижение. Один из ответов Доброслава стольнику Якову был столь издевательским и дерзким, что летописец не решился даже пересказать его. «Он же (Доброслав. — *П. Т.)* усмѣявся рече то, что [не] могу же глаголати».[2]

Реакция Данила на услышанное от вернувшегося в Холм стольника Якова была более чем сдержанная. «Данилъ же скорбяше. И моляшеся Богу о отчин҃ѣ своеи, яко нечистивимъ симъ держати ю и обладати ею».[3]

К счастью для Данила, галицкие бояре интриговали не только по отношению к нему, но и между собой тоже. Через непродолжительное время Доброслав рассорился с Григорием Васильевичем и сочинил на него донос князю. Главный его аргумент — «невѣренъ ти есть» — ничего кроме иронии вызвать не может, поскольку один неверный обвинил в том же другого неверного. Григорий обратился к Данилу с аналогичным обвинением по отношению к Доброславу. Данило, как явствует из летописной записи, знал, что льстивы и коварны оба боярина, в воле его ходить не желают, но хотят «власть его иному предати».[4] Посоветовавшись с братом Васильком и, по-видимому, заручившись поддержкой дружины, Данило решается на пленение непокорных бояр.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 789.

[2] Там же. Стб. 790.

[3] Там же.

[4] Там же. Стб. 790–791.

«Смыслив же се братомъ, понужи же видя беззаконие ихъ, и повелѣ я изоимати».[1]

После этой акции чаша весов начала медленно, но верно склоняться в сторону Данила. В Бакоту он шлет печатника Кирилла, чтобы тот зафиксировал грабительства «нечестивых бояр» и восстановил там княжескую власть. Вскоре туда подвел свои дружины, состоявшие из отрядов болоховских князей и остатков галичан, князь Ростислав Михайлович, вероятно, рассчитывавший взятием Бакоты начать свой поход на Галич. Замысел его не удался. Жители Бакоты уже сделали свой выбор, на который, несомненно, повлияла обличительная речь печатника Кирилла, обвинившего Ростислава в черной неблагодарности по отношению к Данилу и Васильку. Бакота не покорилась Ростиславу и ему пришлось уйти за Днестр.

Развивая успех, Данило и печатник Кирилл предпринимают отместный поход на Болоховскую землю, овладевают городами Деревичем, Губиным, Кобудом, Кудиным, Божским, Дядьковом. Летописец не скрывает своего удовлетворения этим отместием, которое якобы было не столько за участие в походе на Бакоту, сколько за то, что болоховцы предательством сохранили от татарского разорения свои города. «Оставили бо ихъ Татарове, да имъ орють пшеницю и просо. Данилъ же на ня болашую вражьду, яко от Татаръ большую надежу имѣаху».[2] Проступок болоховцев был для Данила тем огорчительнее, поскольку в свое время именно он защитил их от мазовецкого князя Болеслава. «Онѣм же однако не помнящи добродѣанья», — заметил летописец.

Пока Данило вел болоховскую кампанию, Ростислав при помощи боярина Володислава захватил Галич. Успех этот оказался очень кратковременным. Данило уже достаточно укрепил свои позиции в Галичине и не стал терпеть присутствие в ней Ростислава. Вместе с братом Васильком он немедля выступил на Галич. Узнав об этом и не надеясь удержать город, Ростислав бежал из Галича. Вместе с ним бежали епископ Артемий, по-видимому, поторопившийся признать княжеские полномочия Ростислава, а также «инии Галичани».

Вслед за Галичем Данило восстановил свою власть и над Перемышлем. Для наведения порядка туда был послан с дружиной его дворецкий Андрей. Князь Константин Рязанский покинул город еще до подхода Андрея, а не названный по имени мятежный епископ и певец Митус были пленены и доставлены Данилу.

После перебивок основного текста краткими известиями о возвращении татар из Венгрии, о женитьбе Ростислава на угорской принцессе,

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 791.

[2] Там же.

о смерти Михаила Всеволодича в ставке Батыя галицко-волынский летописец переходит к рассказу о войнах Данила с Болеславом, Литвой и ятвягами.

Особенно впечатляющим выглядит рассказ о войне Данила с польским князем Болеславом. Летописец не говорит о причинах, побудивших Данила выступить на Польшу, но, судя по задействованным в нем силах и тщательности подготовки, это была ответная акция. Русские вошли в Польскую землю четырьмя дорогами: сам Данило воевал около Люблина, Василько — около Белои, дворский Андрей — по Сяну, а Вышата вторгся в Подгорье.

«Данило же со братомъ Василкомъ заратившимся с Болеславомъ, княземь Лядьскымь, внидоста во землю Лядьскую четырьма дорогами».[1]

Летописец здесь явно героизирует образ Данила и ненавязчиво сравнивает его со знаменитыми предшественниками. Такие грандиозные походы против врагов своих осуществлял когда-то киевский князь Мстислав Великий. «Того же л'ѣта посла князь Мьстиславъ съ братьею своею многы Кривичи четырьма путьми».[2]

Польская кампания Данила 1243 г. оказалась успешной. Его полки, как пишет летописец, «повоевали» землю Люблинскую, дошли до Вислы и Сяна и едва не овладели городом Люблином. Только мольба его жителей о пощаде остановила русских от штурма, для чего из Холма была подвезена уже и осадная техника. Правда, взамен от люблинцев была получена клятва, что они не будут помогать Болеславу.

Ход кампании описан столь обстоятельно, что кажется, рассказал о ней один из непосредственных ее участников.

Записи о войнах Данила с литовцами и ятвягами, скорее всего, не на своем месте. Они производят впечатление позднейших припоминаний, вставленных редактором вслед за рассказом о войне Данила с Болеславом, чтобы дорисовать героический портрет галицкого князя как защитника отечества. В большей мере сказанное относится к походу на ятвягов (летописная дата 1248 г.), который имел место по меньшей мере на добрый десяток лет раньше. Вторжение ятвягов в Галичину летописец определяет временем, когда еще не был основан Холм: «И еще бо Холму не поставлену бывшю Даниломъ».[3] Ответный поход был осуществлен Васильком. Одержав победу над ятвягами у Дорогочина, он отправил посла с радостным известием в Галич к Данилу. «Посла и во Галичь ко брату си, и бысть радость велика во град'ѣ томъ Галич'ѣ въ день тои».[4]

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 795.

[2] Там же. Стб. 292.

[3] Там же. Стб. 799.

[4] Там же.

М. С. Грушевский полагал, что летописец собрал здесь истории литовских набегов разных времен, а поэтому даже и не пытался определить их даты. Что касается войны с ятвягами, то, судя по выражению «сѣдящу (Данило. — *П. Т.)* в Галичѣ», он относил ее к 1234 г.[1]

Завершающим сюжетом повести под условным названием «Побоище Батыево» является пространный рассказ о противоборстве Ростислава Михайловича, поддерживаемого венграми, с Данилом Романовичем за обладание Галичиной и решающей битве между ними под городом Ярославлем. В летописи эти драматические события датированы 1249 г., в действительности произошли в 1245 г.

Здесь мы снова имеем дело с рассказом современника, возможно позже лишь слегка подредактированным составителем Галицко-Волынской летописи. Автор подробно излагает приготовления Ростислава и ответные меры Данила. Первый заручился поддержкой венгров и поляков, второй половцев, поляков и литовцев. Правда, события развивались столь стремительно, что польские дружины Конрада и помощь от Миндовга ко времени сражения не поспели. «Не дотягшимъ же обоимъ», — как записал летописец. При этом он заметил, что в данном случае, когда Данило сражался за правое дело, важной была помощь не от людей, а от Бога. «Явлешу Богу помощь свою над ними, яко не от помощи человескомъ побѣда, нъ от Бога».[2]

Однако не оплошали и Даниловы люди. Дворский Андрей помог ярославцам укрепить город, а затем первым вступил в бой с Ростиславлевыми дружинами. На помощь ему были посланы Василий Глебович и Всеволод Александрович. Затем в бой вступил Данило с Яковом Марковичем, а также Василько. Закипела страшная сеча. Треск сломанных копий, как пишет летописец, был подобен грому. «Крѣпко копьем же изломившимся, яко от грома трѣсновение бысть».[3]

Первыми дрогнули венгры и «наворотишася на бѣгъ». За ними, под напором дружин Василька, были смяты позиции польского полка. Затем не выдержала и побежала русская дружина Ростислава. Победа Данила была полной и безоговорочной. Он мог в преследовании добить своих врагов, но брат Василько удержал его от этого. В тот же день были казнены по распоряжению Данила захваченные в плен венгерский воевода Филя и мятежный галицкий боярин Володислав.

Как бы подводя итог не только битве, но и борьбе за галицкое наследие, летописец спокойно завершил рассказ двумя многозначительными замечаниями. Первым он известил читателя, что Данило Романович

---

[1] *Грушевський М. С.* Хронологія... С. 32.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 801.

[3] Там же. Стб. 803.

ушел с большим полоном в Холм («идеже в Холмъ, с колодники многими, иже бѣ создалъ самъ»), вторым подчеркнул, что на этом окончились претензии Ростислава на Галичину. «Ростислав бѣжа в ляхы ... мысляше во умѣ своемь взяти Галичь и обладати имъ. Богъ же за высокомыслие его не створи того еже онъ мысля».[1]

Нас, безусловно, интересует, когда написана эта повесть и кто ее автор. Прямых данных для ответа на эти вопросы, к сожалению, нет. В. Т. Пашуто полагал, что временем ее создания следует считать 1246 г. Н. Ф. Котляр думает, что повесть, вероятнее всего, появилась на свет вскоре после Ярославской битвы, но и не ранее 1246 или 1247 г. Как ему кажется, книжнику нужно было время, чтобы осмыслить события, скомпоновать текст и придать ему завершенный вид.[2] Высказанная мысль о написании повести «по свежим следам битвы» кажется нам весьма продуктивной, но, к сожалению, она несколько дезавуируется уточнением: «Не ранее 1246 или 1247 г.» Нам кажется, что здесь уместнее было бы выражение: «Не позже 1246 или 1247 г.» Речь, по существу, может идти не о написании, а лишь о завершении повести. Ведь и в других ее местах мы столкнулись с тем, что события зафиксированы по свежим следам. Особенно отчетливо это видно из летописной статьи 1241 г., рассказывающей о посольстве Данила к галицкому самозванцу Доброславу, а также из статьи 1245 г., повествующей о войне Данила с Болеславом. Характер повести летописные известия обрели на завершающем этапе их сведения в целостный рассказ, а до того представляли собой обычные хроникальные записи.

Об авторе этой части летописи что-либо определенное сказать трудно. В. Т. Пашуто был уверен, что им был печатник Кирилл. Светское его прошлое, как думал В. Т. Пашуто, благотворно отразилось на созданном им труде, оказавшемся свободным от обычного в летописании той поры налета церковщины».[3] К аналогичному выводу склонялся и Д. С. Лихачев, установивший участие Кирилла (в бытность его митрополитом) и других галицких книжников в летописании Северо-Восточной Руси, обнаруживаемое, в частности, в наличии галицкой традиции в «Житии Александра Невского».

Не подвергая сомнению авторское участие Кирилла в создании свода 1246 г., можно высказать предположение, что у него был и соавтор. Это стольник Яков. Если и не в качестве книжника-грамотея, то уж во всяком случае как информатора — очевидца событий, в которых ему пришлось по воле Данила принимать участие.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 805.

[2] *Котляр Н. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 84.

[3] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 91.

В рассказе о посольстве стольника Якова к Доброславу есть фраза, которая не исключает того, что именно ему принадлежит письменный отчет о переговорах с мятежными боярами. Дойдя до особенно неприличного ответа Доброслава, Яков сетует, что он этого не может даже и пересказать. «Он (Доброслав. — *П. Т.)* же усмѣявься рече то, что [не] могу же глаголити».

Особо приближенным к Данилу в этот трудный период его княжеской карьеры был печатник Кирилл. Он в качестве специального княжеского посланника описывал в Бакоте грабительства «нечестивых бояр», а затем и принимал участие в походе Данила на Болоховскую землю. Выше уже говорилось, что М. С. Грушевский считал автором Галицкого летописца кого-то из служащих княжеской канцелярии, возможно близкого соратника печатника Кирилла. Видимо, не меньше оснований считать автором этой части летописи и самого печатника Кирилла.

В пользу такого вывода может свидетельствовать и тот факт, что именно этот Кирилл с помощью Данила Галицкого стал митрополитом киевским. Наверное, это было действительно так, поскольку около 1241 г. упоминания о печатнике Кирилле исчезают со страниц летописи, но зато, начиная примерно с 1242 г., появляются известия о митрополите Кирилле. Причем уже первое из них указывает, что он принадлежал к числу соратников Данила и находился при нем в Холме. Узнав о возможном нападении на Холм возвращавшихся из Венгрии татар, Данило, «затворивъ Холм» и взяв с собою «Кирила митрополита», ушел во Владимир к брату Васильку.

В 1246 г. (в Ипатьевской летописи 1251 г.) Кирилл отправляется к патриарху в Никею на рукоположение и по пути ведет переговоры с венгерским королем Белой IV о заключении его союза с Данилом Галицким. Длительное успешное служение Кирилла на киевской митрополичьей кафедре (до 1281 г.) говорит о незаурядности его личности, которая сформировалась еще в бытность его печатником и, по-видимому, летописцем Данила.

Заключительная часть Галицкого летописца укладывается в хронологические рамки 1245–1258 гг. Начинается известием о присылке к Данилу и Васильку посла от татарского военачальника Могучеева с напоминанием, что власть его в княжестве не утверждена Батыем, а завершается незаконченным обращением Данила к сыновьям Льву и Шварну. «Бысть же вѣсть Данилу, послаша Лва и Шварна вонъ и Володимера река имъ: “Аще вы будете у мене, вамъ ездѣти в станы к нимъ, аже ли азъ буду...”».[1]

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 848.

Одной из тем этой части Летописца являются непростые взаимоотношения Данила с монголо-татарами. Н. Ф. Котляр назвал ее повестью о борьбе Данила против ордынского ярма, но такое однозначное определение не вполне адекватно отражает содержание текста. Была, разумеется, и борьба, но началось все не ею, а выполнением воли Батыя. Пришлось Данилу ехать в ставку за ярлыком на княжение и испытать все унижения языческой обрядностью татар. Он столь прилежно исполнил все пожелания Батыя, что тот удовлетворенно воскликнул: «Ты уже нашь же Татарин».[1]

На Руси не осудили Данила за такое поведение, но болью оно отозвалось в русских душах. Летописец с горечью записал: «О злее зла честь Татарськая! Данилови Романовичю, князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевомъ и Володимеромъ, и Галичемъ... нын'ѣ с'ѣдить на кол'ѣну и холопомъ называется».[2] Когда Данило вернулся из ставки Батыя, то встретили его с радостью и с плачем. «И бысть плачь о б'ѣд'ѣ его и болшая же б'ѣ радость о здравии его».[3]

Покорность Данила в конечном итоге обернулась добром для Галичины и Волыни. В продолжение почти десяти лет татары не досаждали этим землям своими разорительными походами. Данило смог за это время укрепить свое положение и даже принять от папы римского королевскую корону. На первое предложение Данило якобы ответил отказом на том основании, что без помощи папы ему не справиться с татарами, которые могут из-за этого пойти войной на его землю. Однако после заверений папы Иннокентия IV и польских князей Болеслава и Семовита, что они дадут помощь «противу погынымъ», а также уговоров матери, Данило согласился принять королевскую корону. «Онъ же вѣн'ѣць от Бога прия, от церкве Святыхъ Апостолъ, и от стола святаго Петра, и от отца своего папы Нек'ѣнтия».[4] В продолжении статьи говорится, что этот торжественный акт произошел в городе Дорогочине, во время похода Данила на войну против ятвягов.

Еще одной причиной, которая, судя по не совсем четкому сообщению летописи, удерживала Данила от папских благодеяний, было недоброжелательное отношение католиков к православной вере. Папа Инокентий IV устранил это раздражение Данила тем, что проклял всех тех, кто «хулящимъ в'ѣру Гр'ѣцкую правоверную» и пообещал собрать церковный собор «о воединении церькви». Данило не смог убедиться в искренности намерений папы Инокентия, поскольку тот вскоре (1254 г.)

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 807.
[2] Там же. Стб. 807–808.
[3] Там же. Стб. 808.
[4] Там же. Стб. 827.

скончался. Его же наследника папу Александра IV Данило со своими проблемами и вовсе не интересовал.

После дорогочинской коронации, которая состоялась, вероятно, осенью 1253 г., Данило именуется в летописи королем. Так его называют и иностранные источники.

Перед этим событием Данило женил-таки своего сына Льва на дочери Белы IV Констанции, что явилось фактически закреплением мирного соглашения между Галицко-Волынским княжеством и Венгрией. Еще раньше Данило наладил дружественные отношения с Конрадом Мазовецким, а также нанес несколько ощутимых поражений литовцам и ятвягам, тревожившим своими набегами русские земли.

Обычно в литературе эта западная политика Данила представляется как собирание сил для будущей борьбы с монголо-татарами. Объективно это, наверное, было так. Однако вряд ли Данило осознавал неотвратимость новых столкновений с кочевниками и именно этим руководствовался в своих взаимоотношениях с западными соседями. Собственно, и бороться на востоке Данилу было не с кем. Татары после 1246 г. напомнили о своем существовании только в год его королевской коронации. Летописец сообщает, что тогда (он точно не уверен в этом, а поэтому в скобках пишет: «или преже или потомъ») «приѣхаша Татарѣ ко Бакотѣ». Судя по тому, что Данило отправил к Бакоте сына Льва, а сам пошел войной на Литву, он не видел в этом приходе татар никакой угрозы. Оказалось, что это действительно так. К Бакоте пришел баскак Милей собирать дань, но был пленен дворским князя Льва. Позже его отпустили, однако эта акция спровоцировала вторжение в пределы Галичины орды Куремсы. «Повоевав» окрестности города Кременца, Куремса, согласно свидетельству летописца, «возвратишася во страны своя».

Из статьи 1255 г. явствует, что галицкие и волынские города имели Батыевы грамоты и должны были платить дань татарам. Такое их двойное подчинение порождало нечеткость юридического статуса. Летописец замечает, что посадник Кременца Андрей считал себя то королевским подданным, то татарским. «Андрѣеви же на двое будущу, овогда взывающуся королевъ есмь, овогда же Татарьскымь».[1] Это не устраивало татар и еще меньше Данила Галицкого. После ухода Куремсиной орды он вместе с братом, как пишет летописец, «воздвиже рать противу Татаром». В действительности поход был осуществлен в Побужье, Погорынье, а также в район Тетерева, чтобы распространить на эти земли галицкую юрисдикцию. Во всех городах (Межибожье, Болохо-

[1] ПРСЛ. Т. 2. Стб. 829.

ве, Городке, Семоче, Городеске, Жедачеве и др.) были посажены галицкие тиуны. Только взвягильцы обманули Шварна. Сказали, что возьмут себе галицкого тиуна, но, когда тот пришел к ним, они «не вдаша ему тивунити». Это вызвало сильное раздражение Данила и он немедленно выступил к Возвяглю. Город был взят и сожжен, а взвягильцы разделены между князьями-победителями и уведены в плен. Это была акция устрашения тем держателям городков, которые предпочитали эпизодическую дань татарам, подчинению королю Данилу.

М. С. Грушевский заметил, что это необычное немилосердие отчетливо показывает, какое зло имел Данило на эти противокняжеские громады.[1] Можно сказать, что взвягильцы пострадали за излишнее рвение в подданстве татарам.

Ответ Куремсы не заставил себя долго ждать. Он двинул свою рать на Волынь и оказалось, что Данила и Василька этот поход застал совершенно не готовыми оказывать сопротивление. Выручили горожане Владимира и Луцка, которые отважно отразили нападение Куремсы. После неудавшихся попыток овладеть двумя главными городами Волыни, татары «не усп'ѣвше ничтоже, вратишася во станы своя, рекше в поле».[2]

Торжество Данила было недолгим. Вместо слабого Куремсы ханская ставка направила в Южную Русь жестокого воеводу Бурундая со значительно большими силами. Летописец замечает, что Данило никогда не боялся Куремсы, который не мог причинить ему зла, но силе Бурундая противостоять было трудно. Бурундай через своих послов сообщил Данилу, что идет на Литву, и если тот по-прежнему считает себя татарским союзником («оже еси миренъ»), то должен выступить вместе с ним. Посоветовавшись с Васильком и полагая, что в татарском стане безопасность ему не гарантирована, Данило отправляет в помощь Бурундаю брата со своим полком. Тот храбро сражается и заслуживает похвалы Бурундая, хотя последний и не скрыл своего недовольства тем, что в помощь ему не приехал Данило: «Аще братъ твои не ѣхал».[3]

Из дальнейшего несколько сбивчивого рассказа следует, что опасения Данила имели-таки основания. Из Литвы татары повернули в землю ятвягов, надеясь там встретить Данила. Им, видимо, каким-то образом стало известно, что он ушел в поход на Волковыск. По пути они встретили Даниловых послов и узнали, что их король находится в городе Милнице. Татары немедля устремились к нему, но заблудились и вышли к Дорогочину. Продолжил ли Бурундай искать встречи с Дани-

[1] *Грушевський М. С.* Історія України—Руси. К., 1993. С. 87.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 842.
[3] Там же. Стб. 847.

лом, мы не знаем, поскольку на этом месте обрывается текст Галицкого летописца.

Исследователи, о чем шла речь выше, называют эту часть летописи повестью. Если подходить к определению жанрового характера текста со всей строгостью, то, конечно, назвать его повестью нельзя. И по содержанию, и по сюжетным фабулам перед нами, по существу, несколько отдельных хроникальных рассказов. Определить, что в тексте основное, а что второстепенное, вставочное, совершенно невозможно. По объему «Повесть о борьбе Данила против ордынского ярма» меньше, чем рассказ о борьбе Данила с ятвягами. На самостоятельную повесть тянет сюжет об участии Данила по просьбе венгерского короля в борьбе за австрийское наследие. Это здесь находится удивительное по своей яркости и подробностям описание вооружения галицких полков и одежды князя Данила. «Нѣмьци же дивящеся оружью Татарьскому, бѣша бо кони в личинахъ и в коярехъ кожаныхъ, и людье во ярыцѣхъ... бѣ бо конь под нимь дивлению подобенъ, и сѣдло от злата жьжена, и стрѣлы и сабля златомъ украшена... кожюхъ же оловира Грѣцкого, и круживы златыми плоскими шитъ, и сапози зеленого хъза шити золотом».[1]

По существу, отдельную яркую повесть представляет рассказ об основании и строительстве новой столицы Галичины города Холма. Начинается она с сообщения о пожаре города, случившегося от небрежения с огнем некой окаянной бабы, а продолжается удивительным гимном красоте местоположения Холма и его сооружений. Летописцу кажется, что сам Бог надоумил Данила возвести этот город: «Холмъ бо городъ сице бысть создань Божьимъ веленьемь. Данилови бо княжащу во Володимѣрѣ».[2] Некий хитрец украсил окна церкви св. Иоанна, входящие в алтарь, римскими стеклами, то есть витражами, а ее двери «каменьем Галичкым бѣлымъ, и зеленымъ Холмъскымъ тесанымъ». Хитрец Авдей создал узоры и, по-видимому, образы Спаса и св. Иоанна, «якобы всимъ зрящим дивитися бѣ». Из Киева были принесены иконы и колокола. В центре города была возведена из белого камня башня, по поводу которой летописец замечает: «Убѣлена яко сыръ». Еще одна церковь с алтарем св. Дмитрия была украшена столпом «поприща», на котором изваян орел. Летописец скорбит, что всю эту красоту погубил в одночасье огонь. По силе выразительности эта небольшая повесть о Холме не уступает знаменитому описанию построек, возведенных в Боголюбове и Владимире, содержащемуся в «Повести об убиении Андрея Боголюбского».

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 814.

[2] Там же. Стб. 842.

Может показаться, что все эти повести написаны разными авторами, однако стилистические особенности всего текста не дают оснований для такого утверждения. Перед нами цельный текст, принадлежащий единому летописцу. В основе своей это, конечно, хроника событий, происшедших в Галицко-Волынской Руси и сопредельных странах. В отличие от предыдущих текстов, написанных светскими авторами, заключительная часть летописца определенно принадлежит духовному лицу. В ней практически нет ни одной статьи, где бы рассказ о том или ином событии не сопровождался молитвенным обращением к Богу.

Перед тем как отправиться в ставку Батыя, Данило посетил Выдубицкий монастырь, где братия сотворила о нем молитву. «И пришед в домъ архистратига Михаила, рекомый Выдобичь, и созва калугеры и мниские чинъ и рекъ игумену и всеи братьи да створять молитву о немь, и створиша, да от Бога милость получить, и бысть тако, и падь пред архистратигомъ Михаиломъ».[1] После возвращения из чешского похода Данило «приде во град Холмь сь честью и со словаю в домъ Пречистоѣ, падъ поклонися, и прослави Бога». Когда же в Холм прибыл и брат Василько, князья отправились «в дом святаго Ивана во городѣ Холмѣ с весельемь, славя Бога и Пречистую его Матерь, святаго Ивана Златоуста».[2]

По существу, все успехи Данила в военных походах летописец объясняет заступничеством Бога, его помощью. Рассказав о победе Данила и Льва (статья 1256 г.) над ятвягами, он обращается к святому письму и приводит такие слова. «Яко же пишеть во книгахъ, нѣсть в силѣ брань, но в Бозѣ стоить побѣда».[3] Из следующего победного похода против ятвягов (статья 1257 г.) Данило возвратился в землю свою «Божьею милостью». Бог помогает Данилу достичь победы над его врагами. «Богъ буди помощник ти». Бог награждает его мужеством: «От Бога мужьство ему показавшу». Богом же дается ему дань с побежденных народов: «Богомъ же дана ему дань».

Летописец прославляет Данила за строительство им Божьих храмов. Особенно он восторгается созданием в городе Холме церкви во имя Пресвятой Приснодевы Марии, которая величеством и красотою не уступала древним храмам. Она была украшена «пречудными иконами», а также необычной чашей, принесенной из Венгрии. «Принесе же чашю от земля Угорьскыя, мрамора багряна, изваяну мудростью чюдну, и змиевы главы бѣша округъ ея».[4] В городе Мелнице Данило пообещал

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 806.
[2] Там же. Стб. 826.
[3] Там же. Стб. 833.
[4] Там же. Стб. 846.

украсить икону, которая находилась в церкви Святой Богородицы. Об особых его заслугах в строительстве Холма и его Божьих храмов речь уже шла выше.

Из сказанного следует, что заключительная часть Галицкого Летописца является не чем иным, как Холмской владычной летописью. В. Т. Пашуто полагал, что этот свод был составлен в начале 60-х годов XIII в. епископом Иваном, с чем вполне можно согласиться.[1] В пользу такого предположения, возможно, свидетельствует обильное присутствие имени епископа в тексте свода, причем в одном случае с эпитетом «блаженный», а также особое отношение пишущего к святому Иоанну Златоусту. Облюбовав место для строительства города Холма, Данило пообещал Богу и Ивану Златоусту, что создаст в нем в его имя храм. Вслед за этим летописец рассказывает о церкви св. Ивана «красной и лѣпой». При строительстве Холма Данило увидел «яко Богъ помощникъ ему и Иванъ спѣшникъ ему есть».[2] После чешского похода, о чем уже шла речь выше, Данило славил не только Бога и Пречистую его матерь, но и Иоанна Златоуста. Таким образом, усилиями епископа Ивана святой Иоанн Златоуст стал покровителем новой столицы Галичины города Холма.

Определить точное время написания свода практически невозможно. Предположение В. Т. Пашуто о 60-х годах XIII в. не имеет твердой опоры. Наблюдение над текстом не указывает на то, что весь он составлен задним числом. Наоборот, в ряде мест вполне определенно чувствуется рука современника событий. Его сведения всегда подробны, наполнены именами участников военных кампаний, маршрутами походов, названиями городов, оказавшихся в районе военных действий.

В пользу хроникального характера заключительной части Летописца Данила свидетельствует и то обстоятельство, что он обрывается на полуслове. Если бы свод писался спустя много лет, летописец, несомненно, сумел бы придать ему завершенную смысловую и литературную форму. Правда, среди летописеведов бытует мнение, что обрыв этот следует объяснять элементарной утратой текста. В принципе ничего невероятного в таком предположении нет. И все же в данном случае больше аргументов за то, что заключительный свод просто не был завершен. Он обрывается не только на полуслове, но и на полустроке. Что помешало летописцу до конца выполнить свою работу, сказать трудно. Не исключено, что причиной этому могла быть его кончина. Никаких определенных данных на этот счет у нас нет, однако, если принять

[1] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 92 и сл.
[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 843.

во внимание, что после 1261 г. (по хронологии М. С. Грушевского, после 1259 г.) имя холмского епископа Ивана исчезает со страниц летописи, мысль эта не покажется совсем безосновательной.

Подводя краткий итог исследованию Летописца Данила Галицкого, следует сказать, что вопреки утвердившемуся в литературе мнению о его галицком происхождении, в действительности он больше волынский. К творчеству галицких авторов можно отнести лишь летопись Мстислава Мстиславича, частично повесть «Побоище Батыево», а также заключительную часть Летописца, написанную в Холме епископом Иваном. Весь остальной текст, несомненно, принадлежит владимирским книжникам. Поэтому Летописец Данила справедливее было бы именовать Волынско-Галицкой летописью.

Вторую часть Галицко-Волынского летописания за XIII в. представляет собственно Волынская летопись. Она небольшая по объему, менее значима по охвату крупных политических событий общерусской и европейской истории, но жанрово мало чем отличается от Летописца Данила. Если там внимание летописца концентрировалось преимущественно на одном герое — Даниле Галицком, то здесь таких героев три: Василько Романович, его сын Владимир Василькович, а также Мстислав Данилович. Каждому из них посвящена своя небольшая летопись, что и позволило исследователям выделить в Волынской летописи три отдельные части.[1]

Некоторые историки продолжают отыскивать в ней литературные повести, но это скорее дань традиции, чем выяснение объективной реальности. Волынская летопись изначально писалась как хроника княжеских правлений, а не составлялась впоследствии из самостоятельных литературных повестей. Близкую мысль высказал Н. Ф. Котляр, что, впрочем, не помешало ему разложить и Волынскую летопись на отдельные повести: «О Бурундеевой рати», «О взаимоотношениях с Литвой», «О болезни и смерти Владимира Васильковича».[2]

Думается, на повесть, да и то с определенными оговорками, тянет только пространный рассказ о литовском князе Войшелке. Он также не цельный, хронологически и сюжетно сбивчивый, но, если его освободить от побочных сюжетов, все же может претендовать на драматическую повесть. Конечно, летописец не писал ее специально, она у него получилась сама собой при освещении взаимоотношений Литвы и Галицко-Волынских земель. Его не могла не заинтересовать необычная история литовского князя, который сначала был неистовым язычником, затем благочестивым православным монахом, позже князем всей

[1] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 101 и сл.
[2] *Котляр М. Ф.* Галицько-Волинський літопис... С. 115–145.

Литвы, который добровольно отказался от власти, вновь ушел в монастырь и был убит Львом Даниловичем на обеде во Владимире Волынском у князя Василька (статья 1268 г.).

Знакомство с драматической историей Войшелка показывает, что она в определенной мере смоделирована автором с портрета Владимира Святославича. В язычестве Войшелк кровожадный убийца: «В поганьствѣ буда, и нача проливати крови много, убивашеть бо на всякъ день по три по четыре, которого же дни не убьяшеть кого, печаловашеть тогда, коли же убьяшеть кого, тогда веселъ бяшеть».[1] Затем в душу его вошел Божий страх, он принял крещение и постригся в монастырь: «Посем же вниде страхъ Божий во сердце его, помысли в собѣ, хотя прияти святое крещение, и крестися ту в Новѣгородьцѣ и нача быти во крестьянствѣ».[2]

Конечно, неординарная личность Войшелка интересна летописцу не сама по себе, а в связи с ее интегрированностью в русскую историю. Начинал Войшелк карьеру как князь русского города Новогрудка, состоял в родстве с Шварном Даниловичем (за которого выдал свою дочь), крещение принял по православному обряду, был постриженником русских монастырей и, наконец, передал литовский княжеский стол своему зятю Шварну. Но, может быть, самым существенным, что хотел подчеркнуть летописец в этой истории, было наставническое участие в жизни Войшелка Василька Романовича. В разных местах рассказа летописец замечает, что волынский князь был для Войшелка господином и отцом одновременно. «Войшелкъ же нареклъ и бяшеть Василка, аки отца собѣ и господина».[3]

Эта фраза была произнесена после сообщения о смерти Данила Галицкого, но уже и при жизни его летописец выдвигает Василька на первое место. Он смело принимает вызов Бурундая и отправляется к нему в ставку, не будучи уверен в том, что там ему не срубят голову. Проявляет хитрость под стенами Холма, благодаря которой холмцы поняли его обращение о сдаче города Бурундаю как наказ не открывать ворота. Наносит сокрушительное поражение литовскому князю Миндовгу, вторгшемуся на Волынь, чтобы отмстить Василько за его участие в походе Бурундая на Литву.

По-другому выглядит поведение Данила. В ставку к Бурундаю он не поехал, но послал владыку Ивана. Когда же узнал, что Василько и епископ были подвергнуты там унижениям, решил и вовсе бежать из Холма. «Данилови же убоявшуся, побѣже в Ляхы, а из Ляховъ побѣже во

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 858.
[2] Там же. Стб. 858–859.
[3] Там же. С. 863.

Угры».[1] Он, разумеется, правильно предполагал, что Бурундай не простит ему непослушания и пойдет на Холм, но почему им овладело такое паническое настроение, сказать трудно. Наверное, если бы об этом событии писал летописец Данила, он сказал бы, что тот ушел собирать силы в Венгрии и Польше для отражения татар. Волынский же невозмутимо заметил, что Данило «убоявшуся побѣже».

Выдвижение Василька на ведущую роль во взаимоотношениях с татарами, а также западными соседями, при живом Даниле, можно было бы отнести на счет волынского патриотизма летописца, но, как говорится, нет дыма без огня. Сказанное, по-видимому, соответствовало действительности. Жизненные силы покидали Данила Галицкого. Как пишет летописец в статье 1264 г.: «Король бяшеть тогда впалъ в болесть велику».[2] Об отсутствии предубеждения к Данилу со стороны волынского летописца свидетельствует и сообщение о его смерти. Некролог небольшой, но вполне уважительный. В нем отмечены заслуги князя-короля в создании городов и храмов, подчеркнуты его храбрость и мудрость, участливое отношение к Васильку. Летописец не удержался от сравнения Данила с Соломоном: «Сий же Данило бяше вторый по Соломонѣ».[3]

После смерти Данила старшим князем в Галичине и Волыни остался Василько, однако, не обладая способностями брата, да и будучи уже сам далеко не молод, он не смог остановить распад некогда единого и могучего княжества. После выполнения приказа Бурундая главные города земли были лишены укреплений и больше не представляли собой неприступных крепостей. Ощутимый урон понесла Волынь в результате проигранной битвы 1266 г. в урочище Ворота. Поляками были опустошены также Холмская и Червенская земли. Литва из союзницы при Войшелке и Шварне превратилась в источник напряжения, когда там вокняжился около 1269 г. Тройден. Не объясняя причины, летописец называет его «окаянным, беззаконным и проклятым».

Окончательно распад Галицко-Волынского княжества определился со смертью Василька Романовича около 1269 г. В сохранившемся фрагменте некролога он назван «благоверным», «христолюбивым» и «великим». Подчеркивая достоинства Василька, летописец напоминает читателю, что он не только сам великий, но и «сын великого князя Романа».

Как думал В. Т. Пашуто, летопись Василька Романовича не была оформлена в отдельный свод, хотя и не исключал того, что владимирским летописцем была начата работа по просмотру и перередактиро-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 850.
[2] Там же. Стб. 862.
[3] Там же.

ванию холмской летописи епископа Ивана.[1] Доказать это предложение сложно. Сколько-нибудь убедительных внутрилетописных свидетельств на этот счет нет, если не считать несущественных ремарок, именующих Данила королем, не имеющих хронологических определений.

Практически ничего конкретного не можем мы сказать и об авторе летописи Василька Романовича.

Вторая часть Волынской летописи является как бы органическим продолжением первой. Хотя основным ее героем является Владимир Василькович, унаследовавший владимирский стол, летописец постоянно держит в поле зрения Льва Даниловича, княжившего в Галичине, а также Мстислава Даниловича, занимавшего луцкий стол. Неизменными остались и внешние приоритеты. В качестве постоянных и не всегда дружественных контрагентов Галичины и Волыни выступали Польша, Литва, ятвяги, а также татары. Однако в отличие от времен Данила и Василька, их наследники не демонстрируют той же солидарности. Лев Данилович водил дружбу с литовским князем Тройденом, а тот находился в непримиримой вражде к Владимиру Васильковичу. Когда же Лев рассорился с Тройденом и организовал против Литвы поход многих русских князей с татарской помощью, успеха он не достиг из-за эгоизма того же Льва. В следующий поход против Литвы, для которого Ногай прислал (по просьбе Льва, Мстислава и Владимира) татарскую подмогу, Лев и вовсе не пошел. Из-за несогласованности действий, вызванных желанием Мстислава и Юрия Львовича только себе взять полон, поход этот закончился сокрушительным поражением русских дружин.

Летописец последовательно рисует негативный образ Льва Даниловича. Не удовлетворяясь тем, что имел, он постоянно провоцировал братьев на какую-либо авантюру, а затем сам же и разрушал их союз. Его попытка воспользоваться смертью Болеслава Краковского и присоединить к своему княжеству часть польских владений вызвала у летописца резкое осуждение. В антипольский поход были втянуты Владимир и Мстислав, а также татарские воеводы, но поражение в нем летописец относит только на счет Льва. «И тако возвратися Левъ назадъ с великимъ бесчестьемь» — так подытожил он статью 1280 г.

В противоположность Льву Владимир изображен в летописи как мудрый и рыцарственный князь. От него ни разу не исходила инициатива привлечения для походов против западных соседей безбожных татар. Если это было возможно, он предпочитал вообще не принимать в них участия. Об одном таком случае летописец пишет в статье 1282 г. Когда Ногай и Телебуга приказали выступить с ними на Польшу Льву,

[1] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 105.

Мстиславу и Владимиру, последний, сославшись на болезнь ноги, в поход не пошел. «Володимеръ же бяше тогда хромъ ногою, и т'ѣмь не идяше, зане бысть рана зла на немь».[1]

В следующем году Владимир принял участие в походе Телебуги на Польшу, однако, дойдя до Сандомира, повернул назад. «Ту же на Сану Володимеръ воротися от нихъ (татар. — *П. Т.*) назадъ».[2]

Летописец подчеркивает, что Владимир был верен дружбе. Когда рассорились польские князья Самовитовичи Конрад и Болеслав и последний выступил в поход на брата, Владимир принял сторону Конрада. «Володимиръ же сжаливси и расплакався, рече послу брата своего: "Брате! Богъ буди отмѣстникъ твоеи срамот'ѣ, а се я готовъ тоб'ѣ на помочь," и нача наряживати рать на Болеслава».[3] О победе Конрада и Владимира над Болеславом летописец сообщил с особой торжественностью: «Кондратъ же князь поѣха во свой городъ, вземь на ся вѣнѣчь поб'ѣдныи, и сложивъ с себе соромоту с помощью брата своего Володимера».[4]

Волынь всегда имела непростые отношения с ятвягами, однако, когда в их земле случился голод и они обратились к Владимиру с просьбой о помощи, он немедля откликнулся на нее. «Володимеръ же из Берестья посла к нимъ жито в лодьяхъ по Бугу».[5] Под городом Плоцком на волынский хлебный транспорт напали неизвестные разбойники, которые перебили русичей, а все зерно забрали. Владимир шлет грамоту Конраду и требует объяснения, поскольку этот разбой произошел под его городом. Конрад не смог доказать свое неучастие в этом злодействе, а наговор на него Болеслава спровоцировал военный поход Владимира. Дружины волынского князя прошлись по правому берегу Вислы, захватили большой полон и вернулись домой. Вскоре, однако, выяснилось, что Конрад к грабежу действительно не причастен, и между князьями восстановился мир. Владимир вернул ему челядь, «што была рать повоевала», а затем, о чем шла речь выше, и вступился за оклеветанного союзника.

Летописца особенно восторгает созидательная деятельность Владимира. Мысль о строительстве нового города была вложена ему в сердце самим Богом: «Посемь вложи Богъ во сердце мысль благу князю Володимирови, нача соб'ѣ думати, абы кде за Берестьемь поставити городъ».[6] Свой замысел он поручает реализовать городнику Алексе,

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 888.
[2] Там же. Стб. 893.
[3] Там же. Стб. 883.
[4] Там же. Стб. 886.
[5] Там же. Стб. 879.
[6] Там же. Стб. 875.

который поставил много городов еще при отце Васильке. Вскоре на облюбованном Алексой и самим князем месте на берегу реки Лосны был срублен город Каменец. Конечно, это не было рядовым событием. В условиях, когда укрепления вокруг старых городов были разрушены по приказу Бурундая, строительство новых укреплений расценивалось современниками как возрождение могущества земли. Не случайно летописец вспоминает времена Романа Мстиславича и полагает, что «нын'ѣ же Богъ воздвигну ю (землю. — *П. Т.)* милостью своею».[1]

Высшей степени идеализации образ Владимира получает в рассказе о его болезни и смерти. Здесь князь возводится в ранг чуть ли не святого. Будучи тяжело больным, он завещает свое княжество Мстиславу Даниловичу. Выбор свой объяснил тем, что из трех князей (Лев, его сын Юрий и Мстислав) только Мстислав не имел гордыни. Чтобы не было каких-то двусмысленностей, завещание свое Владимир огласил в присутствии князей Льва Даниловича, Юрия Львовича, а также татарских воевод Телебуги и Алгуя. Вместе с землей он вручил Мстиславу и заботы о своей жене Ольге, а также приемной дочери Изяславе, которым определил во владение город Кобрин «с людьми и съ данью, како при мн'ѣ даяли, тако и по мн'ѣ, ать дають княгин'ѣ», село «свое Городелъ», а также монастырь святых Апостолов, который «создахъ своею силою», и купленное для него село Березовичи. Оба распоряжения Владимира были оформлены письменно в двух грамотах, на чем Мстислав целовал крест.

После сделанных завещаний Владимир прожил еще четыре года. Он уже не управлял княжеством, но сохранял положение морального авторитета среди Романового потомства. Мстислав почитал его как отца и господина, Юрий Львович просил заступничества перед своим отцом, Лев Данилович посылал к Владимиру епископа перемышльского Мемнона с просьбой уступить ему город Берестье.

Незадолго перед смертью Владимир начал раздавать нуждающимся свое добро. Золотые и серебряные вещи были переплавлены на гривны и в качестве милостыни разосланы по всей земле. Кони из княжеских табунов розданы тем, кто пострадал от нашествия Телебуги. Княжеская щедрость названа летописцем дивной, дошедшей до сирот, болящих и вдовиц.

Еще более возвышенная характеристика Владимира содержится в его посмертном панегирике. Летописец не жалеет эпитетов, чтобы прославить своего князя. Похороны его превратились в сплошной плач владимирцев: «плакашася по немь Володимерчи, поминающе его добросердие до себе, паче и слуги его плакахуся по нем слезами обливаю-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 876.

ще личе свое».[1] Летописец сравнивает Владимира с его знаменитым дедом, который освободил людей от всех обид, а также с зашедшим солнцем. «Ты же бяше господине сему поревновалъ и наслѣдилъ путь дѣда своего, нынѣ же господине уже к тому не можемь тебе зрѣти, уже бо солнче наше заиде».[2] Летописец воздает хвалу умершему князю за его ум (называя великим философом), за храбрость, кроткость и смиренность, любовь к монастырям, чернецам и черницам, за то, что был всем «яко возлюбленный отець». Кажется, нет таких добрых слов, которые бы не были использованы в панегирике, однако оказалось, что летописец сказал о Владимире не все. После заключительных слов об «Отце и Сыне, и Святом Духе» он начинает новую похвалу умершему князю. На этот раз славит его за то, что тот срубил в своем княжении многие города, построил церкви и украсил их иконами и книгами, списал несколько списков апракоса и евангелия и передал их в различные города. К числу богоугодных дел Владимира летописец относит росписи всех трех алтарей церкви св. Георгия в Любомле, которые ему не удалось окончить из-за болезни, а также сооружение каменной башни в Берестье.

Для признания Владимира святым не хватало только чуда, но летописец сообщает и о нем. Когда княгиня и епископ Евсигний по прошествии времени открыли гроб, то оказалось, что княжеское тело, пролежавшее с 11 декабря 1288 г. по 6 апреля 1289 г., совершенно не тронуто тленом, но лежало бело и издавало «аромат многоценный». Увидя такое чудо, все присутствовавшие в церкви святой Богородицы прославили Бога и «замазаша гроб его, месяца априля в 6 день, в среде страсное недели».[3] Странно, что все это так и не послужило основанием для канонизации Владимира Васильковича Русской православной церковью.

Перед нами, безусловно, один из лучших панегириков, которые когда-либо создавались русскими летописцами. Он обладает незаурядными литературными достоинствами, хотя и производит впечатление определенной вторичности, сотканности из уже имеющихся аналогичных жанровых образцов. В некрологе использованы клише, особенно характерные для Киевской летописи XII в. К их числу относится выражение: «Сии же благовѣрний князь Володимѣръ, возрастом бѣ высокъ, плечима великь, лицемь красенъ».[4] Из некрологов летописца Моисея князьям Ростиславичам взяты слова: «И приложися ко отцемь своим и дьдомъ, отдавъ общии долгъ его же нѣсть убѣжати всякому роженно-

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 919.
[2] Там же. Стб. 920.
[3] Там же. Стб. 927.
[4] Там же. Стб. 920.

му».[1] Говоря о Мстиславе как наследнике Владимира, летописец заимствует пространную цитату из «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона: «Иже нескончанаа твоя учиняюща, аки Соломонъ Давыда...».

Следует отметить, что некролог не единственное место, где волынский летописец воспользовался творчеством своих киевских коллег. По существу, вся Волынская летопись наполнена парафразами из киевского летописания. Особенно полюбилось владимирскому книжнику выражение «Но мы на предлежащее возвратимся», к которому он прибегает всякий раз, как только ему нужно вернуться к прерванному рассказу. Узнаваемы также слова: «Начаша веселитися, видяще бо вороги своя избиты, а своя дружина вся чѣла».[2] Так когда-то радовался черниговский князь Мстислав Владимирович, после осмотра поля Лиственской битвы. Изобретением киевских церковных летописцев является и выражение: «Дьяволъ же искончѣи не хотя добра человеческому роду». Рассказ о Владимире Васильковиче как философе и книжнике, «якого же не бысть во всеи земли, ни по нем не будет», перекликается с характеристиками митрополита Клима Смолятича, который «бысть книжникъ и философь, такъ яже в Рускои земли не бяшеть»,[3] а также митрополита Иоанна, о котором летописец сказал, что «сякова не бысть преже в Руси, ни по нѣмъ не будеть такии».[4] Из ранних летописцев позаимствовано и характерное обращение к Богу, начинающееся словами: «Вижь мое смирение».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что владимирский автор при написании Волынской летописи имел под руками полную Киевскую летопись, а также «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, которые он хорошо знал и широко использовал в своем труде. Конечно, имея перед глазами столь совершенный летописный образец, он не мог удержаться от подражания. И писал он, разумеется, не повести, а обыкновенную хронику событий, происходивших на Волыни, в Галичине и сопредельных странах в годы княжения Василька Романовича и Владимира Васильковича.

Подробное, почти протокольное описание многих событий указывает на то, что сведения о них составлены современниками и очевидцами. В ряде мест летописи об этом говорится вполне определенно. Так, в рассказе о гибели орды Телебуги (статья 1283 г.) во время возвращения из венгерского похода читаем: «И умре ихъ бещисленное множество,

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 918.
[2] Там же. Стб. 856.
[3] Там же. Стб. 340.
[4] Там же. Стб. 200.

самовидчи же тако рекоша».[1] При описании похода того же Телебуги к Владимиру Волынскому в следующем году летописец также пользуется информацией очевидцев. «Телебуга же еха обзирать города Володимѣря, а друзии млѣвятъ, оже бы и в городѣ былъ, но то не вѣдомо».[2] Нет сомнения, что очевидцы не только изустно рассказывали о событиях, в которых им довелось принимать участие, но и составляли о них подробные записи, которые затем были использованы сводчиком при составлении Волынской летописи.

Когда-то М. С. Грушевский, пытаясь определить, кем был летописец Владимира Васильковича, пришел к выводу, что перед нами не воин, а штатский человек.[3] В. Т. Пашуто склонен был отождествлять его с духовным лицом, близким епископу Евсигнию.[4] Думается, оба предположения не точны. Летописец был не совсем «штатским лицом», он, несомненно, принадлежал к духовному сословию. Об этом со всей определенностью говорит текст летописи, содержащий в изобилии церковную фразеологию. Летописец постоянно обращается к Богу, объясняя успехи в сражениях и других делах заступничеством его и Матери Божьей, а поражения наказанием, посланным «за грехи наша». Когда Телебуга не смог взять города Владимира, летописец заметил, что это «Богъ избави его своею волею». Нашествие окаянного и беззаконного Ногая на Львов летописец объясняет казнью Божьей. «Се же наведе на ны Богъ грѣхъ ради нашихъ, казня ны, а быхом ся покаялѣ злыхъ своих безаконьныхъ дѣлъ».[5]

Иногда то или иное событие вызывает у летописца ассоциации из мировой истории, описанные в священных книгах. Рассказав о дивных щедротах князя Владимира, раздавшего перед смертью свои богатства «нищим и убогим», летописец заметил, что все творящие милость слышат «глас Господень ко Вьходъносору царю». Беседы князя с епископами и игуменами «от книгъ о житьи свѣта сего тлѣньнаго» напомнили ему деяния великого Константина, который вместе со святыми отцами Никейского собора «законъ человекомъ полагающе».[6] Немощь князя Владимира, вызванная неизлечимой болезнью, сподобила летописца назвать князя вторым Иовом: «И наставши зимѣ, и зубы исподнии выгниша вси, и челюсть бородная перегни, се же бысть вторыи Иевъ».[7]

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 891.
[2] Там же. Стб. 892.
[3] *Грушевський М.* Історія української літератури. Т. 3. С. 181, 201.
[4] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 129.
[5] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 894.
[6] Там же. Стб. 915–916.
[7] Там же. Стб. 916.

Сказанное выше свидетельствует о широкой церковной образованности и эрудиции автора летописи Владимира Васильковича. Трудно предположить, чтобы ею обладал простой штатский писец или какой-то благочестивый монах. Незауряден и литературный талант летописца, для которого занятие исторической письменностью было, по-видимому, привычным делом. Еще одной характерной чертой автора летописи является его безоговорочная преданность своему князю. Из лиц ближайшего окружения Владимира на эту роль, как кажется, наиболее подходит владимиро-волынский епископ Евсигний. Он был соратником и особо доверенным лицом волынского князя. Ему поручил Владимир вести переговоры с Мстиславом о передаче Владимирского княжества. Только он был посвящен во все княжеские мысли и сомнения. Евсигний отпевал Владимира в церкви Св. Богородицы, он же открывал его гроб вместе с княгиней в апреле 1289 г. Учитывая, что все эти события необычайно подробно изложены в летописи, а епископ Евсигний предстает в них как ключевая фигура, можно предположить, что именно ему и принадлежат все эти описания.

Летопись Владимира была завершена уже во время единоличного правления на Волыни Мстислава Даниловича. Об этом свидетельствует текст некролога Владимиру, в котором автор не только скорбит по умершему господину, но и обращается к нему с просьбой молиться «о земли брата своего, преданиа ему тобою», а также и о самом Мстиславе: «Паче же помолися о братѣ своем Мьстиславѣ добрыми дѣлы».[1]

Заключительная часть Волынской летописи озаглавлена как «Начало княжения великого князя Мьстислава в Володимерѣ», однако является фактически не особой летописью, а продолжением старой. Ни содержательно, ни стилистически новый текст не отличается от предыдущего. Можно думать, что он написан тем же летописцем, который составил и летопись Владимира.

Примечательно, что у Мстислава, как и у Владимира, особо доверенным лицом продолжал оставаться владимиро-волынский епископ. Ему поручал князь провести переговоры с Львом Даниловичем по поводу захвата его сыном Юрием волынского города Берестья. Выбор епископа для этой цели не случаен, поскольку он являлся не только высшим духовным авторитетом земли, но и был наиболее осведомленным свидетелем того, что Владимир передал Мстиславу «землю свою всю». В конце концов конфликт был улажен. Юрий оставил Берестье и вернулся в свой Белз, а Мстислав, разгневанный на берестейцев, обложил их за крамолу княжеской податью.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 923–924.

После рассказа об улаживании конфликта с Юрием Львовичем летописец вновь подчеркивает, что Мстислав является приемником Владимира на волынском столе. В стиле характеристики предшественника, он представлен летописцем как добрый пастырь земли, с любовью относящийся к боярам, а также рассудительный и мудрый правитель, умевший жить в мире «с околными странами: с Ляхы и Нѣмцы, с Литвою».[1]

Заметно изменилось в этой части летописи отношение к Льву Даниловичу, авантюры которого как будто больше не раздражали летописца. Наоборот, он с воодушевлением замечает, что из польского похода князь вернулся «с честью великою и со множествомъ полона». Однако благожелательное отношение летописца к Льву, как справедливо считал В. Т. Пашуто, не позволяют говорить о наличии здесь каких-то фрагментов его летописи. Уточнение летописца, что «Лев князь, брат Мстиславль», однозначно противоречит такому предположению.[2]

Завершается сохранившийся фрагмент Мстиславовой летописи сообщением о том, что Мстислав создал гробницу каменную «надъ гробомъ бабы своеи Романовои» и заложил в Черторыйске «столпъ комен», а также информацией о смерти князей пинского Юрия Владимировича и степанского Ивана Глебовича.

Подводя краткий итог исследованию Галицко-Волынской летописи XIII в., следует отметить, что несмотря на жанровую специфичность, выражающуюся преимущественно в повестевой манере изложения событий в Юго-Западной Руси, она представляет собой все же не литературное, а историческое произведение. Вряд ли правомерно утверждать, что волынские и галицкие книжники намеренно сочиняли повести, которые позже, усилиями редакторов-сводчиков, были объединены в последовательную хронику. Они, несомненно, писали летописи, а повести у них получались сами собой, в зависимости от литературного мастерства. Подобное явление характеризует не только галицкое и волынское, но и летописание других земель Руси. Наличие в Галицко-Волынской летописи заимствований из Киевской, о чем речь шла выше, свидетельствует о том, что летописцы Юго-Западной Руси в целом продолжили общедревнерусскую традицию летописания.

---

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 933.

[2] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси... С. 132.

Вместо заключения

В завершение предложенного исследования древнерусского летописания X–XIII вв. хотелось сделать еще несколько дополнительных замечаний.

Первое касается жанрового отнесения наших древнейших летописей. Они написаны настолько образным и живым языком, наполнены таким количеством повестей и сказаний, что невольно складывается впечатление об их литературном характере. На определенном этапе обращения к ним отечественных историографов литературоведческий аспект исследований определенно преобладал над историческим. Наиболее выраженным такой филологический подход к летописям имел место в творчестве А. А. Шахматова. М. Д. Приселкову он казался неадекватным главному содержанию летописей и он призывал вывести их из круга памятников литературы в круг памятников истории.[1] Сам он относился к летописным сводам как к историческим хроникам, а также как к одной из форм общественного сознания.

Призыв М. Д. Приселкова не вполне был «услышан» последующими исследователями летописей. Д. С. Лихачев предпослал изданной в 1950 г. «Повести временных лет» обстоятельный историко-литературный очерк, в котором летопись Нестора предстала перед читателем как историческое и литературное произведение.[2]

Наверное, такой подход справедливо может быть распространен и на последующее летописание древнерусского периода. Конечно, летописные своды это прежде всего исторические хроники, авторы которых выполняли определенный социальный заказ не только своих властителей, но и времени, в котором они жили. Однако, будучи людьми образованными, летописцы не ограничивались сухой исторической документалистикой, а выходили на обобщения, образные сравнения, церковно-назидательные поучения, что неизбежно уводило их в сопредельный литературный жанр.

---

[1] *Приселков М. Д.* История русского летописания... С. 6–7, 13–14.

[2] *Лихачев Д. С.* Статьи и комментарии. Повесть временных лет. Ч. 2. М.; Л., 1950. С. 5–148.

Таким образом, древнерусские летописи, писавшиеся как исторические хроники, в конечном итоге предстали перед читателями и как литературные произведения. Проблема летописей заключается не в жестком определении жанровых особенностей, а в подходе к их изучению. Филологи закономерно будут отдавать предпочтение литературоведческим аспектам исследования, тогда как историки всегда будут заняты поиском в них документальной первоосновы.

Преимущественно этим и был озабочен автор в данном исследовании. Внимательный читатель, несомненно, обнаружит его поправки и уточнения к выводам предшественников, а также и совершенно новые взгляды на те или иные проблемы летописания, расходящиеся с устоявшимися в литературе и обретшими хрестоматийную непреложность. Наверное, не все они в равной мере полно и убедительно аргументированы, однако автор надеется, что его труд не окажется лишним в кругу специальных летописеведческих исследований и будет содействовать лучшему постижению исторической письменности Руси X–XIII вв.

Второе замечание относится к проблеме так называемого «очищения» первоисточников. Занятие это, с одной стороны, необходимое, а с другой, — чрезвычайно трудное и ответственное. В свое время Н. И. Костомаров, пытаясь восстановить на основании Сильвестрового летописного свода 1116 г. первоначальную «Повесть временных лет», писал: «Восстановить эту древнюю повесть было бы возможно до некоторой степени, но это было бы дело скорее художественное, чем ученое; и восстановителю пришлось бы руководствоваться скорее художественным тактом, чем учеными доводами».[1]

А. А. Шахматов, как известно, не прислушался к такому предостережению и «восстановил» несколько сводов: Древнейший Киевский 1039 года, Новгородский 1050 г. с приложениями до 1079 г., Начальный киевский, а также «Повесть временных лет» в ее первой редакции.[2] Впоследствии попытки реконструкций летописей предпринимали М. Д. Приселков, Б. А. Рыбаков, М. Ю. Брайчевский и др.

Конечно, историки не могут относиться к летописному источнику с абсолютным доверием, как к священному писанию, без попыток его критического анализа. И совершенно определенно ни один летописный свод не дошел до нашего времени в своей первоначальной редакции. Однако документальное восстановление этих протографов практически невыполнимо. В конце концов к этому пришел и А. А. Шахматов. «Предыдущее исследование, — утверждал он, — показало, что основ-

[1] *Костомаров Н. И.* Лекции по русской истории... С. 35.

[2] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. Пг. 1916.

ная (первая) редакция "Повести временных лет" не может быть восстановлена при теперешнем состоянии наших знаний. Текстуальное восстановление второй (Сильвестровской) и третьей (Киевопечерской) редакций, каждой в отдельности, представляется вообще весьма затруднительным».[1]

Не слишком уверенным в выполненной работе по реконструкции Троицкой летописи был и М. Д. Приселков. Эта работа, писал он, оказалась далеко не столь «благодарной», как высказывался о ней, призывая к этой работе «будущих» исследователей, А. А. Шахматов.[2] О том, что подобные реконструкции дело «скорее художественное, чем ученое» со всей очевидностью продемонстрировал в последнее время М. Ю. Брайчевский, восстановивший так называемую «Летопись Аскольда».

Опасность таких реконструкций заключается в том, что исследователи воссоздают не действительную, а во многом воображаемую реальность. Опираться на них серьезные исследователи, разумеется, все равно не будут, а не подготовленного читателя они могут сбить с толку.

И еще одно замечание, касающееся идейного аспекта отечественного летописания. Конечно, летописцы, о чем уже шла речь, не были беспристрастными бытописателями. Их пером управляли не только рассудок, но и чувства. И тем не менее было бы большой ошибкой видеть в них услужливых княжеских чиновников, переписывавших всякий раз историю по заказу и в угоду своих сюзеренов. Сводческая работа вызывалась в первую очередь необходимостью пополнения летописей новыми свидетельствами, почерпнутыми из рассказов очевидцев или записей коллег из других древнерусских центров. Идеологические предпочтения, разумеется, также имели место, но они никогда не приводили к искажению правды предыдущего летописания. Одна из основных ценностей русских летописей и заключается в том, что они дошли до нас не в приглаженном последними сводчиками виде, а в многоголосии их авторов, трудившихся на протяжении более чем трехсот лет в различных городах и землях Руси.

Последнее замечание относится к проблеме соотношения столичного киевского и областного поземельного летописаний. Изучение летописных сводов показывает практическую их однородность, вызванную тем, что, зародившись в Киеве, традиция исторической письменности перенеслась затем в другие русские центры. Нередко это осуществлялось посредством переселения из столицы Руси мудрых киевских книжни-

[1] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет... С. LVIII.

[2] *Приселков М. Д.* Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 46.

ков. Среди них можно назвать Добрыню в Новгороде, епископа Сильвестра в Переяславле, Кузьмище Киянина и епископа Симона во Владимиро-Суздальской земле, Тимофея в Галичине и Новгороде.

Определяющее влияние на областное летописание оказала «Повесть временных лет» Нестора. От нее удельные летописцы унаследовали прогрессивную идею народного и государственного единства, которую утверждали в своих хрониках. Характерно, что они, сосредоточиваясь в XII–XIII вв. все больше на событиях в своих землях, одновременно внимательно отслеживали то, что происходило в Киеве, и старательно вписывали в свои хроники известия о нем. Этим летописцы напоминали своих удельных властителей, которые, с одной стороны, фрондировали с центральной великокняжеской властью, а с другой — жили заветной мечтой занять киевский стол и поэтому принимали активное участие в судьбе древней столицы Руси.

Именной указатель

А

Абрамович Д. И., филолог 51, 63
Авель, библ. 192
Авдей, каменных дел мастер 258
Агафья, жена Олега Святославича 147
Адрианова-Перетц В. П., филолог 122, 126
Алекса, городник волынский 265–266
Алексей IV Ангел (Александр), имп. византийский 185–186
Александр, имп. византийский 15
Александр IV, папа римский 256
Александр (Олександр) Всеволодич, князь белзский, сын Всеволода Мстиславича 234–235, 239–240
Александр Ярославич (Невский), кн. новгородский, сын Ярослава Всеволодича 253
Александр Попович, предп. участник Калкской битвы 166
Алгуй, хан ордынский 256
Алешковский М. Х., археолог, историк 75, 164, 186
Амбал (Анбал), ключник, убийца кн. Андрея Боголюбского 123
Анастас Корсунянин, настоятель Десятинной церкви 28–29, 31, 44
Андрей, апостол 16, 22–23, 58–59
Андрей, боярин, дворский галицкий 225, 250–252
Андрей, наместник кременецкий 256
Андрей, кн. галицкий, король венгерский 231–233, 240–241, 244
Андрей Владимирович, кн. владимиро-волынский, переяславльский, сын Владимира Мономаха 91, 101–102, 104–105
Андрей Юрьевич (Боголюбский), кн. суздальский, сын Юрия Владимировича 110, 112–113, 117–127, 141, 155, 160, 197, 202, 204–210, 217, 219–220, 257

Андроник I Комнен, виз. император 153
Андриан, епископ белгородский и юрьевский 129–130
Анкюлина, св. Великомученица 132, 142
Анкюндин, архимандрит Киево-Печерского монастыря 168
Анна, византийская принцесса, жена Владимира Святославича 28
Анна, жена вел. кн. Рюрика Ростиславича 140
Анна (Романова), жена кн. Романа Мстиславича 225, 229–230, 271
Анна, дочь Мстислава Удалого, жена Данила Галицкого 234, 236
Антоний Печерский, игумен Киево-Печерского монастыря 37, 63, 65–66, 73
Антоний, архиепископ новгородский 186, 188–189
Антонович В. Б., историк 226
Аркадий, архиепископ новгородский 184, 190
Арсений, игумен Космодемьянского монастыря во Владимире-Волынском 124
Аскольд, князь киевский 11–13, 16–17, 26, 30, 77
Артемий, епископ галицкий 250
Афанасий, игумен Васильевского монастыря в Киеве 168

Б

Батый, хан монголо-татар 171, 173, 223, 247–248, 251, 254–256, 259
Бела IV, король венгерский 238, 242, 256
Беловолод Просович, боярин новгород-сиверский 135–136
Бередников Я. И., археограф 8
Бережков Н. Г., историк 8–9, 144
Бестужев-Рюмин К. Н., историк 16, 98–99, 106, 121, 158, 163, 223, 227
Бодянский О. М., историк 10
Болеслав I Храбрый, король польский 34, 37–38
Болеслав II Смелый, король польский 38
Болеслав Самовитович, князь мазовецкий 224, 248, 250–251, 253, 255, 264–265
Боняк, хан половецкий 48, 92, 94, 148
Борис, см. Святослав Олегович 148
Борис Владимирович, кн. ростовский, сын Владимира Святославича 32–34, 54, 61, 63–64, 75–76, 116, 119, 121, 123, 125, 177, 179–180, 192, 208
Борис Вячеславич, князь тмутараканский, внук Ярослава Мудрого 45, 55

Борис Захарьевич, тысяцкий киевский 114
Борис Давидович, князь друцкий, сын Давида Святославича 150
Брайчевский М. Ю., археолог, историк 12, 273–274
Бугославский С. А., историк 61, 64
Бугурбас, хан половецкий 94
Бурундай, воевода татарский 223–225, 257, 262–263, 266

В

Варлаам, игумен Киево-Печерского монастыря 65, 73
Василий, монах киевский, летописец 77–79
Василий Великий, св. архиепископ 85
Василий I, император византийский 15
Василько Гаврилович, боярин владимиро-волынский 234, 240
Василий Глебович, боярин галицкий 252
Василий Константинович, кн. ростовский, сын Константина Всеволодича 214, 216
Василий (Василько) Романович, кн. волынский, сын Романа Мстиславича 163, 225, 230, 232, 234, 239–240, 244, 246, 248–252, 254, 257, 261–264, 266, 268
Василий (Василько) Ростиславич, кн. теребовльский, сын Ростислава Владимировича 57, 77–80
Владимир Андреевич, кн. дорогобужский, сын Андрея Владимировича 111, 115
Владимир Василькович, кн. волынский, сын Василька Романовича 223–225, 254, 261, 264–270
Владимир (Володимирко) Володаревич, князь галицкий, сын Володаря Ростиславича 105–106, 108–109, 194, 226
Владимир Всеволодич Мономах, князь смоленский, черниговский, переяславльский и киевский, сын Всеволода Ярославича 48–55, 74–75, 77–97, 101–103, 108, 110, 117–118, 194, 219
Владимир Всеволодич, кн., сын Всеволода Юрьевича 155–156, 215–216
Владимир Глебович, кн. переяславльский, сын Глеба Юрьевича 98, 152, 198–200, 220
Владимир Игоревич, кн. новгород-сиверский, сын Игоря Святославича 149, 162, 230
Владимир Мстиславич, кн. владимиро-волынский, киевский, сын Мстислава Владимировича 118

Владимир Рюрикович, кн. киевский, сын Рюрика Ростиславича 161, 168–170, 192, 241
Владимир Святославич (Святой), кн. киевский, сын Святослава Игоревича 12, 14–15, 17–18, 21–23, 28–34, 36, 44, 64, 89, 102, 110, 119, 176–177, 179, 185, 262
Владимир Святославич, кн. новгородский, черниговский, сын Святослава Всеволодича 140, 146
Владимир Ярославич, кн. галицкий, сын Ярослава Владимировича 153–155
Владимир Ярославич, кн. новгородский, сын Ярослава Владимировича Мудрого 36, 45–46, 142, 175, 177–179
Войшелк (Миндовгович), кн. новогрудский, литовский 261–263
Володарь Ростиславич, кн. тмутараканский, перемышльский, сын Ростислава Владимировича 45
Володислав, боярин галицкий 250, 252
Волдрыси, бояре галицкие 239
Воронин Н. Н., археолог 64, 121–127
Воскресенский В. А., историк 96
Всеволод Александрович, кн., сын Александра Всеволодича 252
Всеволод Константинович, кн. ярославльский, сын Константина Всеволодича 216, 220
Всеволод Мстиславич, кн. новгородский, сын Мстислава Владимировича 188–191, 195
Всеволод Ольгович, кн. черниговский, киевский, сын Олега Святославича 102–106, 108, 194
Всеволод Святославич (Чермный), кн. черниговский, киевский, сын Святослава Всеволодича 162–163, 191, 203, 214
Всеволод Святославич, кн. курский, сын Святослава Олеговича 149, 151
Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо), кн. владимирский, сын Юрия Владимировича 118–119, 126–127, 150, 155, 159–163, 190–191, 198–199, 201, 207–215, 217, 219–220
Всеволод Ярославич, кн. киевский, сын Ярослава Владимировича (Мудрого) 22, 40–42, 45, 48, 51, 54–55, 61, 74, 86, 92, 94–95, 140
Всеслав Брячиславич, кн. полоцкий, киевский, сын Брячислава Изяславича 40–41, 46, 92
Вышата Остромирович, воевода новгородский 24, 29, 36, 45–46, 176
Вышеслав Владимирович, кн. новгородский, сын Владимира Святославича 177

Вячеслав, боярин владимиро-волынский 230
Вячеслав Владимирович, кн. смоленский, туровский, киевский, сын Владимира Всеволодича Мономаха 84, 102–103

Г

Гавриил, архиепископ новгородский 188
Гаврило Душилович, воевода галицкий 234
Генсерский А. И., филолог 172–173, 245
Георгий Амартол, хронист византийский 57, 70
Герман Воята, священник церкви св. Иоакова в Новгороде 184–185
Герцен А. И., писатель 81
Гимон Т. В., историк 187–188
Гиппиус А. А., историк 183, 185, 187–188
Глеб, воевода половецкий 92
Глеб Владимирович, кн. муромский, сын Владимира Святославича, св. 32–34, 54, 61, 63–64, 116, 119–121, 123, 125, 179–180, 192, 208
Глеб Всеславич, кн. минский, половецкий, сын Всеслава Брячиславича 113
Глеб Зеремеевич, боярин галицкий 232–233, 241
Глеб Ростиславич, кн. рязанский, сын Ростислава Ярославича 188, 192
Глеб Святославич, кн. переяславльский, сын Святослава Всеволодича 139
Глеб Святославич, кн. тмутараканский, новгородский, сын Святослава Ярославича 43, 45, 53, 75–76
Глеб Юрьевич, кн. переяславльский, киевский, сын Юрия Владимировича Долгорукого 100, 115–118, 207, 220
Гомер (Омир), поэт древнегреческий 243
Горясер, убийца кн. Глеба Владимировича 34, 120
Греков Б. Д., историк 6
Григорий, духовник кн. Ольги 10, 19, 21
Григорий, дьякон новгородский 180
Григорий Васильевич, боярин галицкий 249
Григорий Хотович, тысяцкий киевский 117
Грушевский М. С., историк 8, 157, 163, 167, 173, 223–225, 227, 229–230, 234–235, 238, 244–245, 252, 254, 257, 261, 269
Гюрята Рогович, боярин новгородский 77

Д

Давид, библ. 140, 200, 268
Давид Вышатич, боярин галицкий 240
Давид Игоревич, кн. тмутараканский, дорогобужский, владимирский, сын Игоря Ярославича 45, 55, 78–79
Давид Ростиславич, кн. вышгородский, смоленский, сын Ростислава Мстиславича 142, 143, 150
Давид Святославич, кн. смоленский, черниговский, сын Святослава Ярославича 78, 84
Данило, духовник Мстислава Изяславича 115
Данило Бякович (Кобякович), половецкий хан 160
Данило Романович (Галицкий), кн. волынский, галицкий, сын Романа Мстиславича 8, 163–164, 169–171, 173, 192, 223–225, 229–260, 262–264
Дашкевич Н. П., историк 223, 227
Демян, монах Киево-Печерского монастыря 68–69
Демян, тысяцкий волынский, галицкий 24, 233, 235–236, 238–240, 242–244
Дионисий, епископ полоцкий 156
Дир, князь киевский 11, 13, 16–17, 26, 77
Длугош Ян, хронист польский 16, 158
Дмитр, посадник 247
Дмитрий, боярин галицкий 171
Дмитрий Константинович, кн. суздальский, сын Константина Васильевича 81
Дмитрий Солунский, св. 11
Дмитрий Якуница, посадник новгородский 191
Доброслав, боярин галицкий 241, 249, 253–254
Добрынин, дружинник Мстислава Удалого 233
Добрыня, воевода киевский, дядя Владимира Святославича 29–31, 44, 176, 178, 275
Добрыня Ядрейкович, архиепископ новгородский Антоний 191
Дудика, холоп новгородский 180

Е

Евсевий Памфил, историк 228
Евсигний, епископ владимиро-волынский 267, 269–270
Еловит (Елович), убийца кн. Бориса Владимировича 34

Еремия (Еремея), монах Киево-Печерского монастыря 68–69
Еремин И. П., филолог 53, 107
Ефимий, епископ переяславльский 152
Ефрем, митрополит киевский 180

Ж

Жидята, см. Лука Жидята
Жирослав, боярин галицкий 231

З

Забелин И. Е., историк 10–11
Зимин А. А., историк 181

И

Иаков, монах Киево-Печерского монастыря 31
Ивакин И. М., историк 83–84, 87, 89
Иван Глебович, кн. степанский 271
Иван Михалкович, седельничий Данила Галицкого 239
Иван Ростиславич (Берладник), кн. галицкий, сын Ростислава Владимировича 111–112
Иван Славнич, воевода киевский 168–169
Иван Творимирович, воевода киевский 46
Иванко Фролович, покладник кн. Ростислава Мстиславича 114
Ивор Молибогович, боярин галицкий 249
Игорь Ольгович, кн. черниговский, сын Олега Святославича 105–106, 109–110, 146, 151–152
Игорь Рюрикович, кн. киевский, сын варяга Рюрика 12, 14, 18, 25–26, 29, 181
Игорь Святославич, кн. новгород-сиверский, сын Святослава Ольговича 133–134, 136–139, 148–149, 199–200
Изяслава, приемная дочь Владимира Васильковича 266
Изяслав Андреевич, кн., сын Андрея Боголюбского 206
Изяслав Владимирович, кн. полоцкий, сын Владимира Святославича (Святого) 177
Изяслав Владимирович, кн. новгород-сиверский, сын Владимира Игоревича 168–170, 241
Изяслав Владимирович, кн. муромский, сын Владимира Мономаха 83–84

Изяслав Глебович, кн. владимиро-суздальский, сын Глеба Юрьевича 155
Изяслав Давидович, кн. черниговский, киевский, сын Давида Святославича 110–112, 115, 185, 206
Изяслав Мстиславич, кн. переяславльский, киевский, владимиро-волынский, сын Мстислава Владимировича 103–112, 130–131, 146, 151–152, 203–204, 226
Изяслав Ярославич, кн. киевский, сын Ярослава Владимировича (Мудрого) 38, 40–42, 53, 55–56, 75, 89, 175, 180–181
Иларион, митрополит киевский 31, 36–37, 39, 65, 141, 143, 268
Иловайский Д. И., историк 98
Ильин Н. Н., историк 53
Илья, архиепископ новгородский 113, 142, 184
Ингварь Ярославич, кн. луцкий, сын Ярослава Изяславича 158, 230
Иннокентий IV, папа римский 255
Иоанн, христианин киевский 21
Иоанн, игумен Киево-Печерского монастыря 31, 47–48, 50–53, 56, 63, 68, 70
Иоанн II, митрополит киевский 54, 268
Иоанн IV, митрополит киевский 113, 146
Иоанн, епископ владимирский 211, 213
Иоанн (Иван), епископ холмский 225, 260–264
Иоанн (Иван), игумен Борисоглебский из Чернигова 168
Иоанн Златоуст, патриарх константинопольский 120, 141, 259, 260
Иоанн Малала, хронист византийский 57, 243
Иов, библ. 269
Иосиф, библ. 140
Иосиф, митрополит киевский 195
Ираклий, имп. византийский 58
Исаакий, монах Киево-Печерского монастыря 68–69
Исаакий Ангел, имп. византийский 185–186
Исайя, библ. 211
Истрин В. М., филолог 57
Итларь, хан половецкий 52, 95
Иуда Искариот, библ. 147

К

Казанский П. С., историк 59, 64
Каин, библ. 192, 231

Карамзин М. Н., историк 8, 87, 89, 222, 226
Кассиан, редактор Киево-Печерского патерика 63
Кий, кн., основатель Киева 14, 16–17, 23, 25, 44, 58
Кирик, иеродиакон новгородский 183, 185
Кирилл I (Гречин), митрополит киевский 167–168
Кирилл II, митрополит киевский 195, 218, 225, 253–254
Кирилл, печатник 223, 225, 245, 250, 254
Кирилл, епископ ростовский 168–169, 218
Кирилл Туровский, епископ туровский 145
Китан (Кытан), хан половецкий 52, 95
Климент, игумен Кирилловского монастыря в Киеве 168
Клим Смолятич, митрополит киевский 113, 190, 268
Климята, боярин галицкий 239
Клосс Б. М., филолог 174
Кожемяка, легендарный богатырь киевский 21
Коломан, король венгерский 232
Комарович В. Л., историк 186
Конрад, кн. польский, сын кн. Самовита I 242, 246–247, 252, 256–257
Константин (Великий), имп. византийский 140, 269
Константин I, митрополит киевский 113
Константин II, митрополит киевский 117
Константин, посадник новгородский 189
Константин Всеволодич, кн. владимиро-суздальский, сын Всеволода Юрьевича 214–217, 219–220
Константин Добрынич, посадник новгородский 175, 178
Константин Сераславич, воевода галицкий 153
Константин Романович, кн. рязанский, сын Романа Олеговича 250
Констанция, дочь венгерского кор. Белы IV, жена кн. Льва Даниловича 256
Кончак, половецкий хан 132, 152, 160
Корнил, игумен Федоровского монастыря в Киеве 168
Коста Вячеславич, боярин новгородский 195
Костомаров Н. И., историк 7, 57, 59–60, 98–99, 106, 115, 182–183, 196, 205–207, 222–225, 273
Котляр Н. Ф., историк 173, 224–226, 229–232, 235, 237, 242, 245, 253, 255, 261
Котян, хан половецкий 194, 231, 238
Кузьма, епископ галицкий 153
Кузьма (Кузьмище) Киянин, летописец 118, 121–124, 126–127

Кузьма Ратьша, воевода владимиро-суздальский 214
Кузьмин А. Г., историк 7, 38, 53, 55–56, 60–62, 67
Куремса, воевода татарский 223–224, 256–257

Л

Лаврентий, монах, переписчик летописи 61, 81–82
Лазар Домажирец, боярин галицкий 249
Лев VI, имп. византийский 15
Лев Данилович, кн. галицкий, сын Данила Романовича 254, 256, 259, 262, 264, 266, 270–271
Леон (Леонтий), епископ ростовский 113, 206
Лешко, кн. краковский 229–230, 233, 235
Лихачев Д. С., филолог 24, 26, 29, 31–32, 38, 59, 62, 69–72, 75, 77–78, 87–89, 100, 106–107, 122, 166–167, 175–176, 182–183, 253, 272
Лука, игумен Спасского монастыря в Киеве 211
Лука, деместник 124
Лука Жидята, епископ новгородский 175, 177, 180
Лурье Я. С., историк 174
Лыбедь, легендарная сестра Кия 16
Ляшко, убийца кн. Бориса Владимировича 34

М

Максим, митрополит киевский 172
Максим, епископ белгородский 129
Мал (Малко), кн. древлянский 29
Малуша, ключница кн. Ольги, мать Владимира Святославича 29
Марк, евангелист 217
Мартирий, архиепископ новгородский 188
Матвей, монах Киево-Печерского монастыря 68–69
Мемнон, епископ перемышльский 266
Менгу-хан, воевода татарский 171
Мефодий Патарский, св., епископ 57, 70, 167
Мещерский Н. А., историк 186
Микула, сотник галицкий 239
Микула (Микулица), поп владимиро-суздальский 122–126
Милей, баскак татарский 256
Миллер Г., историк 5
Милов Л. В., историк 76
Милонег, зодчий киевский 140

Миндовг, кн. литовский 224, 252, 262
Мирослав, боярин владимиро-волынский 240
Митрофан, архиепископ новгородский 188, 192
Митрофан, епископ владимиро-волынский 217–218
Митус, певец галицкий 250
Михаил III, имп. византийский 11–12, 185
Михаил, легендарный митрополит киевский 29
Михаил, монах Киево-Печерского монастыря 73
Михаил Всеволодич, князь черниговский, новгородский, киевский, сын Всеволода Святославича 168–171, 192, 195, 209–210, 238, 241–242, 246–248, 251
Михаил Юрьевич, кн., сын Юрия Владимировича (Долгорукого) 127, 207
Могучеев, воевода татарский 254
Моисей, библ. 44, 140
Моисей, игумен Михайловско-Выдубицкого монастыря 98, 100, 106, 127, 129–133, 140–144, 151, 154, 214, 267
Молибоговичи, бояре галицкие 239, 244
Мстислав Владимирович, кн. тмутараканский, черниговский, сын Владимира Святославича 17, 32, 35, 43, 268
Мстислав Владимирович, кн. новгородский, киевский, сын Владимира Всеволодича (Мономаха) 52, 77–80, 82–86, 90–92, 101–103, 132, 142, 183, 194, 251
Мстислав Глебович, кн. черниговский, сын Глеба Святославича 170.
Мстислав Данилович, кн., сын Данила Романовича Галицкого 225, 261, 264–266, 268, 270–271
Мстислав Изяславич, кн., сын Изяслава Ярославича 41, 56
Мстислав Изяславич, кн. волынский, киевский, сын Изяслава Мстиславича 111–113, 115, 117, 130–131, 153
Мстислав Мстиславич (Удалой), кн. новгородский, галицкий, сын Мстислава Ростиславича (Храброго) 164–166, 168, 190–192, 194, 229, 231–237, 261
Мстислав Романович, кн. смоленский, киевский, сын Романа Ростиславича 150–151, 157, 164–166
Мстислав Ростиславич, кн., сын Ростислава Юрьевича 210
Мстислав Святополкович, кн., сын Святополка Изяславича 78
Мстислав Святославич, кн. черниговский, сын Святослава Всеволодича 164–165

Мстислав Ярославич (Немой), кн. луцкий, сын Ярослава Изяславича 236–237
Мусин-Пушкин А. И., археограф 81, 90, 97
Мюллер Л., филолог 23

Н

Навуходоносор (Вохудоносор), царь вавилонский 269
Насонов А. Н., историк 38, 54, 99–100, 172, 175
Настасья, внебрачная жена Ярослава Осмомысла 154
Немчич, воин, пытавшийся убить Андрея Боголюбского под Луцком 204
Неревин, воевода новгородский 194
Нерадец, убийца кн. Ярополка Изяславича 54, 95
Нестор, летописец 5, 28, 36–37, 44, 46, 50, 52, 56, 59–61, 63, 66–67, 69, 70–77, 79–80, 95, 272, 275
Никита, епископ белгородский 28–29
Никита, епископ новгородский 182
Никита, св. мученик 220
Никифор I, митрополит киевский 79
Никифор II, митрополит киевский 129–130, 211
Никифор, патриарх константинопольский 57
Никон, игумен Киево-Печерского монастыря 31, 37–39, 41–47, 50, 56, 63–69
Никольский М. К., историк 31
Нифонт, архиепископ новгородский 183–184, 188–190
Ногай, темник татарский 224, 264, 269

О

Оболенский М. А., историк 10
Обловы Костукович, хан половецкий 149
Олег (Вещий), кн. киевский 12–14, 16–18, 25–26
Олег (Настасьич), кн., внебрачный сын Ярослава Осмомысла 99, 153–154
Олег Святославич, кн. древлянский, сын Святослава Игоревича 19, 179
Олег Святославич, кн. черниговский, сын Святослава Ярославича 17, 45, 52, 55, 78, 81–85, 92, 94, 96–97
Олег Святославич, кн. новгород-сиверский, сын Святослава Ольговича 146–148

Олег Святославич, кн. черниговский, сын Святослава Всеволодича 150–151
Олекса, епископ полоцкий 168
Олекса Святославец, боярин киевский 117
Олена Яска, жена Ярополка Владимировича 104
Олма, боярин киевский 13
Ольга, кн. киевская 10, 14, 18–19, 21, 28–29, 59
Ольга, жена Владимира Васильковича 266
Ольга Юрьевна (в схиме Ефросинья), жена Ярослава Осмомысла 99, 153, 155
Орлов А. С., филолог 77, 81, 87
Осень, хан половецкий 94
Остромир, посадник новгородский 29, 175, 178–180

П

Павел, апостол 120
Памфил, виз. хронист 228
Пахомий, епископ ростовский 218
Пашуто В. Т., историк 8, 158, 172–173, 224–226, 229, 233, 242, 244–245, 253, 260–261, 263, 269–270
Перфецкий Е. Ю., историк 16, 126, 185
Петр, игумен Спасского монастыря в Киеве 168
Петрило, боярин киевский 111
Петр Бориславич, боярин киевский, летописец 103, 106–107, 109–111, 116, 130–131, 146, 226
Платонов С. Ф., историк 37
Плоскиня, воевода бродников 165
Погодин М. П., историк 8, 87, 122, 184–185
Поликарп, игумен Киево-Печерского монастыря 100, 114–116, 130–131, 144, 202
Поликарп, монах Киево-Печерского монастыря, один из составителей Патерика 71, 219
Поппе А., историк 64
Порей, воевода киевский 45
Порфирий, епископ черниговский 168, 170
Предслава, дочь кн. киевского Владимира Святославича 34
Предслава, дочь кн. киевского Рюрика Ростиславича 140
Претич, воев. киевский 19

Приселков М. Д., историк 8, 23, 32, 37–38, 81–82, 98–100, 122, 125–126, 141, 148–149, 152–158, 170, 172, 175, 181, 196–200, 202, 204, 208–210, 213–218, 224, 227–228, 272–274
Прозоровский Д., историк 184
Прохор Лебедник, монах Киево-Печерского монастыря 51
Пугачев Е., руководитель восстания 62
Путьша, убийца кн. Бориса Владимировича 34
Пушкин А. С., поэт 62

Р

Ратибор, посадник тмутараканский, бояр. киевский 45
Редедя, кн. косожский 43
Рогволод, кн. полоцкий 21
Рогволод Борисович, кн. полоцкий, сын Бориса Всеволодича 105, 112
Розов Н. Н., филолог 37
Роман Мстиславич, кн. волынский, галицкий, сын Мстислава Изяславича 99, 144, 154, 157, 159–163, 198, 203, 229–230, 263, 266
Роман Ростиславич, кн. смоленский, киевский, сын Ростислава Мстиславича 115, 118, 128, 142–143, 207
Роман Святославич, кн. тмутараканский, сын Святослава Ярославича 45
Романов В. К., историк 164
Ростислав Владимирович, кн. тмутараканский, сын Владимира Ярославича 43, 45
Ростислав Владимирович, кн., сын Владимира Рюриковича 168, 241
Ростислав Владимирович, кн., сын Владимира Мстиславича 150
Ростислав Всеволодич, кн., переяславльский, сын Всеволода Ярославича 48
Ростислав Михайлович, кн., сын Михаила Всеволодича 168, 223, 242, 246, 250, 252–253
Ростислав Мстиславич, кн. смоленский, киевский, сын Мстислава Владимировича 104, 110, 112–116, 131–132, 141–142, 144, 146–148, 153, 166, 185, 206
Ростислав Мстиславич (Борисович), кн. смоленский, сын Мстислава Романовича 168, 171, 245–246
Ростислав Рюрикович, кн. торческий, сын Рюрика Ростиславича 140, 161–162
Ростислав Юрьевич, кн. переяславльский, сын Юрия Владимировича (Долгорукого) 105, 204

Рюрик, легендарный основатель кн. династии 11, 16, 77
Рюрик Ростиславич, кн. перемышльский, сын Ростислава Владимировича 95
Рюрик Ростиславич, кн. киевский, сын Ростислава Мстиславича 100, 117–118, 127–136, 138–144, 149–153, 155, 157–163, 194, 198, 202–203, 212, 214
Рыбаков Б. А., археолог, историк 5, 7, 9, 11–12, 14–15, 18, 24–25, 28, 30–32, 38, 40–41, 45–46, 48, 57, 77, 88, 92–94, 98–100, 106–108, 110, 116–123, 127, 130–139, 141–142, 144–145, 148, 155, 175, 178–181, 190, 192, 231, 236, 273

С

Саул, библ. 200.
Свенельд, воевода киевский 29.
Святополк Владимирович (Окаянный), кн. туровский, киевский 32, 34, 177, 179, 181, 192, 244.
Святополк Изяславич, кн. новгородский, туровский, киевский, сын Изяслава Ярославича 46, 48–53, 71, 74–75, 78–79, 89, 94.
Святослав Владимирович, кн. древлянский, сын Владимира Святославича 28, 32–33.
Святослав Владимирович, кн. вщижский, сын Владимира Давидовича 147, 206.
Святослав Всеволодович, кн. киевский, сын Всеволода Ольговича 100, 117–118, 127–130, 132–140, 146–152, 155, 207, 211–212.
Святослав Всеволодич, кн., сын Всеволода Юрьевича 190, 216.
Святослав Давидович (Святоша), кн. черниговский, сын Давида Святославича 182.
Святослав Игоревич, кн. киевский, сын Игоря Рюриковича 14, 18–21, 26–27.
Святослав Ольгович, кн. черниговский, сын Олега Святославича 98, 100, 104–106, 108, 115, 126, 146, 148, 152, 189.
Святослав (Борис) Олегович, кн. рыльский, сын Олега Святославича 149.
Святослав Мстиславич, кн. волынский, сын Мстислава Изяславича 154.
Святослав Ростиславич, кн. новгородский, сын Ростислава Мстиславича 142–143.
Святослав Ярославич, кн. киевский, сын Ярослава Владимировича 38, 40–43, 85, 92.

Семеон, духовник Ростислава Мстиславича 114–115
Семеон, епископ переяславльский 170
Семеон, игумен Воскресенского монастыря в Киеве 168
Семеон, игумен Андреевского монастыря в Киеве 168
Семеон Чермный, боярин галицкий 232
Семеон Олуевич, боярин волынский 234
Семовит (Сомовит), князь мозовецкий 255
Сильвестр, папа римский 160
Сильвестр, игумен Михайловско-Выдубицкого монастыря 38, 59–60, 67, 74, 77–79, 273–275
Симон, епископ владимирский 196, 213–214, 219
Славята, боярин киевский 52
Соловьев С. М., историк 57, 87, 106
Соломон, библ. 19, 33, 57, 118–119, 124, 141, 208, 263, 268.
Сотко, боярин новгородский 179
Спиридон, архиепископ новгородский 195
Срезневский И. И., филолог 10, 83, 163
Степанец, боярин киевский 117
Стефан, епископ сурожский 11
Стефан, игумен Киево-Печерского монастыря 42, 62–63
Судич (Попов внук), боярин галицкий 249
Судомир Славнич, боярин новгородский 195

Т

Талец, убийца кн. Бориса Владимировича 34
Татищев В. Н., историк 6–8, 51, 60
Твердислав, посадник новгородский 191
Творогов О. В., филолог 107
Толебуга, воевода татарский 224, 264–266, 268–269
Тимофей, книжник 134–135, 138, 155, 192, 224, 231, 275
Тимофей, духовник Мстислава Удалого 192, 231
Тихомиров М. Н., историк 7, 14, 16–17, 24–25, 31, 40–41, 122, 163, 166, 175–176
Товрул, плененный татарин под Киевом 171
Толочко А. П., историк 60–61
Толочко П. П., археолог, историк 32, 129
Торчин, убийца кн. Глеба Владимировича 34
Тройден, кн. литовский 263–264
Троцкий И. И., историк 186–187

Тугорхан, хан половецкий 52, 92

У

Урусоба, хан половецкий 92, 94

Ф

Федор, христианин киевский 21
Федор, митрополит киевский 113
Федор (Федорец), епископ владимиро-суздальский 117, 208
Федул, игумен Успенского собора во Владимире 122, 124–125, 127, 128, 209
Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря 23, 38, 49, 59, 61–63, 66–76, 89, 113–114, 181, 201
Феоктист, игумен Киево-Печерского монастыря 71
Филипп, боярин галицкий 239
Филя, воевода венгерский 233, 237, 252
Фонвизин Д. И., поэт 76
Фотий, патриарх константинопольский 11, 29
Франко И. Я., писатель 71
Франчук В. Ю., филолог 108, 110–112

Х

Ходорец (Федорец), писец волынский 224
Хорив, легендарный брат Кия 16
Хрущов И. П., историк 106, 121–122, 125

Ц

Цимисхий Иоанн, имп. византийский 27

Ч

Черепнин Л. В., историк 14, 32, 75, 163, 224–226, 229, 242

Ш

Шараневич И. И., историк 226–227
Шарукань, хан половецкий 94
Шахматов А. А., филолог 8, 14, 24–27, 29, 31–32, 35–37, 41–47, 50–51, 53, 59, 64–73, 76–77, 82, 88, 94, 98–100, 172, 175–184, 197, 244, 272–274

Шварн Данилович, кн. галицкий, сын Данила Романовича 254, 257, 262–263
Шляков Н. В., историк 89, 91, 97

Щ

Щек, легендарный брат Кия 16

Э

Эмаусский А. В., историк 164

Ю

Юрий Владимирович (Долгорукий), кн. суздальский 84, 92, 100, 102, 105, 109–112, 118, 120, 146, 155, 196, 200, 203–205, 219–220
Юрий Всеволодич, кн. владимиро-суздальский, сын Всеволода Юрьевича 164, 214–220
Юрий Львович, кн. галицкий, сын Льва Даниловича 264, 266, 270–271
Юрий Владимирович, кн. пинский, сын Владимира Ростиславича 271
Юшков С. В., историк 181

Я

Яким Влункович, боярин новгородский 195
Яков Маркович, стольник галицкий 225, 249, 252–254
Яковлев В., историк 43
Якун, воевода варяжский 35
Ян, посол кн. белзского Александра 235
Ян Вышатич, воевода киевский 24, 29, 36, 46, 48–50, 70–71, 176
Янин В. Л., археолог, историк 174–175
Янка Всеволодовна, дочь Всеволода Ярославича 104
Ярополк Владимирович, кн. киевский, сын Владимира Святославича 18, 21, 179
Ярополк Владимирович, кн. киевский, сын Владимира Всеволодича 101–104
Ярополк Изяславич, кн. вышгородский, владимир-волынский, туровский, сын Изяслава Ярославича 53–55, 95, 113
Ярополк Изяславич, кн. бужский, сын Изяслава Мстиславича 115
Ярополк Романович, кн. смоленский, сын Романа Ростиславича 156
Ярополк Ростиславич, кн. владимиро-суздальский, сын Ростислава Юрьевича 127, 210

Ярослав Владимирович (Мудрый), кн. ростовский, новгородский, киевский, сын Владимира Святославича 25, 27, 32–40, 43, 46, 48, 64, 110, 120, 142, 150, 175, 177–179, 181

Ярослав Владимирович (Осмомысл), кн. галицкий, сын Владимира Володаревича 111, 153, 154

Ярослав Владимирович, кн. новгородский, вышгородский, сын Владимира Мстиславича 162, 212

Ярослав Всеволодич, кн. черниговский, сын Всеволода Ольговича 147, 150–151, 212

Ярослав Всеволодич, кн. владимирский, киевский, сын Всеволода Юрьевича 155–156, 161, 168, 194, 198, 212, 214, 217, 220

Ярослав Изяславич, кн. туровский, новгородский, киевский, сын Изяслава Мстиславича 112, 118, 150

Ярослав Мстиславич, кн. переяславльский, сын Мстислава Юрьевича 198

Ярослав Святополкович, кн. владимиро-волынский, сын Святополка Изяславича 91, 95, 101

Ярослав Юрьевич, кн., сын Юрия Владимировича (Долгорукого) 113, 206

Содержание

Введение 5
1. Начало киевского летописания 10
2. Киевское летописание XI в. 31
3. «Повесть временных лет» 57
4. Литературные и летописные труды Владимира Мономаха 81
5. Киевское летописание XII в. 98
6. Удельное летописание в Киевском своде конца XII в. 145
7. Киевское летописание XIII в. 157
8. Новгородское летописание XI–XIII вв. 174
9. Летописание Северо-Восточной Руси XII — первой половины XIII в. 196
10. Галицко-Волынская летопись XIII в. 222

Вместо заключения 272

Именной указатель 276

В СЕРИИ

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА



BIBLIOTHECA SLAVICA

ВЫШЛИ В СВЕТ:

Котляр И. Ф.
Дипломатия Южной Руси

Лихачев Д. С.
Историческая поэтика древнерусской литературы.
Смех как мировоззрение
и другие работы

Лихачев Д. С.,
при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва
Текстология (на материале русской литературы X–XVII вв.)

Толочко П. П.
Дворцовые интриги на Руси

Толочко П. П.
Кочевые народы степей и Киевская Русь

Флоря Б. Н.
Сказания о начале славянской письменности

Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А.
Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия

Фрейдзон В. И.
История Хорватии
(с древнейших времен)

В СЕРИИ
«ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА»



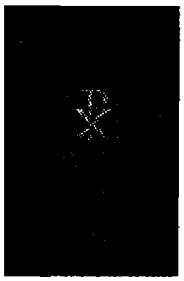
ВЫШЛИ В СВЕТ:

- Ἀντίδωρον: Сборник в честь 75-летия академика РАН Г. Г. Литаврина
- Алексиада / Пер., вступ. ст. и комментарии Я. Н. Любарского
- Византийские очерки. Труды российких ученых к XX Междунар. конгрессу византинистов
- Византийский медицинский трактат XI–XIV вв.
- Византия между Западом и Востоком: Опыт исторической характеристики
- Два византийских военных трактата конца X века / Под ред. Кучма В. В.
- Житие Андрея Юродивого
- Мир Александра Каждана: Сборник в честь профессора А. П. Каждана
- *Безобразов П. В., Любарский Я. Н.* Византийский писатель и государственный деятель М. Пселл: личность и творчество
- *Беляев Л. А.* Христианские древности: Введение в сравнительное изучение
- *Бибиков М. В.* Византийские источники по истории древней Руси и Кавказа
- *Бибиков М. В.* Историческая литература Византии
- *Бородин О. Р.* Равеннский экзархат. Византийцы в Италии
- *Бородин О. Р., Гукова С. Н.* История географической мысли в Византии
- *Буданова В. П.* Готы в эпоху Великого переселения
- *Дионисий Ареопагит.* Сочинения. Толкования Максима Исповедника
- *Евагрий Схоластик.* Церковная история. Книги I–II
- *Евагрий Схоластик.* Церковная история. Книги III–IV
- *Священник Георгий Завершинский.* Дух дышит, где хочет: Введение в православное учение о Святом Духе
- *Игумен Иларион (Алфеев).* Духовный мир преп. Исаака Сирина
- *Игумен Иларион (Алфеев).* Жизнь и учение св. Григория Богослова
- *Игумен Иларион (Алфеев).* Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание
- *Игумен Иларион (Алфеев).* Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции
- *Епископ Иларион (Алфеев).* Священная тайна Церкви: Введение в историю и проблематику имяславских споров: В 2 т.
- *Священник Георгий Завершинский.* Дух дышит, где хочет: Введение в православное учение о Святом Духе
- *Иордан.* О происхождении и деяниях гетов / GETICA
- *Каждан А. П.* Византийская культура
- *Каждан А. П.* История византийской литературы

- *Каждан А. П.* Два дня из жизни Константинополя
- *Каждан А. П., Литаврин Г. Г.* Очерки истории Византии и южных славян
- *Карпов С. П.* Латинская Романия
- *Кекавмен.* Советы и рассказы: Поучение византийского полководца XI века
- *Климанов Л. Г.* Византийские отражения в сфрагистике
- *Священник Олег Климков.* Опыт безмолвия. Человек в миросозерцании византийских исихастов
- *Кривов М. В.* Византия и арабы в раннем средневековье
- *Кривушин И. В.* Ранневизантийская церковная историография
- *Кулаковский Ю. А.* Избранные труды по истории аланов и Сарматии
- *Кулаковский Ю. А.* История Византии. Т. 1 (395–518 гг.)
- *Кулаковский Ю. А.* История Византии. Т. 2 (518–602 гг.)
- *Кулаковский Ю. А.* История Византии. Т. 3 (602–717 гг.)
- *Кучма В. В.* Военная организация Византийской империи
- *Лебедев А. П.* Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X в.
- *Лебедев А. П.* История Константинопольских соборов IX века
- *Лебедев А. П.* История разделения церквей в IX, X, XI веках
- *Лебедев А. П.* Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца XI до середины XV века
- *Лебедев А. П.* Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X, XI вв.
- *Лебедев А. П.* Церковная историография в главных ее представителях с IV–XX вв.
- *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.)
- *Литаврин Г. Г.* Византия и славяне
- *Литаврин Г. Г.* Как жили византийцы
- *Медведев И. П.* Византийский гуманизм XIV–XV вв.
- *Медведев И. П.* Правовая культура Византийской империи
- *Олимпиодор Фиванский.* История
- *Орозий П.* История против язычников. Книги I–III
- *Орозий П.* История против язычников. Книги IV–V
- Преосвященник Порфирий Успенский и его коллекция древних музыкальных рукописей
- *Преподобный Исаак Сирин.* О божественных тайнах и о духовной жизни: Новооткрытые тексты
- *Преподобный Симеон Новый Богослов.* Прииди, Свет истинный. Избранные гимны
- *Прокопий Кесарийский.* Война с персами. Война с вандалами. Тайная история
- *Прохоров Г. М.* Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о Митяе
- *Прохоров Г. М.* Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи
- *Рудаков А. П.* Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии
- *Скржинская Е.* Русь, Италия и Византия в Средневековье
- *Чекалова А. А.* Константинополь в VI веке. Восстание Ника
- *Шукуров Р. М.* Великие Комнины и Восток (1204–1461)

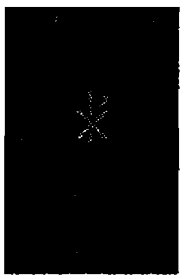
В СЕРИИ
«АНТИЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

В разделе «Исследования»:



- Житие святого Северина: С приложением оригинального латинского текста
- *Скогорев А. П.* Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя: Исследования. Переводы. Комментарии.
- *Тюленев В. М.* Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. С приложением перевода трактата «Божественные установления»

В разделе «Источники»:



- Апокрифические апокалипсисы / Пер. с древнегреч. и англ.
- Изречения египетских отцов: Памятники литературы на коптском языке
- «Иисус Христос в документах истории»
- *Лактанций.* О смертях преследователей / De mortibus persecutorum
- Премудрость Иисуса Христа. Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками
- Сочинения древних христианских апологетов»
- Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502. Первое русское комментированное издание на основе второго немецкого издания Х.-М. Шенке / Подготовка, перевод, комментарии А. С. Четверухина
- *Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс.* О плаще
- Учение об Антихристе в древности и средневековье

В СЕРИИ
«АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

В разделе «Литература»:



- «Античные поэты об искусстве»
- «Античные теории языка и стиля»: Антология
- «Древнегреческая элегия»
- *Катулл Гай Валерий.* «Избранная лирика»
- *Марциал Марк Валерий.* «Эпиграммы»
- *Лукиан Самосатский.* «Сочинения»: В 2 т.
- *Ювенал.* «Сатиры»

В разделе «История»:



- *Арриан.* «Поход Александра»
- *Аммиан Марцеллин.* «Римская история»
- *Ампелий.* «Памятная книжица»
- *Андокид.* «Речи, или история святотатцев: С прил. паралл. свидетельств о процессе разрушителей герм в Афинах в 415 г. до н. э.»
- «Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции»
- *Аппиан.* «Римские войны»
- *Арат.* «Явления»
- «Властелины Рима»: Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана
- *Геродиан.* «История императорской власти после Марка: В 8-ми книгах»
- *Гигин Ю.* «Астрономия»
- *Гигин Ю.* «Мифы»
- Греческие полиоркетики. Флавий Вегеций Ренат. «Краткое изложение военного дела»
- *Дарет Фригийский.* «История разрушения Трои»
- *Ксенофонт.* «Греческая история». Изд. 3-е
- *Нонн Панополитанский.* «Деяния Диониса»
- *Павсаний.* «Описание Эллады»: В 2 т.
  Т. 1: Кн. 1: Аттика; Кн. 2: Коринфика; Кн. 3: Лаконика; Кн. 4: Мессения.
  Т. 2: Кн. 5: Элида; Кн. 6: Элида; Кн. 7: Ахайя; Кн. 8: Аркадия; Кн. 9: Беотия; Кн. 10: Фокида.
- Первый Ватиканский мифограф
- *Светоний Гай Транквилл.* «О жизни цезарей. О знаменитых людях / De vita Caesarum. De virus illustribus»: Фрагменты
- *Фронтин Секст Юлий.* «Военные хитрости: Стратагемы»

В разделе «Философия»:



- *Виллер Э. А.* «Учение о Едином в античности и средневековье»
- *Гомперц Т.* «Греческие мыслители»: В 2 т.
- *Дуров В. С.* «Нерон, или Актёр на троне»
- *Иванов Вяч.* «Дионис и прадионисийство»
- *Лосев А. Ф.* «Античная философия истории»
- *Плотин.* «Сочинения»
- *Сенека Луций Аней.* «Философские трактаты»
- *Ямвлих Халкидский.* «Комментарий на диалоги Платона»
- *Целлер Э.* «Очерк истории греческой философии»

В разделе «Исследования»:



- *Андреев Ю. В.* «Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации»
- «ΣΥΣΣΙΤΙΑ». Сборник статей памяти Ю. В. Андреева
- *Борухович В. Г.* «Вечное искусство Эллады»
- *Герцман Е. В.* «Музыка Древней Греции и Рима»
- *Гиро Поль.* «Частная и общественная жизнь греков»
- *Гиро Поль.* «Частная и общественная жизнь римлян»
- *Гринбаум Н. С.* «Микенологические этюды»
- *Доддс Э. Р.* «Греки и иррациональное»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Аттические сказки»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Возрожденцы: Научно-популярные статьи»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Из жизни идей: Научно-популярные статьи»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Древний мир и мы»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Римская империя»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Римская республика»
- *Зелинский Ф. Ф.* «Соперники христианства: Статьи по истории античных религий»
- *Кессиди Ф. Х.* «К истокам греческой мысли»
- *Кессиди Ф. Х.* «Сократ»
- *Латышев В. В.* «Очерк греческих древностей»: В 2 ч.
- *Нильссон Мартин.* «Греческая народная религия»
- *Парфенов В. Н.* «Император Цезарь Август: Армия. Война. Политика»
- *Ситников А. В.* «Философия Плотина и традиция христианской патристики»
- *Скржинская М. В.* «Скифия глазами эллинов»
- *Скржинская М. В.* «Будни и праздники Ольвии в VI–I вв. до н. э.»
- *Степанова А. С.* «Философия древней Стои»
- «Суд над Сократом»: Сб. ист. свид.: Платон, Ксенофонт, Диоген Лаэрций, Плутарх, Либаний
- *Торшилов Д. О.* «Античная мифография: мифы и единство действия». С прил. аргументов Аристофана Византийского и «О реках» Лжеплутарха.
- *Торшилов Д. О.* «Глобус звездного неба»
- *Фестюжьер А.-Ж.* «Личная религия греков»
- «Ранняя греческая лирика: миф, культ, мировоззрение, стиль»
- *Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф.* «Греческая культура в мифах, символах и терминах»
- *Шанин Ю. В.* «Олимпия. История античного атлетизма»

В серии
«ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ МЫСЛИ: Исследования и тексты»
вышли в свет:

- Галицко-Волынская летопись (Хлебниковский список) / Под ред. И. Ф. Котляра
- Космология Древней Руси / Под ред. Г. С. Баранковой, В. В. Милькова
- Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского / Под ред. Г. С. Баранковой, В. В. Милькова
- *Кириллин В. М.* Символика чисел в литературе Древней Руси
- *Котляр И. Ф.* Древнерусская государственность
- *Мильков В. В.* Осмысление истории в Древней Руси

В серии
«КЛАССИКИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА»
вышли в свет:

- *Новгородцев П.* Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве
- *Ященко А. С.* Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства

В серии
«МИФ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА»
вышли в свет:

- *Теофиль де Вио.* О бессмертии души, или Смерть Сократа
- *Карл Барт.* Очерк догматики
- *Доусон К. Г.* Боги революции
- *Доусон К. Г.* Религия и культура
- *Ганс Кюнг.* Великие христианские мыслители
- *Мацейна А.* Тайна беззакония
- *Мацейна А.* Агнец Божий
- *Мацейна А.* Великий инквизитор
- *Мацейна А.* Драма Иова
- *Мирча Элиаде.* Трактат по истории религий: В 2 т.
- *Ольденбург З.* Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов
- *Садовская И. Г.* Мифология
- *Шуновер Л.* Блеск клинка

В серии
«БОГОСЛОВСКАЯ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
вышли в свет:

- *Лурье В. М.* Призвание Авраама
- *Мосс В.* Православная Церковь на перепутье (1917–1999)

В серии
«ДРЕВНЕРУССКИЕ СКАЗАНИЯ О ДОСТОПАМЯТНЫХ ЛЮДЯХ, МЕСТАХ И СОБЫТИЯХ»
вышли в свет:

- Мартирий Зеленецкий и основанный им Троицкий монастырь
- Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита
- Старец-мирянин XX века Ф. С. Соколов
- Энциклопедия русского игумена XIV–XV веков. Сборник преподобного Кирилла Белозерского

В «ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕРИИ»
вышли в свет:

- Неизвестный В. Я. Пропп. Древо жизни. Дневник старости. Переписка
- *Белов С. В.* Петербург Достоевского
- *Голяков Я.* Репортаж с дырой на шее. История голоса
- *Меттерних-Васильчикова Т.* Женщина с пятью паспортами
- *Меттерних-Васильчикова Т.* Строгановы. История рода
- *Петрухинцев Н.* Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота (1730–1735)
- *Тхоржевский И.* Последний Петербург: Воспоминания камергера
- *Тхоржевский С.* Открыть окно: Воспоминания и попутные записи
- *Шенкман Г. С.* Императрица Екатерина II и ее охотничий домик
- *Шенкман Г. С.* Генерал Багратион
- *Шенкман Г. С.* Генерал Раевский и его семья

а также **вне серий**:

- Из современной белорусской и украинской поэзии в переводах М. Руткевича
- Крещатик. Ежеквартальный литературный альманах
- Причерноморье в средние века / Под ред. С. П. Карпова. Труды Ист. фак-та МГУ. Вып. 3
- Причерноморье в средние века / Под ред. С. П. Карпова. Труды Ист. фак-та МГУ. Вып. 4
- Причерноморье в средние века / Под ред. С. П. Карпова. Труды Ист. фак-та МГУ. Вып. 5
- *Миллер А. И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (2 пол. XIX в.)

Весь ассортимент книг издательства «Алетейя»
в фирменных магазинах

«ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА»

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 55
(м. «Чернышевская»)
Тел. (812) 327-26-37

Москва, Старосадский пер., 9
(м. «Китай-город»)
Тел. (095) 921-48-95

Научное издание

Толочко Петр Петрович
РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ И ЛЕТОПИСЦЫ X–XIII вв.

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Художественный редактор *А. Б. Левкина*
Корректор *И. М. Пьянкова*
Оригинал-макет *Е. С. Буракова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
193019, СПб., пр. Обуховской обороны, 13.
Тел.: (812) 567-22-39, факс: (812) 567-22-53
E-mail: aletheia@rol.ru

Подписано в печать 08.01.2003. Формат 60×88$^{1}/_{16}$.
Усл.-печ. л. 18,6. Печать офсетная.
Тираж 1200 экз. Заказ № 3992

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН.
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12.

Printed in Russia